



Марион Орха

История жизни
авантюристки,
актрисы,
танцовщицы
и куртизанки —
МИСС ЛОЛЫ МОНТЕС

Маниец страсти

Гениальная авантюристка, актриса, танцовщица и куртизанка Лола Монтеc была в центре внимания лучших мужчин своей эпохи — в нее были влюблены и Ференц Лист, и Александр Дюма отец. Король Баварии Людвиг I был полностью сражен — без памяти влюбленный, он пожаловал ей графский титул и приличное содержание.

Понятие Лолы о свободе танца было весьма неоднозначным. На сценах крупнейших театров трех континентов она танцевала практически нагой, и пластика ее была далека от классических канонов. Благодаря ей весь мир танцевал зажигательные фанданго, болеро и тарантеллу и был покорен ее экзотической красотой, откровенно эротическими выступлениями и скандальными поступками при монарших дворах.

Марион Орха

Танец страсти

*Я посвящаю эту книгу
моему отцу Джону Орхе
и его матери Элизабет О'Брайен.*

*Оба они отважились броситься в неизвестность в юном
возрасте: в пятнадцать лет бабушка уехала в Англию, а отец
сбежал из дома и нанялся на корабль.*

*Но что такое ложь? Простой ответ:
Не более как правда в полумаске.*

Дж. Г. Байрон. Дон Жуан

(перев. Т. Гнедин)

ПРЕЛЮДИЯ

Оно явилось по снегу и льду, взъерошив метелки прошлогодней травы на лугах, и пробралось в окоченелые сады. Оно прокралось по притихшим улицам и скользнуло под двери в дома. Оно просочилось сквозь толстые зимние шторы, проникло в тончайшие щелки между плинтусом и стеной. От него погасли свечи и забеспокоились кошки. Чувство тревоги повисло над домами — неясное, смутное, падающее со стылого зимнего неба.

Лола стояла на сцене — за опущенным еще занавесом, в темноте, где тут и там шевелились черные тени, будто текучая сажа. Уже скоро бордовый бархатный занавес с шелестом разойдется, но не сейчас, еще через минуту-другую. Плюшевые кулисы чуть трепетали, будто поднятая ветерком рябь на воде — или словно нежная кожа от прикосновений возлюбленного. Лола глубоко вздохнула. В зале, отделенном от нее занавесом, раздавались нетерпеливые возгласы. Скрипач тихонько пощипывал струны; кто-то закашлялся. Зазвучали арфа и тимпан^[1], занавес дрогнул. Когда ударили цимбалы^[2], тяжелый занавес разошелся, словно Красное море — перед Моисеем.

Лола двинулась вперед, на освещенную часть сцены — осторожно, шаг за шагом. Как будто она прежде не умела ходить; или как будто все ее существо было пленено. Два, три, четыре — она поймала ритм арфы, вздохнула вместе с зазвучавшим контрабасом. ...Восемь, девять! Она вскинула над головой кастаньеты. Делая круг по сцене, она плела замысловатый танец — движением рук, затем одних кистей. Она была молодой и беспечно влюбленной — а в следующее мгновение преисполнялась надменности. Она стала развязной, разгневанной, снедаемой страстью — словно ряд сменяющих друг друга картинок пронесся по сцене. Когда она отбила бешеную чечетку, зрители были потрясены стремительной дробью ее каблуков. Бесстрашно глядя в зал, она обрушила на зрителей свое искусство, устремила на них в атаку, словно самая могущественная в мире женщина.

В этот вечер ее выступление пробудило в памяти величайшие минуты ее карьеры. Дрезден, Варшава, Париж — она снова танцевала в этих городах. Она снова была в Берлине выступая перед королем Пруссии и царем Николаем I, императором всея Руси. Она снова покорила короля Людвига в Мюнхене. Ей опять было двадцать три года и она заново дебютировала на сцене — в Лондонском королевском театре.

Когда завершив выступление, она поклонилась зрителям Театра на Бродвее в Нью-Йорке, они поднялись на ноги. Зал рукоплескал, кричал, топал. Аплодисменты отозвались дрожью во всем теле. У нее болезненно трепетала каждая мышца, ныли кончики пальцев. Лола приглашающе раскинула руки, и на сцену полетели розы. Она послала в зал воздушный поцелуй, затем еще, еще. К ногам упала влажная, словно в каплях утренней росы, роза на длинном стебле. Лола подобрала ее и прижала к щеке. Темно-бордовые, алые, лиловые, почти черные розы усеяли доски сцены. К тому времени, когда занавес закрылся, цветов стало так много, что некуда было ступить. Растоптанные бутоны и смятые лепестки истекали сладким ароматом. У Лолы закружилась голова. Не упасть бы. Доски были влажноватые и скользкие от сока, вытекшего из нежных лепестков.

Лола прошла холодными пыльными коридорами, где стоял тяжелый дух немых ног и нафталина. В своей уборной она первым делом скинула туфли, облегченно вздохнула. В камине язычки пламени долизывали уголья, над ванной с горячей водой поднимался пар. Комнату заполнили цветы — от нежных бутонов до увядающих букетов. Воздух был насыщен пьянящим ароматом гардении, смешанным с затхлым запахом протухшей воды. Лола расстегнула пояс, сбросила пышные юбки прямо на пол. Усевшись к туалетному столику с зеркалом, она взяла салфетку. Лицо выглядело жалко: грим потрескался, смазался,

спекся. В крошечных складках у рта собралась пудра; грим стекал по блестящим потным щекам; черная краска с век расплылась вокруг глаз. Рядом на столике стоял букет тигровых лилий. Яркие лепестки широко раскрылись, бесстыдно обнажив пестик и тычинки, обвисли, готовые упасть.

В коридоре раздались тяжелые мужские шаги. Сорвавшись с места, Лола подскочила к двери, поспешно заперла ее на все три тяжелых медных засова. Не успела она снова сесть к столику, как кто-то попытался ввалиться в уборную. Бросив последний взгляд в зеркало на свое усталое, неопрятное лицо, Лола принялась смывать грим салфеткой, смоченной розовой водой.

Она щедро смазала кремом лицо и шею, и кожа с жадностью его впитала. Единственный бешеный танец теперь мог лишить ее последних сил, а ведь когда-то Лола была способна танцевать всю ночь напролет. Сейчас она накладывала на лицо больше краски, чем прежде, и лучше себя чувствовала при искусственном освещении. Каждое утро она выдергивала очередной седой волос из своей темной волнистой шевелюры. Эти ранние седые волоски она складывала в крошечную шкатулку; там же хранились молочный зуб и кольцо с красным камнем, скорее всего, поддельным. Шкатулка стояла возле стопки тетрадок, куда Лола записывала свои сокровенные мысли.

В газетах писали, что Лола прекрасна как никогда, но она знала, что это не так. Истинная красота — своего рода невинность, она источает особенный свет. Люди, которых считают красивыми, сохраняют детские черты лица, не утрачивая детской прозрачности кожи, губ и глаз. А Лола обладала притягательностью, чуть ли не ведьмовскими чарами; это было явное мошенничество, актерская игра, не больше.

Она быстро приняла ванну, облилась из ведра ледяной водой. Порывшись в нарядах, выбрала платье зеленого бархата, которое выгодно подчеркивало цвет лица и зрительно уменьшало талию. Из-за двери ее позвали, и Лола заторопилась. Взгляд упал на кувшин, который она привезла с собой из Парижа; от него исходило сияние молодости. Вспомнив юного нежного возлюбленного, она улыбнулась; припомнив еще кое-что, залилась румянцем. Придирчиво оглядев себя в зеркале, Лола иначе уложила волосы. Наконец она готова. Сегодня вечером ей нужно завоевать себе нового покровителя, а лучше двух. Один опубликует ее воспоминания, другой поддержит деньгами новое представление. Она глянула на стопку дневников, каждый из которых был обклеен лоскутами старого любимого платья. Она уже дважды публиковала из них кое-что, но теперь у нее зародилась новая идея, которую следовало воплотить. Приподняв ладонями грудь, чтобы лучше смотрелась в вырезе платья, Лола кивнула своему отражению и отперла дверь.

Сцена первая

Бирюзовый шелк с золотым шитьем

Глава 1

Я расскажу вам одну историю. О маленькой девочке, которую я когда-то знала. О крохе, которая жила в комнатухе на чердаке, где она видела небесно-голубые занавески, стальное холодное небо в окне, солнечные янтарные крапинки в теплых карих глазах. Одни мечты зарождаются, как бутоны, и пышно расцветают; другие же вянут и сохнут. Порой вымысел смешивается с реальностью, ложь — с правдой. Случается, мы живем мечтами других людей, наши надежды смешиваются со страхом, а наши собственные мечты превращаются в кошмары. Давайте я перенесу вас лет на тридцать назад; разверну спираль времени, словно высохшую снятую кожу еще сочного персика. Да, я перенесу вас назад, минуя то последнее, имевшее оглушительный успех, выступление на Манхэттене, минуя кружащие голову, пьянящие дни в Мюнхене, минуя Берлин, Париж и Лондон, в самое-самое начало — в Ирландию тысяча восемьсот двадцатого года.

В безлунную декабрьскую ночь часы на башне в Корке пробили двенадцать. В ветхой развалюхе на Мейн-стрит заговорщики готовили восстание. В комнатке над мастерской модистки юная ирландка четырнадцати лет лежала без сна в своей узкой постели, мечтала. В порту уверенным шагом, с некоторой торжественностью сошел на берег молодой англичанин. Каждый в своем собственном мире, ученица модистки и английский прапорщик рисовали себе картины будущего, окрашенного в розовые тона. На следующее утро оба они, не обращая внимание на заиндевшие от мороза окна и окоченевшие ноги, соскочили с кроватей бодро и весело. Я прямо-таки вижу, как моя мать сбежала по лестнице со своего чердака, на бегу закалывая волосы, а отец твердым шагом вышел из казармы во двор.

Вообразите себе великолепный замок с зубчатыми стенами и бойницами, с башнями, возносящимися на головокружительную высоту, однако же сделанный целиком из папиросной бумаги. Образ отца я собрала из обрывков воспоминаний — запавшая в память удивительная фраза, мимоходом услышанный разговор, прикосновение, жест. Эдвард Гилберт был иллюзией, мечтой; сначала мечтой и иллюзией матери, затем — моей собственной. Насколько я помню, он был красивым мужчиной — с тонкой костью, белокурый, с изящными усиками и бакенбардами. Моя мать не раз говорила, что его светлые, загнутые вверх ресницы были как у ребенка. Даже его довольно хрупкое сложение казалось ей истинно английским и чрезвычайно благородным.

Мне виделось, как он стоит во дворе казармы, высокий, прямой, под низко нависшим ирландским небом. В красном камзоле и узких брюках с кантом он, должно быть, чувствовал себя неотразимым. Это был день, полный новых возможностей, отличное утро для того, чтобы начать жизнь сначала. Здесь, в Ирландии, его происхождение не будет служить помехой. Ему говорили: тут есть чем поживиться, и молодой британский прапорщик вроде него может далеко пойти. Он втянул носом воздух, ожидая почуять чисто ирландский дух немытого тела, однако запахи были сплошь знакомые — конский навоз, начищенные сапоги,

солома, гнилые овощи, вонь прокисшей похлебки с кухни. Так пахнет любой солдатский гарнизон в любом месте. Когда отец неторопливо направился к воротам, он представлял себе, как будет командовать целым миром, перемещаясь из одного уголка земного шара в другой одним-единственным мощным прыжком. Отдав честь своему лейтенанту, он присоединился к взводу солдат, что стояли по стойке «смирно» возле ворот.

Когда тяжелые, обшитые железом ворота начали со скрежетом отворяться, его уверенность мгновенно улетучилась и растворилась в морозном воздухе. Первое, что он увидел между открывающимися створками, была тощая девчонка в рваной красной юбке, которая помешивала что-то в горшке над костром. Затем его глазам предстали грубые, убогие жилища, построенные бог весть из чего и как. Они тут скот держат? Ворота скрипели, скрежетали и наконец отворились полностью. По ту их сторону раскинулась обширная стоянка, отвоевавшая часть поля, заросшего колючим бурьяном. На веревках висели одеяла, на голых шипастых кустах сушилось рваное нижнее белье; носились тощие дети с перемазанными в грязи ногами. Единственные животные, которых он увидел, была худущая корова с отвисшим выменем да шелудивый облезлый пес. Сквозь распахнутые настежь ворота Эдвард насчитал тридцать пять — нет, сорок женщин, а снующую ребятню было просто не сосчитать. Из одной хибары тупо глядело существо с пустыми глазами, больше похожее на призрак, чем на живого человека; из других лачуг, моргая от яркого света, повалили чумазы неряхи. Когда солдаты вышли за ворота, все грязное, оборванное население стойбища собралось у края дороги.

— А иди-ка ко мне! — выкрикнула одна особо костлявая тетка. — Увидишь, что у меня для тебя есть.

Солдаты шагали строем, упорно глядя в какую-то точку вдали. Эдвард пытался идти в ногу, однако на лбу начала нервно биться жилка. Он видел женщину, скрюченную, как древняя старуха, видел других, с раззявленными ртами, в которых торчали черные гнилые зубы. Еще одна, с рябым от оспин лицом, прижимала к груди младенца.

— Неужели их нельзя отсюда убрать? — спросил он шепотом.

— Шлюх-то? — откликнулся лейтенант. — Напротив, им запрещено уходить. Им можно либо тут жить, либо — пожалуйста в рабочий дом. Очевидно, тут им лучше.

— Но их тут десятки! Это же непозволительно.

Лейтенант насмешливо хмыкнул.

— Вы прежде не бывали в Ирландии, так ведь, Гилберт? Здесь в каждом гарнизонном городе свой отряд. Они зарабатывают единственным, что умеют делать.

Солдаты молча шагали к городской ратуше, а толпа женщин кричала им вслед. Девушка с ангельским личиком и грязными босыми ногами не сводила глаз с коренастого молодого солдата; другая баюкала раскричавшегося младенца. Когда Эдвард оглянулся, женщина с повязкой на глазу обнажила одну грудь и призывно покачала ее на ладони.

— Мой папашка — англичан! — крикнул мальчонка с пронзительно-синими глазами. — И я тоже англичан — как вы.

Солдаты шли дальше, мимо частных домов, общественных зданий и магазинов, и все это до странности напоминало какой-нибудь торговый город в Англии. Эдвард пытался выкинуть из головы слова синеглазого мальчишки, но они упорно звенели в ушах, нанизанные на ритм шагов. Куда ни глянь — всюду можно было заметить крадущихся с опаской молодых парней, а угрюмые группки мужчин при приближении солдат спешили

разойтись. Когда взвод повернул с городской площади на Мейн-стрит, в окне мастерской модистки Эдвард заметил девушку в зеленой шляпке. Она казалась свежей и невинной, как весенняя маргаритка, и при взгляде на нее Эдвард позабыл стойбище шлюх и свое уныние. Возможно, жизнь не так уж плоха, в конце-то концов. Девушка улыбнулась мимолетной улыбкой и отошла от окна. Эдварду запомнились ее пронизательные глаза, густые брови и смуглая кожа, оттененная изумрудного цвета платьем.

Днем в Корке было спокойно. По ночам, однако, что-то происходило. В декабре, например, в окно в здании суда влетело ведро с конской мочой, и потом несколько недель суд благоухал, как отхожее место. Полицейских убивали одного за другим. Никто ничего не видел; никто не брал на себя ответственность за содеянное. Солдаты дважды в день совершали обход улиц, но им приходилось несладко. Даже если их встречали приветливой улыбкой, в спину летел шмат конского навоза — а то и что-нибудь похуже.

Каждый день моя мать поджидала их, притаившись у окна мастерской. Когда отец смотрел в окна, она подавалась прочь, в глубину комнаты, чтобы он ее не увидел. Но стоило солдатам пройти, она тут же выглядывала из двери и провожала взглядом его стройную фигуру.

Элиза Оливер была рано сформировавшейся девушкой с честолюбивыми помыслами, которые никак не соответствовали ее скромному положению. Ее отдали в ученицы модистки в двенадцать лет, однако она полагала себя совсем взрослой и равной дамам — покупательницам шляпок. Хотя она обладала всем физическим «снаряжением», присущим молодым женщинам, ей пока еще не представлялась возможность это «снаряжение» опробовать. Благородные и состоятельные мужчины могли бы увидеть в ней возможную любовницу, но не жену. Купцы и торговцы, которые за ней ухаживали, казались недостойными внимания. Она уже замышляла, как бы попасть на ежегодный полковой бал. Тонкие, изящные черты лица молодого офицера запали ей в душу. Разумеется, британский офицер и помыслить не мог о том, чтобы жениться на модистке, но она без особого труда может разыграть из себя светскую даму. Уж она на этих дам насмотрелась, когда они приходили в магазин за шляпками.

Днем Эдвард часами просиживал за столом, составляя различные списки: осужденные, дезертиры, продовольствие, оружие. Вечерами он вместе с другими офицерами посещал званые вечера у местной знати либо играл в карты. Ночами он слышал английскую речь, доносящуюся из стойбища шлюх за воротами. Спустя несколько недель такой жизни ему нестерпимо захотелось хоть какого-нибудь разнообразия.

Когда на ежегодном полковом балу он заметил ту самую девушку, которую видел в окне мастерской, его лицо осветилось радостью. Ее представили как мисс Элизу Оливер, дочь покойного сэра Чарльза, бывшего шерифа Корка, и Эдвард выпрямился, развернул плечи, расправил невидимые складки на своем свежеевыглаженном камзоле. Девушку сопровождала супруга мирового судьи, который в прошлом был другом покойного сэра Чарльза. Элизе потребовалось полтора месяца, чтобы добиться приглашения на бал — ведь ее положение не давало на это права. Она полагала, что Эдвард — человек состоятельный. Он же офицер, не так ли? К тому же его речь звучит, как речь благороднейшего английского лорда. Будучи ирландкой, Элиза не улавливала легкую картавость уроженца западной части Англии, которая свидетельствовала, что Эдвард — вовсе не чистокровный англосакс. От ее внимания ускользнуло и то, что офицеры старше его по званию обращались с ним холодно.

На Элизе были сиреневое платье с вышивкой и верхней юбкой из газа, атласные туфельки и перчатки в тон. Когда Элиза и Эдвард кружились в танце, ее юбка превращалась в облако нежного цвета лаванды, а зеленые крапинки в ее темных глазах становились заметнее. Эдвард сиял от гордости, видя, как другие офицеры провожают их взглядами.

Он не знал, что роскошное платье принадлежит сестре Элизы, Милли, которая была горничной у одной состоятельной дамы. А Милли это сокровище досталось в подарок от хозяйки, которая видеть его не могла. Это платье дама надевала лишь раз в жизни, рассчитывая на предложение руки и сердца; однако ее избранник предложение не сделал, увлекшись другой красоткой. Элиза долго умоляла сестру одолжить ей платье. В конце концов Милли уступила, но взамен потребовала шляпку из тафты с вышивкой и шелковыми розами. Элиза больше месяца мастерила эту шляпку, и от работы у нее болели глаза. Когда Эдвард повел ее на очередную кадрили, она прикрыла глаза и с деланной скромностью улыбнулась.

Почти год Корк кипел на медленном огне, недовольство католического населения проявлялось в мелких вспышках. Однако местные выборы послужили поводом для мятежа. Был застрелен сборщик десятины. Расцвели многочисленные тайные общества. Люди с белыми повязками на шляпах орудовали по ночам, похищали из частных домов оружие, убивали полицейских. В стойбище у ворот гарнизона молодому пехотинцу перерезали горло от уха до уха.

Эдвард был занят бумагами и писаниной: высылка из страны неблагонадежных лиц, пойманные дезертиры. По вечерам он встречался с Элизой. Вдали от дома, где все было просто и ясно, он не задавался вопросами, отчего она выбирает для встреч те или иные малоподходящие для леди места, а отсутствие сопровождающей юную девушку дамы полагал просто везением. Элиза обладала качеством, которого были лишены англичанки, — удивительным жизнелюбием и энергией, почти неподобающей истинной леди.

Спустя четыре месяца прошел слух о том, что полк переводят в другое место. Элизе пришлось быстро принимать какое-нибудь решение. Эдвард становился все более пылким. Она позволяла ему многое, чего никак не следовало позволять. Они не задумываясь скармливали друг другу ложь, как леденцы: лакомства, созданные из мечтаний, с легкостью слетали с их губ. На его пальцах оставался ее запах, и не раз корсаж ее платья соскальзывал с плеч, однако Элиза каждый раз удерживалась на краю. Когда она игриво утыкалась лицом Эдварду в колени, это его так возбуждало, что он едва мог дышать. А когда были даны необходимые обещания — и кольцо с рубином надето ей на палец, — Элиза придержала его жадные руки и сама подняла юбки.

Эдвард не был столь порывист и легко управляем, каким казался. Да, он был опьянен, возбужден, сокрушен — все это так. Но при этом он был человеком практичным. Четыре с лишним месяца он мечтал лишь о том, как нырнуть под Элизины юбки; однако наряду с божественными уладами, таящимися под ними, не забывал и про банкноты с золотыми монетами. Состояние Элизы пришлось бы чрезвычайно кстати, да и жалованье после женитьбы ему увеличат. А кроме того, кто еще скрасит его жизнь в каком-нибудь Богом забытом ирландском городишке?

Перед моим появлением на свет мать непрерывно перешивала и выпускала в талии свои платья. Она переехала к брату в Лимерик. Униженная тем, что приходится жить у

помощника лавочника, да к тому же над скобяной лавкой, она замышляла торжественное возвращение в Корк и великолепную свадьбу, которая состоится вскоре после моего рождения. Однако спустя шесть месяцев ее заключения в Лимерике началась смута в Слайго, и полк моего отца должны были срочно перевести туда. Узнав эту новость, Элиза расплакалась.

В Лимерике бесконечно шел дождь. Он лил с утра, лил ночью. По улицам текли настоящие реки, в домах от сырости чернели и отставали от стен обои. В своем бесконечном ожидании мать винила меня — единственную причину всех своих горестей и лишений. Вдали от Корка, безобразно распухшая, она боялась, что мой отец может ее бросить. Отекшие щиколотки, раздавшаяся талия, выпирающие вены — это все была моя вина. Я ей представлялась злобным маленьким человечком — слепым, с жадно разинутым рыбьим ртом.

В день, когда я родилась, разозленные принудительными выселениями жители подняли настоящий мятеж. Моя мать лежала в спальне над лавкой, когда раздались громкие крики на соседних улицах. Родовые схватки начались так быстро, что не было никакой возможности перевезти ее в более спокойное место. На улицах женщины гремели крышками мусорных баков, мужчины выворачивали из заборов столбы, и окна скобяной лавки жалобно дребезжали. Мать кричала от боли, а шум снаружи заглушал ее крики. Она тужилась и ругалась, а здание суда на другой стороне улицы охватило пламя. Когда моя голова показалась на свет, в окно спальни влетел кирпич, и осколки стекла засыпали пол. Тут я намертво застряла и ни в какую не желала двигаться дальше. Лишь с огромным трудом повитуха извлекла меня наружу. Когда же мать взглянула на меня, она была крайне удручена:

— Бог мой, она похожа на служанку!

Она-то надеялась, что родится похожий на англичанина мальчик — со светлой кожей и тонкой костью, как мой отец. Однако я оказалась крепкой девчонкой с кожей даже более смуглой, чем у нее самой. Черты англо-ирландского рода Оливеров вообще никак не проявились. В сущности, я выглядела даже большей ирландкой, чем мать.

Спустя три месяца в Корке состоялось венчание. В газетных объявлениях о свадьбе моя мать значилась как дочь сэра Чарльза Сильвера Оливера; о происхождении моего отца не говорилось ни слова. В церкви не присутствовал ни один его родственник. Немногочисленная родня моей матери, несомненно, была высокого о себе мнения, однако они не очень-то понимали, каким же именно образом их связывают родственные узы с сэром Оливером. Жених и невеста выглядели бесконечно счастливыми; а может, то было лишь облегчение, который каждый испытывал при мысли, что не разоблачен? Если кому-то из них венчание и показалось слишком скромным, ни один не задал вопросы вслух. Возможно, они были ослеплены любовью; уж конечно, оба сгорали от юного нетерпения выразить эту любовь под одеялом.

Они были уже на полпути в Слайго, когда вспомнили, что я осталась в Лимерике. Могу себе представить, как они переглянулись, прежде чем решили, что все-таки стоит повернуть назад. К тому времени меня уже называли Элизой или просто «ребенком» — если вообще обо мне говорили. По понятным причинам, мое рождение не было записано в церковной книге. Нет никаких доказательств тому, что я вообще родилась на свет. В скобяной лавке мой дядя, который только что прослышал о венчании, не открыл на стук дверь. Родители

обнаружили меня у черного хода, в коробке вместе с несколькими старыми платьями и стопкой книжек с картинками.

В Слайго с гор дул пронизывающий ветер, завывал на унылых улочках городка на холме. Волнения прокатывались по всему графству, но без ясно видимого врага армия пребывала в растерянности. Нельзя же предпринять наступление на одинокую ферму или безлюдный проселок! Дезертиров становилось все больше, и их отправка отнимала у Эдварда много времени. Его также посылали надзирать за выселением людей из крупных поместий. Проводя целый день за выдворением из домов несчастных женщин с их худыми детьми, вечерами Эдвард был в дурном настроении. Элиза, ожидавшая, что они будут постоянно устраивать у себя светские приемы, с удивлением обнаружила, что муж любит побыть в одиночестве. Младенец то и дело плакал, а Элиза подурнела.

Стремясь ее утешить, Эдвард нанял в служанки местную девушку, и несколько недель Элиза с удовольствием гоняла ее в хвост и в гриву. Каждую неделю мать Брайди являлась получить ее жалованье, и всякий раз Брайди умоляла забрать ее домой. Когда она баюкала меня по ночам, по ее щекам катились крупные слезы. Покачиваясь у нее на руках, я крепко держала ее за палец и всматривалась в лицо. Под слезами в ее теплых карих глазах поблескивали янтарные крапинки. Брайди больше месяца привыкала к тому, чтобы носить башмаки, а от корсета вообще отказалась наотрез.

— Мои бедные ноги в тюрьме, — бывало, жаловалась она. — Ну что плохого, если чувствуешь землю? Скоро люди вообще за дверь носа не высунут!

Мы с Брайди большую часть времени проводили в комнатах наверху. Свои первые шаги я делала именно с ней. Я до сих пор помню скошенный потолок, небесно-голубые занавески, стук дождя по стеклу — и то, как мы вдвоем, обе босые, шагаем по полу.

Моей матери было пятнадцать лет, Брайди была немногим старше; однако стоило Элизе поймать себя на том, что она болтает и смеется со служанкой, она тут же напускала на себя важность и принималась командовать. В конце концов, она умела писать свое имя — а Брайди вообще букв не разбирала. Элиза годами лелеяла мысли о великих переменах в своей жизни, а бедную Брайди каждое новшество заставляло врасплох. Моя мать хотела, чтобы у нее было все самое лучшее, однако понятия не имела ни о ценах, ни о том, как разумно тратить деньги. Она пыталась представить себе, как бы выглядел внутри дом ее отца. Увидев в доме у подполковника обои с тисненым рисунком, она заказала себе точно такие же. Когда майор распродал свое имущество, мать накупила тяжелой мебели из красного дерева. Ей и в голову не приходило сперва посоветоваться с мужем. Эдвард заполучил Элизу примерно так же, как его страна завоевала Ирландию: он оказался в растерянности на чужой территории, а она тайком боролась за главенство. Когда начали приходить счета, мой отец усадил жену в забитой мебелью гостиной и строго-настрого запретил покупать что-либо еще.

— Но я же только старалась, чтоб ты жил в доме, которого заслуживает офицер, — сказала она в ответ.

Отец ошетинился.

— Я — прапорщик. Самый младший среди офицеров.

— Но все равно офицер.

— Мы должны жить по средствам, — заявил он раздраженно.

Мать задумчиво водила пальцем по парчовой обивке кресла.

— Но дом еще до конца не обставлен. Как же мне приглашать людей на приемы?

— Я тебе ясно все сказал. И давай больше не будем к этому возвращаться.

— Но что люди подумают? — упорствовала мама. — Я не просто жена офицера, я еще и дочь дворянина.

Отец сжал одну руку в кулак, затем другую. Потом заговорил — сухо, холодно, сдерживая гнев:

— В таком случае ты можешь воспользоваться собственными деньгами.

У мамы слезы навернулись на глаза.

— Но ты ведь хочешь жить как джентльмен, правда же?

Вскочив с места, папа подошел к камину. Помолчал, прежде чем ответить.

— Я джентльмен, — проговорил он наконец. — В этом можешь не сомневаться.

— Ну так в чем дело?

— Господи, женщина! Ты что, не понимаешь? — Взмахнув рукой, он смел с каминной полки фарфоровую статуэтку. Прошептал: — Я в самом деле джентльмен, но без средств. Жалованье — это все, что у меня есть.

Муж и жена уставились друг на друга; сказанные слова как будто висели между ними в воздухе. На полу лежали осколки разбившейся статуэтки.

Когда отец вышел из комнаты, мать откинулась на спинку кресла и принялась крутить на пальце кольцо с рубином. Без средств? Как это может быть? Она заплакала — сначала тихонько, потом в голос, сотрясаясь всем телом. Обручальным кольцом она в гневе царапала себе руки; впрочем, не до крови.

Отец оставался тверд. Когда являлись торговцы с новыми тканями, он отсылал их прочь. Маме теперь приходилось даже просить деньги на покупку лент и пуговиц. Брайди посадили макать свечи и варить мыло.

Мои родители оба так стремились улучшить свои виды на будущее, что ни один не дал себе труда выяснить, каково же в действительности материальное положение другого. Когда несколько месяцев спустя отец предложил, чтобы мама из своих денег оплатила новый экипаж, начали выплывать новые печальные подробности. Мать в самом деле получила наследство — тут она не солгала, — но было оно весьма скромным, к тому же она не могла им распоряжаться, пока ей не исполнится двадцать один год.

Не сразу, постепенно, она выложила всю правду. Ее искусство в шляпном деле было вовсе не милой прихотью, она этим прежде зарабатывала на жизнь. Она в самом деле была дочерью сэра Оливера, но от любовницы, а не жены. Законные наследники покойного шерифа перешли бы на другую сторону улицы, лишь бы не здороваться с ней, Элизой. Если одна из его дочерей заходила к модистке, Элиза пряталась в задней комнате. Она не стала распространяться о прочем незаконном потомстве своего отца. Согласно же местным сплетням, почтенный сэр Чарльз имел достаточно отпрысков, чтобы заселить ими целое поместье: дети у него были от жены булочника, двух служанок и от дочерей кузнеца.

Мой отец был джентльменом без средств — это все, что матери удалось выяснить. Он решительно не желал рассказывать, откуда он родом и кто его родители. Мать не настаивала, боясь узнать что-нибудь совсем скверное. Она предпочитала думать, будто Эдвард происходит из древнего дворянского рода, который по каким-то благородным причинам обнищал.

Вот так оно все и сложилось. С головокружительных высот они оба рухнули на землю. Приятная благополучная жизнь их не ждала. Отец женился на незаконнорожденной, на

торговке, в этом теперь не было сомнений. Мать вышла замуж за самого младшего из офицеров, человека без средств. Неожиданно оказалось, что им известно друг о друге слишком много и будущее их слишком ясно. Когда Эдварду подвернулась возможность поступить на службу в Ост-Индскую компанию, им было нечего терять. Что они знали об Индии? Что из нее везут чай, пряности и красивые ткани. А что Индия знала о них? Короче говоря, это был отличный шанс начать жизнь сначала.

Глава 2

Мне было три года, когда мы уехали из Ирландии. Помню, родители суматошно сновали туда-сюда, а я хваталась за шелестящие юбки и летящие фалды.

— Уведи ее, чтоб не пугалась под ногами, — велела мать, и Брайди вытащила меня из дома.

Поднявшись по склону горы, мы набрали воды из родника и навязали красные тряпицы на ветки росшего рядом боярышника.

— Небо, помоги нам, — шептала Брайди, брызгая ледяной водой мне в глаза, а после мокрым пальцем начертила на лбу холодный крест.

Я попыталась противиться, но она приложила палец мне к губам:

— Ш-ш-ш!

Нацепив на голубую ленту серебряную медальку, Брайди повязала ленту мне на шею, а медальку спрятала под одежду. Крепко зажмурившись, она прошептала:

— Пусть все святые в раю хранят нас обеих.

Я нахмурилась, вспомнив банки с маринадами: овощи в них плавали неприглядные, сморщенные.

— Хранят, как огурцы?

Брайди легонько ущипнула меня за щеку.

— Как вкуснейшие спелые сливы в сиропе! — ответила она с невеселой улыбкой.

Когда мы вернулись, возле дома ожидал экипаж.

В течение одного дня домом стало вечно движущееся место, загроможденное саквояжами и чемоданами, а внешний мир ограничился рамками. Как только Брайди посадила меня в экипаж, мое восприятие изменилось. С этой минуты мне вспоминается лишь бесконечное движение куда-то, непонятно куда; а еще ветер, пар, поезда, корабли, кареты. Мимо пролетали города и поселки, а Ирландия сохранилась в памяти как застывшее, не меняющееся место, в котором время не движется вовсе. Весь прочий мир превратился в череду сменяющихся картинок за оконным стеклом. Он падал каплями дождя и хлопьями мокрого снега, стекал струйками по стеклу; проносился мимо окна кареты, уплывал прочь за кормой судна.

Мы морем прибыли в Англию, затем продолжили свой путь по суше. Отец отдавал приказы, словно командир полка на учениях. Стоило ему щелкнуть пальцами, мать с Брайди так и подскакивали. Бедняжка Брайди до сих пор не то что моря — озера не пересекала, и, едва лишь ступив на борт корабля, она горько о том пожалела.

— Это неправильно, — твердила Брайди. — Если б Господь задумал так, чтоб нам по воде плавать, он бы нам жабры дал!

В городе Грэйвсенд, откуда нам предстояло плыть в Индию, наш корабль высился у

причала, будто огромный серый гусь. Сходни под ногами скрипели и стонали, когда мы поднимались гуськом, причем каждый держался за того, кто шел впереди. Мать крепко держалась за руку отца, Брайди цеплялась за мать, а я обхватила шею Брайди. На палубе мы пробирались среди мычащих коров, блеющих овец и порядком напуганных людей. Спрятанная у меня под сорочкой медалька, что повесила Брайди, была уютно теплой.

Четыре следующих месяца наш мир колыхался, качался и шатался. Раз или два у нас билась посуда, маму тошнило, нас всех бросало от стенки к стенке. Домом стала крошечная каюта с грязным иллюминатором и кривым полом. За небесно-голубыми занавесками из детской стояло поганое ведро. Моя колыбель, выстланная изнутри остатками обоев с тисненым рисунком, была привязана к балкам на потолке. Днем отец читал «Записки о физиогномике», а мать пришивала кружева на нижние юбки. Ночью они спали за занавеской. Между собой они разговаривали подчеркнуто вежливо, а порой спорили сквозь зубы. За несколько мгновений шутливая беседа могла превратиться в обмен колкостями. Я ощущала их холодность по отношению друг к другу, как ледяной ветерок.

— Не мог бы ты налить мне вина? — бывало, спрашивала мать.

На что отец отвечал с неприкрытой издевкой:

— Я бы отдал тебе свои башмаки.

— Ну нет, я бы их не взяла, потому как у тебя больше ничего нет.

— Вот в этом мы с тобой совершенно равны.

Мать закусывала губу, потом отвечала:

— У меня есть связи. А о тебе этого не скажешь.

— Я — джентльмен. Ты — леди. И давай на этом закончим.

Отец наливал два бокала мадеры, и они молча пили. Или же он подхватывал меня на руки и уносил на палубу.

На свежем воздухе к нему возвращалось хорошее настроение. Отец называл меня своей маленькой принцессой; а порой совсем смешно — огурчиком, редисочкой, свеколкой. Если не слишком сильно качало, он принимался подбрасывать меня в воздух, а я радостно цеплялась за его волосы или бакенбарды. Стоя на палубе, он показывал мне разных птиц и рыб и говорил, как они называются. Когда корабль подходил ближе к берегу, вокруг нас летали удивительные яркие птицы. По несколько недель стояла ужасная жара, а после подолгу было морозно и шел снег. Мы с отцом гуляли в любую погоду, я держалась за его руку, а он шел такой серьезный и держался так прямо, словно сопровождал уже взрослую даму.

Проведя месяц на борту корабля, Брайди успела перезнакомиться чуть ли не со всеми пассажирами и командой. По утрам она меня забирала к себе, а вечером возвращала родителям. Большая каюта, где жила она сама, была битком набита женщинами, которые пели, плакали, мыли голову. Некоторые сутки напролет лежали в подвесных койках без движения, другие, как Брайди, ни минуты не могли сидеть спокойно. Между молитвами Брайди рассказывала мне всякие истории. Вот Моисей, к примеру, заставил Красное море расступиться, когда израильтянам нужно было его пересечь; досадно, что наш капитан не может сделать так же. А Иисус ходил по воде, аки посуху; впрочем, то было всего лишь маленькое озерцо.

Я сидела на койке Брайди, в трюме между досок плескалась вода, а Брайди

повествовала. Бедного Иону выбросили за борт, и он едва не утонул. И словно этого было мало, его вдобавок кит проглотил. А еще был Ной. Когда мир залило водой и он спас всех животных, он потом всю жизнь боялся: а ну как ковчег утонет? И сам чуть не утонул, пьяный.

Тут Брайди вскакивала, и мы отправлялись путешествовать по кораблю. Я, со своим невеликим росточком, пробиралась у людей между ног. Хотя я и начала уже давно ходить самостоятельно, походка моя была странной: сказывалась постоянная качка. Спустя четыре месяца, проведенных в море, я передвигалась враскачку, как матрос.

В чреве корабля было уютно и темно — совсем как Ионе в чреве кита. Чем ниже мы спускались, тем шумнее становилось вокруг. В темных коридорах или в закоулках мы то и дело натыкались на кучки людей, которые азартно играли в кости или карты. За колышущимися перегородками из парусины я порой видела сплетенные руки и ноги, полосу бледной кожи между краем рубахи и ремнем, пухлые белые бедра под задранными темными юбками. Одна веселая женщина жила в стойлах вместе с лошадьми, а другая, бледная и несчастная, таскала объедки с капитанского стола, потому что у нее не было денег на еду.

Брайди часто приходила к человеку, который обитал глубоко-глубоко внизу. Его лицо было черным от угольной пыли, руки блестели от пота; он являлся из чадной кухни и сжимал Брайди в объятиях. Брайди оставляла меня посидеть в уголке, пока они обнимались. Его руки пачкали Брайди черным, а телом он прижимал ее к стенке. За ними плясало темно-красное пламя в печи, их смех смешивался с ревом огня и черные силуэты сливались.

Эти четыре месяца помнятся мне обрывками — что видел глаз, что нюхал нос, чего касались пальцы. Непрерывная качка, ощущение того, как огромный корабль рассекает волны, человеческие тела, жар огня. А еще помню мать — какая она была спокойная, холодная, красивая в своих платьях нежных тонов. Она целовала меня утром и на ночь. Если ей было скучно, она завязывала мне ленты в волосах и пыталась учить названиям тканей: тафта, шифон, хлопок, шелк, кружево. Она редко мне улыбалась, но ее свет меня согревал.

Еще не ступив на берег, мы уже ощутили густой дух Индии. Этот дух окутал нас, едва корабль зашел в калькуттскую гавань. У меня защекотало в носу, я принялась. Запахи цветов смешивались с вонью горелого мяса. Я почуяла множество человеческих тел, сгрудившихся вместе; почуяла шум и деловую суету. Это мне напомнило запах жаркой кухни, где снуют озабоченные повара, только здесь «кухня» была под открытым небом.

Судно подошло ближе к берегу, и люди с коричневой кожей понесли нас на плечах, словно мы были короли и королевы. Две коричневые руки вскинули меня высоко к небу, затем крепко ухватили за запястья. Эти темнокожие люди брели по прохладной воде, а мы покачивались в воздухе, и сверху отчаянно жарило солнце.

Когда мы плыли вверх по течению Ганга, к нашему плоскому речному судну подкралась болезнь, окутала его со всех сторон. Хотя никто не говорил о ней вслух, чувствовалось растущее угрюмое напряжение. Я слышала, как служанки шептались: «Холера, холера!» Мне казалось, что так называется что-то необыкновенное; может, какое-то съедобное растение, а может — тонкая ткань для изготовления шляп. Двое индийцев на борту стали бледные и холодные, а потом куда-то исчезли. Вскоре из трюмов пошел запах гнили и разложения. В тот день, когда запах исчез, возле судна появилась стая аллигаторов; они сустились, кружили, щелкали зубами. Взрослые все как один примолкли. Брайди не выпускала меня из рук. Мама перестала выходить из каюты.

Отец высмеивал ее страхи.

— Свежий воздух еще никого не убивал, — говорил он, когда мы с ним, как обычно, прогуливались на палубе.

Он пил воду, как прежде; мать же теперь пила только мадеру и пиво. Через несколько дней он стал тих и задумчив. Раз или два он при мне хватался за леера^[3], хотя вода в реке была спокойная и гладкая, как стекло.

Не прошло и недели, как он слег, и меня к нему не подпускали. Всего несколько раз мне удавалось его увидеть, и выглядел он так, словно его обклеили белой бумагой.

— Эй, малышка, ты пришла скрасить мне день? — спрашивал он через открытую дверь, однако мать или Брайди торопливо меня уводили.

Из каюты шла нестерпимая вонь — пот, рвота, понос. Через полмесяца отец уже умирал. Когда я его увидела в следующий раз, он был так измучен болью, что на меня даже посмотреть не мог. Брайди все время носила в каюту кувшины с водой, и я думала: наверное, он пытается уплыть. Он так исхудал, что я его едва узнала. Как-то раз я видела, как мать держит его запястье и качает головой, словно ищет что-то и не может найти. А однажды я вбежала в каюту и поцеловала его; кожа у него оказалась совсем холодная.

А судно все плыло и плыло. Река была так широка, что берега едва виднелись. Точка впереди, где два берега сходились вместе, нисколько не приближалась. Казалось, что река вообще никогда не закончится.

Отец превратился в обтянутый кожей скелет, потом кожа из белой стала синей. Сначала губы, затем веки потемнели и сделались розовато-лиловыми, точно старые синяки. Ногти и те стали синими.

Один из офицеров сказал матери, что людей убивают вредные испарения в воздухе. Другой сказал иначе: мол, это Индия. Но я думаю, что это все вода: отец слился с водой, как Ной, который пил так много, что он и вода стали одно.

Когда я подошла к отцу в последний раз, глаза у него были неподвижные и слепые. Я подергала его за губы, чтобы он со мной заговорил, но Брайди потащила меня прочь. Я заплакала, закричала, и тогда мать принялась меня шлепать и лупила, пока я не утихла. Дверь каюты захлопнулась, и больше я отца уже не видела.

Я пыталась представить, как он в завитках ароматного дыма поднимается к небу, однако из-под двери тянуло отвратительной вонью, которая с каждым днем становилась все сильнее.

Где бы мы ни плыли, индийцы отправляли своих мертвых по водам священной реки. Они укладывали завернутые в белую ткань тела на специальные плоты на берегу; руки покойников были сложены на груди, на шее — гирлянды из оранжевых и желтых цветов. Когда я оглядывалась, эти плоты с зажженными погребальными кострами уже были спущены на воду, и люди брели по воде, толкая их перед собой, пока течение не подхватывало груз, унося с собой. Бедный мой отец; мне хотелось бы, чтобы и он вот так же уплыл по реке.

Его похоронили в Динапуре, в присутствии всего полка. Два горна прозвучали дерзко и одновременно жалко под яростным индийским небом. В жалкой попытке отгородиться от Индии солдаты маршировали, сержант выкрикивал команды. Но тщетно: Индия подобралась вплотную, окружила нас, подавила. По обе стороны гроба курились благовония, в воздухе стояла густая пыль, жужжало облако мух. Мне казалось: отец обволакивает меня, сливается с телом, словно вторая кожа. За воротами кладбища прямо на горячей земле лежали безногие

нищие. Смерд окутывал нас, будто саваном.

Я стояла возле могилы рядом с матерью, с ног до головы одетая в траур, и моя одежда была точной копией ее наряда. Поглядев в вырытую яму, я увидела проскользнувшую там яркую змейку. Потом я посмотрела на Брайди, которая присоединилась к слугам. Поймав мой взгляд, она подмигнула. Мать крепко держала меня за запястье. Когда я подняла голову и посмотрела на нее, она внимательно разглядывала офицеров, выстроившихся с другой стороны могилы.

За спиной тихо переговаривались офицерские жены:

— Это индийская болезнь. Его убила Индия. Бедная вдова, она еще совсем ребенок.

Вскоре после похорон от нас ушла Брайди. В Индии белых женщин было втрое меньше, чем мужчин, и Брайди, оказавшись в центре невиданного внимания, расцвела. Она вышла замуж за сержанта из полка моего отца; сержант был счастлив. Когда Брайди уходила, я отчаянно цеплялась за ее юбку, не желая отпускать; у нее на щеках блестели слезы. Я заставила ее пообещать, что к реке она никогда и близко не подойдет. После смерти отца это была моя вторая горькая потеря. Глядя Брайди в спину, я думала, что лучше ни в кого не влюбляться, потому что из-за этого дорогие тебе люди уходят.

Глава 3

Мать превратилась в дрожащий мираж, плывущий в жарком воздухе; стремительная деловитая фигурка в отдалении, которая энергично махала руками, щедро раздавая указания. Мы ехали на слоне, затем в паланкине, в повозке — и она все время оказывалась там, где мне было до нее не добраться. Я ей махала рукой, но она не замечала. Я звала, но она не слышала. Я была упакована вместе с платьями, шляпными коробками, кастрюлями, годовым запасом свечей и мыла, плотно обставлена сундуками, завернута в муслин, смочена каламиновой жидкостью^[4]. Меня поднимали и усаживали куда нужно офицеры, лодочники, худые нечесанные люди почти без одежды. Из разговоров я выхватывала отдельные слова. А после проговаривала нараспев: «Калькутта, Дакка», прислушиваясь к тому, как они звучат. Куда бы мы ни двигались, я не отводила глаз от мамы. Я разглядывала ее затылок и шею, смотрела, как двигаются ее руки, следила за стекающей от виска капелькой пота. Стоило ей исчезнуть хоть на миг, я отправлялась ее искать. В жалкой попытке угодить ей я перестала задавать вопросы и изо всех сил старалась вести себя тихо. Что бы ни происходило, ни в коем случае нельзя было потерять ее из виду.

Люди, что несли паланкин, напевали песенки, которые сочиняли тут же.

Она совсем легкая, эта малышка,
Неси ее быстро, славную крошку,—

пели они.

С высоты их роста я рассматривала сменяющиеся стремительным калейдоскопом удивительные и странные вещи: крошечные обезьянки, огромные цветы размером с суповую тарелку, обнаженные святые люди, торговцы с тюками ярких тканей, танцовщицы, у которых руки и ступни выкрашены красной краской.

Если в Индии наша Брайди расцвела великолепным цветком, то мать превратилась в редкостный самоцвет — очень красивый, со множеством острых граней. Ее полностью устраивало положение восемнадцатилетней вдовы, а я, четырехлетняя сиротка, была идеальной опорой. Каждый день после обеда два-три джентльмена боролись за ее внимание. Скромно сидя на диване, мать искусно стравливала их между собой, при этом тщательно учитывала их звание и общественное положение. Младших офицеров она вскоре отпускала, тех, у кого были хорошие виды на будущее, угощала чаем с пирогом. Хотя стояла страшная жара, мать продолжала носить траур, потому что в черном выглядела изысканно бледной, молочно-прозрачной. Меня обучили делать реверанс и наливать чай и в нужный момент приводили в гостиную и представляли гостям на обозрение. Мои наряды были точной копией маминых, разве что больше лент и нашитых бусин.

— Подай господину чай, — говорила мать.

В моих ручонках фарфоровая чашка с блюдцем казалась огромной, как тарелка с глубокой миской, а комната с каждым шагом становилась обширнее. Не спуская глаз с горячего, колышущегося в чашке чая я ужасно боялась его расплескать. Когда я наконец добиралась с чашкой до офицера, он непременно произносил: «Бедная крошка», а после продолжал беседовать с матерью, словно меня рядом вовсе не было.

— Все, дорогая, — говорила мать, звонила в колокольчик, и меня уводили.

Несколько месяцев спустя она уже готовилась вновь выйти замуж. Британские офицеры постепенно уступили место лейтенанту-шотландцу с темными бакенбардами и большим круглым лицом. Мистер Крейги, когда говорил со мной, смотрел в лицо и ни разу не забыл, как меня зовут. Руками он умел показывать на стене забавные тени — лисицу или ослика; они у него даже разговаривали. Однако если он занимался мной слишком много, мать отсылала меня из комнаты.

Однажды вечером мама возвратилась домой с лейтенантом Крейги и букетом чайных роз. То, что они теперь муж и жена, сообщил мне лейтенант.

— Ну вот, мы поженились, — сказал он. — И будем все вместе жить в большом новом доме.

— И я?

— Конечно.

Затем он прошел со мной в детскую, опустился рядом на колени и протянул мне сжатые кулаки.

— Значит, вы теперь мой папа? — спросила я.

— А ты согласна?

Я коснулась его кулака; он разжал пальцы, и на ладони оказался большой орех в розовой глазури.

— Да, — ответила я серьезно.

— Договорились. — Он улыбнулся.

Когда он разжал второй кулак, в нем оказался такой же орех, но в синей глазури. Лейтенант подмигнул и шепнул мне:

— Маме не говори.

Из гостиной донесся голос матери:

— Не балуй ребенка!

В Силхете мы жили в белом доме со множеством комнат. Снаружи вокруг всего дома тянулись веранды, похожие на палубы корабля, и я носилась по ним, раскинув руки, словно крылья. По утрам слуги опускали соломенные жалюзи, и мы жили в прохладе и полумраке. Эти жалюзи смачивали водой, и дом пропитывал травяной дух. А когда капли попадали на доски веранды, они пузырились, шипели и поднимались крошечными облачками пара.

Вместо Брайди у нас появилась *айя* — служанка-туземка — по имени Сита. Глаза у нее были карие, как у Брайди, но если у Брайди в глазах золотились янтарные крапинки, то у Ситы крапины были черные как уголь. Подобно Брайди, Сита явилась к нам с гор и тоже тосковала по семье. Ее белое сари было украшено пурпурной каймой, а черные волосы смазаны маслом. У нее было больше золотых украшений, чем у моей матери, и она носила их все сразу. Даже один зуб во рту был золотой. Как и Брайди, она рассказывала мне множество историй, только в них река и море были не грозны и опасны, а священные и добры к людям.

У меня была собственная большая белая комната. Кровать располагалась посередине, словно плот, уплывающий в море. По бокам у нее были опускающиеся деревянные перильца, а наверху — белая ткань, точно паруса. Каждая ножка стояла в миске с водой. В головах и в ногах по белому дереву были вырезаны розы, птицы и красивые завитки.

— На такой кровати и принцессе спать не стыдно, — сказала мать.

Вечером, когда я укладывалась в постель, Сита наливала в миски воду, чтобы всякие насекомые не забрались на кровать по ножкам. Когда она поднимала деревянные перильца и опускала сверху ткань, я оказывалась в коконе, точно гусеница шелкопряда. Уходя, она уносила с собой лампу. В темноте по полу торопливо семенили чьи-то лапки. Я дергала перильца, но выбраться не могла. По стенам бегали ящерицы. Я звала, чтобы кто-нибудь пришел, но никто не слышал. Служанки спали все вместе в комнате с низким потолком в задней части дома.

Сита пахла цветами, кокосом и пряностями, ее темная кожа источала тепло. Порой она позволяла мне свернуться у нее под боком и уснуть. А мать обитала в прохладных белых комнатах, и я видела ее редко. По вечерам меня приводили к ней сказать «Доброй ночи», и она улыбалась слабой улыбкой. Она страшно уставала, даже просто глядя на меня. А Сита, когда готовила пряные соусы или заваривала чай для моей матери, одной рукой удерживала меня на весу, прижимая к бедру. Она расчесывала мне волосы и нарезала на кусочки манго, чтобы я их ела один за другим, не перемазавшись в соке.

Папа Крейги часто бывал в отъезде. Возвращаясь, он всегда привозил нам с мамой подарки. У нее уже появились причины меня стыдиться. Я была слишком смуглая, слишком тараторила, ни минуты не могла посидеть спокойно.

— Вот погляди на нее, — сказала она как-то раз. — Она похожа на индуску. Понять не могу, откуда это берется. У ее отца была светлая кожа и тонкая кость. А она такая темнокожая — точь-в-точь туземка.

Мой отчим молча посмотрел на нее. А в следующий раз из поездки привез мне зеленого попугая, и мы научили его говорить. Когда мать меня за что-нибудь бранила, попугай повторял: «Люби Лиз, люби Лиз», — а я угощала его зернышками.

В самое жаркое время после полудня, когда все спали, мир принадлежал мне одной. Мама не велела выпускать меня из дома — она не желала, чтобы я загорела на солнце и стала еще смуглее, — однако в это время спала даже Сита, и я могла заниматься чем душе

удовно. В полном одиночестве я бродила и заглядывала во все двери. Однажды я наткнулась на даму, которая спала на постели, а в углу прикорнул сонный мальчик, чья работа была приводить в действие подвешенные под потолком опахала. Их белые полотнища должны были гонять в комнате воздух. Когда я увидела, что мальчишка смотрит на меня с завистью, я показала ему язык и убежала. Впрочем, я не знала, куда податься, и чувствовала себя одинокой и заброшенной.

За оградой нашего дома стояли солдатские казармы, а дальше жили индийцы. Дорога там становилась уже, некоторые дома были из глины. Однажды, помню, я кралась от угла к углу, осторожно выглядывая и затем продвигаясь вперед и вперед. В одном из домов стояла индуска, прислонившись плечом к краю дверного проема. Еще две женщины лениво танцевали — сами для себя, чтобы убить время. К дому приблизился солдат, и спины их напряглись, бедра усиленно закачались. Мне прежде не доводилось видеть, чтобы туземка прямо поглядела на белого человека, а тот смутился бы под этим взглядом.

Затем мимо прошел еще один солдат, за которым бежал маленький мальчишка и дергал за камзол.

— Солдат хочет *дерг-дерг*, хочет *дерг-дерг*? — спрашивал он.

Солдат оттолкнул мальчишку, затем бросил кругом вороватый взгляд. Он не видел, что я тоже украдкой за ним наблюдаю, и думал, будто на этой пыльной улице он — единственный белый. Он проскользнул в дверь, а женщина в красно-золотом сари прошла следом.

Мальчишка махнул мне — дескать, пойдем и мы; я потрясла головой. Мне не разрешали играть с местными детьми. До того дня я и подумать не могла, что белый человек зайдет в дом к туземцам. Однако мальчишка настойчиво потащил меня за рукав, и я не сопротивлялась. Мы неслышно прокрались по мрачному коридору и заглянули в полутемную комнату.

Солдат лежал голый на постели, а женщина стояла на коленях между его раздвинутыми ногами. Она делала руками движения, словно доила козу или дергала сорняки. Ее сброшенное сари лежало под ними, как красно-золотое озерцо. Потом женщина села на солдата верхом, но не стала играть «в лошадку», а начала раскачиваться в каком-то странном танце. Солдат не попытался ее сбросить, лишь вздохнул. Его белая кожа блестела; ее темная кожа как будто светила в полутьме. Женщина вглядывалась ему в лицо, словно пытаясь прочесть его мысли. Солдат вздрогнул всем телом, вскинул руки, прикрыл ими лицо.

— Ты видишь *дерг-дерг*, — взволнованно зашептал мальчишка. — Это *дерг-дерг*.

Я побежала прочь. Он помчался за мной, но я оттолкнула его и бежала, пока не начала задыхаться. В джунглях я увидела цветы с влажными красными язычками и буйные ослепительные орхидеи в развилках деревьев. Наверху оглушительно вопили и смеялись обезьяны.

День я в основном проводила с Ситой. Куда она, туда и я. К буфету, от буфета, вверх-вниз по лестнице. На кухне она учила меня танцевать. Ее руки порхали, как птицы, и я пыталась подражать. В новолуние Сита нарисовала себе на лбу тикку^[5], и я захотела такую же. Сита сказала, что это будет мой третий глаз, и я теперь стану мудрой. Она вермильоном нарисовала мне тикку, но когда это увидела мать, она крепко мне поддала.

— Гадкая девчонка! Отправляйся к себе.

В своей комнате я зажмурилась и коснулась лба, представляя, как моя новая мудрость течет от кончиков пальцев рук вниз, до самых ног.

Когда я танцевала с Ситой, она смеялась, потому что у меня не получалось, как у нее. Порой мы были птицами, в другой раз — деревьями, что качаются на ветру. На запястьях и лодыжках Сита носила браслеты с малюсенькими колокольчиками; когда она двигалась, колокольцы позванивали, точно прохладная чистая вода, струящаяся среди камней. Руки Ситы могли превращаться в павлина, распускающего хвост, в витую раковину, в летящего орла, в раскрывающийся цветок лотоса. Я очень старалась делать все, как она, но мои олени спотыкались, а маленькие рыбки тонули.

Однажды Сита сказала, что некоторые танцы созданы для любви, но я толком не поняла, о чем речь.

— Вот так, — объясняла она, показывая, как размалывать специи. — Любовь — это когда одно превращается в другое.

Ее ступка и пестик были из гладкого, хорошо отполированного камня. Любовь, по ее словам, — это когда соединяются две разные, но связанные друг с другом вещи.

Когда Сита от меня уставала, она совала мне в рот комок смешанных с известью листьев бетеля, и я укладывалась и дремала. В зеркале потом я видела, что губы и язык стали ярко-красными. Я показывала язык Сите, и она улыбалась.

— Ты похожа на Кали^[6], — говорила она.

Мать казалась мне недостижимой королевой. Наш сад был ее непокорным королевством, и я приходила искать ее среди стремительно растущих побегов и быстро увядающих роз. Ранним утром она бесконечно обрезала, подрезала, подстригала.

— Это надо подрезать и тут обрезать тоже, — приказывала она садовнику, но, сколько бы они ни щелкали ножницами, все растения буйно цвели и разрастались.

Цветы бугенвиллеи висели яркими водопадами; толстые лианы извивались на земле, подбирались к розам и душили их. Желтые лилии были размером с полковую трубу, алые цветы гибискуса — с мое лицо. Когда я однажды сунулась в лилии носом, пыльца щедро осыпала мне щеки.

Увидев вдалеке мать, я помчалась к ней, с разгону обняла за ноги, ткнувшись лицом в юбки. Она стряхнула меня, точно паутину.

— Ну-ну, детка, — проговорила она с застывшей на губах тусклой улыбкой.

Удерживая меня на расстоянии вытянутой руки, она осмотрела юбки. На бледно-зеленом шелке осталась оранжевая пыльца.

— Айя, она грязная, — сказала мать. — Уведите ее.

Я не хотела уходить, цеплялась за юбки. Мама разжала мои пальцы быстро и ловко, как достают моллюсков из раковин или лущат горох.

Сита воспринимала меня как нечто драгоценное и в то же время совершенно обычное. Когда она стирала белье, заодно мыла и меня.

— Священная вода очистит твою душу, — говорила моя айя и при этом терла меня с такой силой, словно я была кулем старой грязной одежды.

Если я перед тем вела себя скверно, Сита по нескольку раз окунала меня в воду с головой.

— Это тебе на пользу, — уверяла она с мрачноватой усмешкой.

Хотя вода жгла в носу и заливала горло, я изо всех сил старалась не обижаться.

Больше всего я любила смотреть, как мама собирается на прием или бал. Она смазывала лицо кремом, затем пудрилась, а у пудры был запах роз. Мама румянила щеки, подкрашивала губы. Сидя перед зеркалом, она напоминала мне Ситу, когда та молилась в храме: обе были одинаково сосредоточенны. Мама пудрила кожу между грудей и взбивала их, как подушки. Когда она меня целовала на прощание, губы не касались щеки, а чмокали в воздухе рядом. А мне отчаянно хотелось прижаться головой к ее теплой груди, ощутить, как она подымается и опускается от дыхания.

Я любила мать, как Брайди любила статую Девы Марии, а Сита — изображение Шивы в храме. Для меня она была столь же далека и прекрасна. По большей части я довольствовалась тем, что просто на нее смотрела. И приносила ей дары, как божеству: миндальное печенье, кокос или венок из ярко-желтых цветов.

Когда мне исполнилось шесть лет, мать завела речь о том, что, если я буду себя хорошо вести, смогу вернуться в Англию. А мне думалось, что она просто-напросто желает отослать меня прочь. Единственное отчетливое воспоминание, которое у меня сохранилось об Англии, — это чувство, что все видимое мне уменьшается и усыхает. Я думала о тамошних серых людях, серых домах, сером небе, о дверях, которые закрываются, о маленьких комнатках. Когда о моем отъезде заговорил отчим, я не знала, что делать.

— Ты сможешь там стать настоящей леди, — уверял он меня, — сможешь изучать латынь и греческий.

— А попугайчик Полли тоже поедет? — спросила я. — А кто-нибудь научит меня стрелять?

Однажды утром меня разбудила не Сита, как всегда бывало, а мать. Я искала Ситу повсюду, но не нашла. Угол в комнате для слуг, где она обычно спала, оказался пуст; корзина, в которой Сита хранила свою одежду, исчезла.

— Где Сита, где она? — спрашивала я — сначала тихо, потом все громче, затем принялась кричать.

— Детка, не глупи, — сказала мама. — Сита вернулась в деревню смотреть за собственными детьми. Думаешь, ей больше нечего делать, кроме как возиться с тобой?

Говоря это, мать вытаскивала из шкафа мою одежду и укладывала в большой чемодан.

— Корабль в Англию отплывает через две недели. И вообще, мы с твоим отчимом отсюда переезжаем.

Глава 4

Температура падала, проходил месяц за месяцем, расстояние между мной и Индией увеличивалось, и сердце у меня начало стынуть, замерзать, съеживаться. Оно поскрипывало в груди, затем пошло трещинами, а потом разбилось.

За окном дорожной кареты стаи диких гусей летели по низко нависшему, неприветливому небу. Далекие горы то и дело пропадали из виду за серыми потоками дождя. Кончик носа, пальцы рук и ног у меня заледенели, кожа от холода сморщилась. К лацкану пальто был пришит ярлычок, где значилось мое имя — Элиза Гилберт, возраст — семь лет, пункт назначения — Шотландия, Монтроз, настоятель кафедрального собора Крейги.

За стеклом огромное мокрое небо постоянно менялось. Порой я вообще не видела, что

там снаружи. Передергиваясь от холода, я подтягивала колени к груди, чтобы стало хоть чуточку теплее.

— А что сейчас? — спрашивала я у пожилого джентльмена, который ехал в карете вместе со мной.

— Дождь, ливень, мелкий дождик, — терпеливо называл он.

— А теперь что?

— Водяная пыль, туманная дымка, густой туман, морось.

Он знал, как сказать про капли влаги, собравшиеся на металле, про дождевые капли, мокрые хлопья снега; он знал, что как называется.

— А сегодня, — объявил он холодным сырым утром, когда мы прибыли в Арброс, — у нас ясный сухой день. — «Ясный» и «сухой» он выговорил с нарочитым шотландским акцентом.

Прощаясь, он коснулся шляпы, а я в ответ серьезно поклонилась.

— Бедный ребенок, — пробормотал он, выйдя из кареты.

— Да уж, — откликнулся возница. — Ее всю дорогу передают с рук на руки, как пакет.

Шотландия была прохладной синевато-серой, сырой туманно-коричневой, студено-синей. В своей новой унылой одежде я сливалась с окружающим пейзажем. Одежда, которую мать упаковала мне в чемодан, здесь не пригодилась. В Лондоне сестра моего отчима миссис Ри поахла над легкими платьями из яркого шелка — алыми, оранжевыми, синими — и быстро нашла им замену. Теперь на мне были грубое платье из колючего серого твида, нижняя сорочка, чулки, связанные из небеленой овечьей шерсти, и тяжелое пальто скучного сизого цвета. Платье натирало шею, чулки терли ноги. Я вертелась на сиденье, почесывала колени. Чуть только переставало чесаться в одном месте, начинало зудеть в другом.

Чем дальше на север мы ехали, тем холоднее становилось. На каждой остановке я натягивала на себя новую одежду — грубую, колючую. Когда мы доехали до Арброса, на мне было три пары чулок, две пары перчаток, пальто, наушники и две шерстяные шали. Никогда в жизни я так не мерзла и не чувствовала себя столь несчастной.

Когда экипаж миновал местечко Ангус-Гленс, резко запахло тухлой рыбой. Возница склонился к окошку и широко усмехнулся.

— Вот вам Бэзин, вот Монтроз — закройте уши, заткните нос, — пропел он сквозь стекло.

Меня высадили на Харбор-роуд. Мой чемодан стоял на панели, я потерянно топталась рядышком. За дорогой тянулось огромное мрачное болото — сплошь жидкая грязь с поблескивающей кое-где водой. Над головой пронзительно кричали огромные белые чайки с кривыми клювами. Запах коптящейся трески смешивался с вонью тухлятины. За кормой кораблей черноголовые птицы сражались за выброшенные рыбы внутренности, хвосты и плавники. С неба, по которому неслись тяжелые дождевые тучи, опускались, совершая большие круги, сотни гусей с розовыми лапами. Дохлая рыба была всюду, куда ни посмотри. Я закрыла глаза, рот, нос, прижала ладони к ушам. Повернулась на месте — раз, два, три.

Хочу вернуться домой.

Хочу вернуться домой.

Хочу вернуться домой.

И тут меня похлопали по плечу. Открыв глаза, я увидела склонившегося надо мной высоченного человека с серыми глазами и тонким синеватым носом.

— Ну, мисс Гилберт, — сказал он, — добро пожаловать в Монтроз, ваш новый дом.

— Здравствуйте, — ответила я с легким поклоном. — Сегодня у нас ясный сухой день, не правда ли? — «Ясный» и «сухой» я выговорила с шотландским акцентом, как тот пожилой джентльмен, который учил меня, как называется дождь и туман.

Настоятель собора Крейги был худой и высокий, жил он в высоком тесном доме на Хай-стрит со своей высокой сухопарой женой и пятью долговязыми детьми. Четверо остальных, включая моего отчима уже выросли и разъехались из семьи. Улица где стоял дом, одним концом выходила к морю, и порой на горизонте показывался корабль под парусами. На другом конце Хай-стрит высилась колокольня, которая отбрасывала длинную тень. Увидев эту колокольню в первый раз, я долго-долго скользила по ней взглядом снизу вверх, пока не обнаружила на самом верху закрытое ставнями и металлической решеткой оконце.

В доме настоятеля было мрачно и тихо. В коридоре тикали часы, которые отбивали четверти часа, а каждый час внутри у них трижды звонил маленький колокольчик. Женщина, которая нас встретила, не ходила — кралась, а разговаривала шепотом. Обращаясь ко мне, она не отводила глаз от мужа.

С остальным семейством я познакомилась, когда пришло время пить чай. Дети были построены в столовой, строго по росту.

— Вот, — сказал настоятель Крейги, — твоя новая семья.

Тут было двое мальчиков и три девочки, все намного старше меня.

— Здравствуй, здравствуй, здравствуй, — повторяла я, переходя от одного к другому.

В конце стояла Шарлотта, младшая, двенадцати лет от роду.

— Ну и странно же она говорит, — заметила Шарлотта, имея в виду меня.

— Ни слова не разберу, — добавил один из братьев.

— Я вас тоже не понимаю, — огрызнулась я.

— Мы займемся ее выговором позже, — обещал настоятель Крейги.

— Детка, отдай мне шаль и перчатки, — сказала его жена.

Я потрясла головой и плотнее завернулась в шаль.

— Снимай! — велел настоятель.

Я снова потрясла головой.

— Хотя бы перчаткиними, — частично уступил он.

Настоятель Крейги вознес молитву, и мы приступили к трапезе. Ели в полном молчании, только вилки стучали о тарелки. Когда у меня за спиной служанка поставила миску, я аж подпрыгнула. Еще плотнее завернулась в шаль, как будто она могла защитить. Поглядела: все мои двоюродные братья и сестры не поднимали глаз от тарелок.

Я спала в комнате Шарлотты, на узенькой кровати в углу. Шарлотта первым делом дала мне ясно понять, что это — ее комната, ее дом и ее родители. В ту ночь я лежала без сна, слушая, как она сопит и похрапывает. Порой она во сне что-то шептала и без конца ворочалась.

Я называю ее двоюродной сестрой, хотя на самом деле она мне приходилась теткой. Шарлотта была младшей сестрой моего отчима; в сущности, она была уже почти совсем взрослая.

— Маленькая мисс Никто, — называла она меня. — Кто ты, по-твоему?

На следующее утро, после завтрака, миссис Крейги усадила меня в кухне. Когда она подошла с огромными ножницами в руках, я завизжала в испуге.

— Тихо, детка, тихо! — Она ухватила меня за волосы. — Я тебе не сделаю больно. Чуть-чуть подстригу — вот и все.

Волосы у меня были густые и черные, как у Ситы. Их прежде никогда в жизни не подстригали. Они были такие длинные, что, запрокинув голову назад, я могла на них сидеть. Сита, когда смазывала маслом свои волосы, смазывала заодно и мои; я лежала головой у нее на коленях, а она плавными движениями втирала масло от макушки до самых кончиков.

Я не хотела стричься и отчаянно боролась. Миссис Крейги закатила мне такую оплеуху, что я чуть не свалилась со стула. В конце концов она велела служанке меня держать, а сама защелкала ножницами, отхватывая прядь за прядью.

Мои темные локоны падали на пол, а по щекам катились слезы. Когда миссис Крейги закончила, шее стало холодно.

— Ну вот, — подвела она итог, — теперь ты выглядишь, как положено маленькой девочке.

Она подвела меня к зеркалу, и я себя не узнала. Короткие волосы не доставали до плеч, а над красными мокрыми глазами теперь была тяжелая темная челка. Миссис Крейги превратила меня в воспитанницу приюта, в девочку из работного дома — в существо, которое должно быть за все благодарно и поступать, как велено.

В Монтрозе каждый день был точной копией предыдущего. С утра мы умывались ледяной водой, потом завтракали пересоленной кашей и жидким чаем. Затем изучали математику и читали Библию, а после полудня гуляли и зубрили латынь. Кроме того, настоятель Крейги непрерывно пытался сгладить мой непривычный выговор, извести нездешнюю напевность моей речи.

— Порядок выправляет природную непоседливость ребенка, — провозглашал он.

Учение было мне внове. Оно подразумевало дисциплину, деревянные линейки, необходимость запомнить незнакомые слова, даты, числа. Когда настоятель рассказывал мне историю, у меня язык чесался тоже что-нибудь рассказать. Услышав, как Бог создал мир за семь дней, я тут же поведала, как Шива создал реку: ручейки пота потекли с его тела по склонам холмов и превратились в прекрасную женщину. Я только-только собралась рассказать, как эта прекрасная женщина-река вышла замуж за океан, Повелителя Рек, но тут Крейги повел меня в кухню и заставил вымыть рот с мылом.

— Ах ты маленькая язычница! — сказал он. — Твой отчим отослал тебя назад очень вовремя.

— Что такое «язычница»? — поинтересовалась я, но вместо ответа он так стиснул мне руку, что стало больно.

— Повторяй за мной: мое дело — не спрашивать, а повиноваться. Повторяй: я должна слушать, а не говорить. Повторяй: есть только один Бог, великий и всемогущий.

Я подчинилась — выбора у меня не было; однако в то же время думала о Сите. Если Бог

только один, то у него, конечно же, множество имен и обличий.

В Монтрозе даже прогулки считались частью распорядка дня и жестко регулировались дисциплиной. Каждый день мы ходили в парк или шагали в окрестностях города по какому-нибудь проселку.

— Это ваш ежедневный моцион, — внушал настоятель Крейги.

Он проводил нам смотры, словно мы были его маленькой армией, и составлял списки правил.

Не слоняться без дела.

Не шептаться.

Никаких секретов.

«Солдаты Иисуса Христа», — так он нас называл, заставляя шагать в ногу, махать руками и глубоко дышать.

Мой отчим регулярно писал из Индии письма; он даже передавал приветы от попугая: «Полли без тебя скучает. Полли грустит». Стоило мне увидеть конверт с индийской маркой и моим именем, как сердце, ставшее уже тяжелым, точно камень, начинало трепетать и биться — как будто просыпались спавшие бабочки. Я поспешно прятала письмо в карман фартука, дожидаясь, когда смогу побыть одна.

В гостиной я забиралась на кресло у окна. Задернув шторы, я оказывалась в своем собственном крошечном мирке, где меня никто не видел. Известно ли вам, что в конверте может прийти жара? Что из открытого конверта может пахнуть пряностями и цветами? Что несколько коротких строк могут явить перед глазами Полли и Ситу, а еще — мать, такую красивую, далекую, в глубине заросшего сада?

Укрывшись за шторами, я слышала, как меня ищут и зовут — сперва миссис Крейги, потом Шарлотта. Подтянув повыше колени, я снова перечитывала письмо.

Отчим писал: «Сита прислала бы печенья, если б могла, но ей пришлось вернуться к себе домой. Постарайся понять: ее с нами больше нет». Редкие письма от матери были сдержанные и ясные. «Будь хорошей девочкой, спокойной, чистоплотной, прилежной». Я отправляла папе Крейги свои рисунки, чтобы Сита могла увидеть, какая она — Шотландия. Было очень обидно, что он не может положить Индию в коробочку и прислать ее мне.

Здесь не только каждый день был тщательно расписан, но и вся неделя тоже. В субботу вечером миссис Крейги грела воду в кастрюлях, и все семейство мылось, соблюдая очередь. Как самая младшая, я вечно оказывалась последней. К тому времени, когда подходила моя очередь, на поверхности воды уже плавала грязная пена.

— Почему всем достается чистая горячая вода, а мне — никогда? — однажды спросила я.

— Ну уж, ну уж! — ответила миссис Крейги. — Какой же испорченный ребенок! Мала еще рассуждать. Жаль, что язык тебе нельзя подрезать, как волосы.

Я примолкла, стиснула зубы, чтобы язык не показался наружу; он лежал во рту такой толстый, теплый. Миссис Крейги терла меня, пока кожа не становилась красной, и полоскала волосы в холодной воде, пока они не начинали скрипеть.

Спустя неделю такой жизни я начала ходить во сне. Трижды миссис Крейги заставляла меня, когда я танцевала среди ночи, раскачиваясь и трепеща кистями рук, изображая цветы

или бабочек. Во сне я снова была на кухне с Ситой, и мы танцевали вдвоем. А однажды меня нашли голую на улице — и я опять танцевала. После этого на кровать мне приделали деревянные решетки, а миссис Крейги начала мне перед сном связывать широкой лентой запястья и лодыжки.

— Что ты такое делала? — полубопытствовала Шарлотта.

На следующий день я попыталась учить ее танцевать, но у нее были огромные и неуклюжие ноги.

— Нет, не так! — кричала я. — Ты должна быть изящной. Должна стать как вода, нужно научиться течь.

Из-за этих танцев дедушка Крейги впервые меня выпорол. Он это называл дисциплиной. Мне еще не исполнилось восьми лет; если выпрямиться во весь рост, взгляд мой как раз упирался в часы, что лежали в кармашке его жилета. Ухватив за шиворот, он отвел меня в свой кабинет. Когда он заставил меня задрать юбки и наклониться, я ощутила себя голой и незащищенной. Кожу пощипывало от холода; удар тростью обжег, словно горящая головня.

— Унижение очищает душу, — объявил он.

Несколько дней я не могла сидеть. Рубцы виднелись еще почти месяц. В следующие две субботы миссис Крейги кипятила для меня отдельную кастрюлю воды.

После этого первого раза настоятель регулярно преподавал мне уроки дисциплины. Ударив несколько раз, он останавливался, расстегивал воротничок. А закончив, вытирал капельки пота с верхней губы.

Я бесконечно простужалась, без конца шмыгала носом и чихала. Я сильно похудела, а нос у меня все время был синий. Я неохотно ковырялась в тарелке с вареной ветчиной и капустой или с манной кашей и отчаянно тосковала по рису, сочному манго или ананасу. Ах, как мне не хватало моей роскошной Индии с ее великолепной непроходящей жарой! А еще я скучала по своей красивой постели с вырезанными на спинках розами и птицами. Скучала даже по мискам воды под ножками кровати и шелесту ящериц, бегающих по стенам. Порой, тихими вечерами, я вытаскивала из-под кровати чемодан и надевала все свои индийские платья разом. В этих алых, оранжевых и ярко-голубых тканях я танцевала по комнате.

Угрюмая Шарлотта сидела на кровати и притворялась, будто читает. Я кружилась и кружилась, рассказывая, какая у меня была кровать, преувеличивая и приукрашивая ее, одевая в алое и золотое.

— То была кровать, в которой не стыдно спать принцессе, — вздыхала я.

— Ну, ты больше не в Индии, — недовольно фыркала Шарлотта. — Если ты такая особенная, чего же тебя отослали?

Не отвечая на колкости, я продолжала кружиться. Когда она пожаловалась матери, что я хвастаюсь, мой чемодан забрали, и своих индийских платьев я больше не видела.

Однако чем усерднее семейство Крейги пыталось растоптать мои фантазии, тем упорнее я фантазировала. Эта воображаемая жизнь стала местом, где можно укрыться, где можно побыть кем-то другим. Одну неделю я была индийской принцессой в изгнании, другую — бабочкой на залитом солнцем листе, на котором я бездельничала, дремала и грела крылышки.

Прожив в Шотландии несколько месяцев, я начала создавать в мыслях более теплое и красочное место. Монтроз — это лишь остановка в пути, говорила я себе. А на самом деле

меня ждет нечто другое — лучше, ярче. И я уже жила в этом будущем — в месте, которое я просто еще не нашла. Жизнь представлялась чем-то, что еще только будет, а не тем, что есть здесь и сейчас.

— Ничего хорошего из тебя не выйдет, девочка моя, пока ты не научишься быть леди, — говорил настоятель Крейги.

Но что такое «леди», помимо хороших манер и скромного платья? Настоятель и его жена пытались изменить мою внешность и поведение, но им не было равно никакого дела до моих мыслей. Когда отчим прислал мне дневник, переплетенный в бирюзовый шелк с золотым шитьем, я начала записывать туда свои сокровенные мысли.

Тихими вечерами я порой сидела у окна спальни, глядя на гавань, на приходящие и уплывающие рыбацьи лодки. На другом конце улицы крошечное окошко под крышей колокольни вечно оставалось закрытым. В дневнике я писала о бедной маленькой девочке, похожей на меня, которую заперли там внутри. Она каждый день тайком пилила замок ножом, и однажды замок развалился надвое у нее в руках. Распахнув ставни, она не задумываясь выпрыгнула из оконца. Девочка стремительно летела вниз, навстречу неминуемой смерти на булыжной мостовой. Но вдруг, за мгновение до того, как ей распластаться на холодных неумолимых камнях, в луже крови, у нее вдруг выросли прекрасные снежно-белые крылья. В моем рассказе девочка улетела далеко-далеко, и в Шотландии ее больше никогда не видели.

Я появилась в Монтрозе в ноябре, одновременно со стаями диких гусей. Я помню, что они прямо-таки кишели в небе. Возможно, для дикого гуся, привыкшего к арктической тундре, Шотландия была гостеприимной землей, куда стоило прилетать, мне же она казалась холодной и неприветливой. Четыре года я наблюдала, как поздней осенью птицы прилетают; затем дожидалась весны и смотрела, как стаи тянутся обратно на север. Быть может, есть и люди, подобные диким гусям, которым требуется постоянно перебираться с места на место.

Когда мне исполнилось одиннадцать лет, семейство Крейги отослало меня к тетке, миссис Ри. Она в свою очередь должна была позаботиться о моем образовании. Уезжая с Хай-стрит, я дала себе зарок; в жизни ноги моей в Шотландии больше не будет.

Сцена вторая

Хлопчатобумажная ткань в цветочек

Глава 5

Вот, к примеру, душистый цветок на тонком стебельке, с нежными листочками. Если разрыть землю, можно обнаружить тонкие корешки, луковицу, клубень или корявую скорлупу. Семечко могло принести ветром, а могла над этим местом капнуть птица. А может быть, его втоптал в землю башмак старика или же вынула из пакетика с картинкой золотоволосая девочка.

Мне было одиннадцать лет, когда я уехала из Монтроза. Тетушка миссис Ри встретила меня с одного дилижанса и помахала вслед другому, увозившему меня дальше. Кем я была тогда? Что я знала? Я была девочкой с приютской стрижкой, в бесформенной одежде с чужого плеча, и яркими мечтами, которые нужно было держать в тайне от всех. Единственное, что я знала точно, — детство мое кончается.

Когда Шотландия скрылась вдали и горы на горизонте сменились перекатывающимися, как огромные плоские волны, зелеными полями, я внимательно осмотрела унылое нутро экипажа. Темная кожаная обивка потерлась и залоснилась, кое-где крошилась по швам. На полке у меня над головой лежал старый чемодан с уже выцветшими наклейками из Индии и Шотландии, а одна была совершенно новая — «Школа для молодых девиц, Кэмден-плейс, Бат». Под крышкой, завернутые в пергаментную бумагу и перевязанные красной лентой, лежали письма от папы Крейги. Мой тайный дневник был завернут в старую сорочку и спрятан на дне чемодана.

Вытянувшись на сиденье, я закрыла глаза и представила, будто я по-прежнему в Индии, а лицо овеивает теплый ветерок. Меня несут в паланкине четверо индусов; они споро шагают по тропе в джунглях, на ходу напевая веселую песенку. Стараясь попасть в ритм с колесами экипажа, я нараспев проговорила особые слова, которые можно было считать заклинанием:

Когда я стану взрослой,
Я буду путешествовать
Без остановки.
Я буду жить в шатре,
А не в обычном доме.
Я отращу длинные волосы —
До самой земли.

Я тихонько улыбнулась, вытащив из кармана уголок яркого шелкового платка. Когда миссис Крейги выбросила мои индийские платья, мне удалось спрятать несколько лоскутков и спасти их от старьевщика. Я аккуратно сложила эти лоскутки, подрубила их и затем сшила, и получился большой платок шафранного и переливчато-синего цветов. Стоило мне его встряхнуть, как в воздухе начинали мерцать и переливаться цвета Индии. Это был мой флаг, моя бальная шаль, мой волшебный ковер, на котором я могла улететь, куда захочу.

Настал уже поздний вечер, когда мы прибыли в Бат. В свете газовых фонарей аккуратные газоны сияли, как зеленовато-желтые озерца. Я еще никогда не видела таких изящных, пустынных улиц. Экипаж начал подниматься вверх по склону холма. На его вершине возница остановил лошадей у четырехэтажного дома.

Первое, что бросилось в глаза, — каменный слон над дверью. Все-таки, что ни говори, в жизни одно связано с другим. Я ездила на слонах, будучи еще совсем крохой. Этот слон был невелик, и ноги у него были жидковатые и какие-то неправильные, но, с другой стороны, Индия ведь была ужасно далеко.

Школа для молодых девиц была крайним зданием из тех, что стояли на площади широким полукругом. Все они были выстроены в великолепном классическом стиле. Центральная часть здания школы была украшена гербом с двумя стоящими на задних лапах львами по бокам и коринфскими пилястрами. Весь фасад был отделан камнем медового цвета. Я во все глаза разглядывала это великолепие, когда возница позвонил в колокольчик и навстречу из дверей вышли две женщины.

— Должно быть, это мисс Гилберт, — сказала одна.

— Добро пожаловать в нашу школу, — сказала другая.

— Я — мисс Олдридж, — представилась первая.

— Я тоже, — добавила вторая.

— Иными словами, — с некоторым раздражением пояснила первая, — мы обе зовемся мисс Олдридж, хотя я, конечно же, старшая. Это моя сестра, мисс Элизабет. Добро пожаловать в нашу школу.

Две мисс Олдридж кивнули друг дружке, а затем — мне, словно желая сказать: «Хотя бы в этом мы согласились». У обеих были острые личики и крошечные рты; сами они были хрупкие, с тонкими, песочного цвета волосами.

— Как прошло путешествие? — спросила мисс Олдридж.

— Надеюсь, чрезвычайно приятно, — подхватила мисс Элизабет.

— Дай ребенку ответить, — упрекнула ее сестра.

Когда они ввели меня в здание школы, обе мисс засыпали меня вопросами.

— Ты умеешь играть на фортепьяно?

— А петь?

— Танцевать кадрили?

Мы прошли вестибюль, и в глубине здания коридоры оказались узкими, а комнаты — вовсе не такими роскошными, как можно было подумать, глядя на школу снаружи. За ее классическим фасадом таился лабиринт унылых, скудно обставленных комнат. За чаем, который подали в крошечную гостиную, сестры Олдридж кратко описали, чему учат в их школе.

— Мы прививаем нашим воспитанницам качества юных леди, — объявила мисс Элизабет.

— Стараемся развить их ум, — добавила мисс Олдридж.

— Не чрезмерно.

— Конечно же, нет, — согласилась сестра.

Они обе залились румянцем, как будто сказали лишнее.

— И как твой французский? — поинтересовалась одна.

— *Et ton Français?* — поправила другая.

Старшая мисс Олдридж нахмурилась:

— Сестра, у нас тут не соревнование.

Мисс Элизабет скорчила обиженную мину, но тут же воспрянула духом:

— Умеешь ли ты вышивать гладью, елочкой, тамбуром? А ткать гобелены? Кружева?

Как насчет умения штопать и ставить заплатки?

Я не успела ответить, потому что вмешалась мисс Олдридж:

— Ну-ка, встань.

Я неохотно поднялась. Сестры по очереди обошли меня по кругу.

— Конечно, тут еще может выйти толк, — изрекла старшая, внимательно меня разглядывая.

Мисс Элизабет с выражением сомнения на лице положила ладони мне на талию. В сущности, талии не было — в свои неполных двенадцать лет телом я оставалась пухлая, как маленький ребенок.

— Может быть, еще не поздно.

— Ох, боже мой, — вздохнула вторая. — Я понимаю, о чем ты.

На следующее утро я «познакомилась» с первым в своей жизни корсетом. Он возлежал на скамье в бельевой — устрашающего вида сооружение из грубого полотна и китового уса, со вшитой спереди деревянной дощечкой.

— Не знаю, о чем они там думали, в Шотландии, — проговорила мисс Элизабет. — Тебе с восьми лет уже надо было носить корсет.

Когда измерили мою талию, мисс Олдридж и хозяйка бельевой пришли в смятение.

— А ведь ей всего-навсего одиннадцать! — воскликнула хозяйка — дородная краснолицая женщина лет под пятьдесят.

— Я тут, — напомнила я. — Я слышу каждое слово.

— Тише, детка! — осадила мисс Олдридж. — Она попала к нам очень вовремя: еще немного — и было бы поздно.

Хозяйка подняла мои руки вверх, а ее помощница надела на меня корсет. Я поглядела на него, затем на собственную талию.

— Корсет слишком маленький, нужен побольше, — объявила хозяйка с полной уверенностью. — Этот никак не подойдет.

Я держалась за дверь, а девушка упиралась ногой мне в спину и затягивала шнуровку. Ребра заныли. Вскоре я уже едва могла вздохнуть.

— Ту же, еще ту же! — командовала мисс Олдридж.

Косточки впивались в бока. Я зашмыгала носом, затем откровенно заплакала. Девушка рывками затягивала шнуровку. Каждые несколько минут мою новую талию измеряли. Дважды шнуровка лопалась, и приходилось брать новый корсет.

— Двадцать два.

— Двадцать.

— Восемнадцать.

Когда стало семнадцать дюймов, показалось, будто меня распилили надвое. При каждом вздохе ребра пронзала боль, словно они были сломаны. Я не могла ни нагнуться, ни сесть; я вообще едва могла шевельнуться и чувствовала себя полумертвой. Не обращая внимания на бегущие по моим щекам слезы, помощница хозяйки бельевой повернула меня к зеркалу. Обе женщины отступили в сторону, с гордостью улыбаясь.

Увидев свое отражение, я мигом вытерла слезы. Утрата семи дюймов сказала

чудесным образом: я приобрела новую, женскую, фигуру. Я ладонями измерила свою новую тонкую талию, затем повернулась раз, другой. Нижние юбки закружились в воздухе, я засияла от восторга. Вот с такими формами уже можно себе представить, какова жизнь настоящей леди.

Из бельевой я очень осторожно направилась назад в спальню. А там обнаружила свой собственный чемодан на постели, раскрытый, а мои унылые потрепанные вещички были раскиданы на одеяле. Хорошенькая темноволосая девочка подняла от них взгляд, когда я вошла в комнату. Ее волосы были уложены красивыми локонами, шелковое платье было нежного лимонного цвета.

— Милочка, — сказала она мне, — у тебя нет ни единой приличной тряпки.

Я открыла рот, собираясь поставить нахалку на место, но ребра под корсетом отозвались болью.

— Ох! — это все, на что я оказалась способна.

— Ты можешь звать меня Софией, если хочешь, — сообщила она, продолжая рыться в моей одежде.

— София, — ответила я холодно, — ты меня обяжешь, если оставишь мои личные вещи в покое.

София хихикнула.

— Ну и ну! Да не сердись же. Хочешь, я подарю тебе розовую бархатную ленту? Или отрез небесно-голубого тюля?

Я с великой осторожностью присела на край постели и принялась собирать раскиданную одежду.

София обиженно надула губы.

— Могу ли я иметь удовольствие узнать имя этой сердитки?

— Элиза Гилберт.

— Это имя для разумной и здравомыслящей девочки, — объявила она. — А ты разве такая? Что до меня, мне при рождении дали имя Сара. По поводу фамилии до сих пор идут споры. София — то есть мудрая — это титул, к которому я стремлюсь.

Я вытаращила на нее глаза, а она улыбнулась и принялась вместе со мной складывать мою серую разумную одежонку.

— Элиза, — повторила она. — А получше ничего не придумаешь?

Я уже сочинила с десятков возможных имен.

— Ты можешь быть кем захочешь, — прошептала София.

— Беттина? — предложила я.

Она покачала головой:

— Что Элиза, что Беттина — одинаково скучно.

Я перебрала еще несколько вариантов, пытаясь подобрать имя достаточно романтическое, либо экзотическое, либо мелодраматическое. И вдруг сообразила: да у меня же есть превосходное наименование — мое собственное, до сей поры не использовавшееся, второе имя.

— Розана, — постановила я. Раньше оно мне казалось слишком вычурным, прихотливым, но сейчас вдруг в один миг стало слишком простым, неинтересным. — Розана Мария, — добавила я торжественно.

София хлопнула в ладоши и улыбнулась.

— Ну вот видишь! Я с самого начала знала, что мы подружмся.

В школе было пятнадцать девочек от десяти до восемнадцати лет. Мисс Олдридж либо мисс Элизабет надзирали за всем, что мы делали. В спальнях нас было по семь или восемь человек в каждой. Наши уроки проходили в одной большой классной комнате.

По утрам одна группа занималась французским, другая заучивала изречения философов либо изучала гуманитарные науки, третья хором повторяла латынь, а четвертая писала сочинения по литературе. Стоило мне закрыть глаза, как мудрые изречения смешивались с латинскими глаголами, французские склонения — с правилами этикета или мифами Древней Греции.

Дневные занятия считались самыми важными. Старшая мисс Олдридж называла их «подготовкой к жизни», а любимым названием мисс Элизабет было «необходимые умения светской молодой леди». Мы учились танцевать и вышивать, ходить и говорить, изящно садиться и стоять. Мы играли на фортепьяно или рисовали чаши с фруктами, а мисс Элизабет нам торжественно повторяла свод волшебных правил:

— Молодая леди должна ходить ни слишком быстро, ни слишком медленно. Выражение лица должно быть скромным. Во время беседы нельзя слишком оживляться и говорить громко. Ни в коем случае нельзя бегать, хихикать или хмурить брови.

Где мисс Элизабет мечтательно вздыхала, там старшая сестра деловито сновала туда-сюда, шлепая ладонью по коленям, если кто вдруг скрестил ноги, или по сутулой спине.

— Осанку держать, осанку! — требовала она.

За окнами по площади тек нескончаемый поток красивых экипажей. Лишь мельком увидев людей внутри, мы с Софией придумывали целые романы. Однажды мы видели, как из сверкающей кареты буквально на руках выносили даму в кисейном платье абрикосового цвета, а встречающий ее молодой человек отвесил неторопливый насмешливый поклон. Мы представляли себе балы и тайные свидания, огромный, насыщенный событиями, кружащий голову мир, который однажды подхватит нас обеих и унесет из школы. Две мисс Олдридж являли собой суровое предостережение: такое же выйдет и из нас, если мы потерпим неудачу. Мы усердно трудились над тем, как скромно улыбаться. София учила меня падать в обморок, а я ее — танцевать менуэт.

— Не напрягайся, — повторяла я, — научись таять и течь водой.

Каждый день я по несколько часов честно носила свой корсет. Постепенно я научилась в нем ходить, затем садиться, а потом и вставать из кресла. Понемногу мне удалось научиться в нем кланяться и наконец — танцевать, не морщась и не стискивая зубы.

Единственным мужчиной в нашей школе был учитель латыни мистер Хамфри Квилл. Юный мистер Квилл, как называли его мисс Олдридж, был худощавый белокурый человек с бесцветными водянистыми глазами, к тому же заика. Заикаться он переставал, когда говорил о латыни или Бате времен римского владычества. Декламируя стихи, он размахивал руками, а на щеках проступал румянец. Порой он даже дрожал от волнения.

— А вот скажите, пожалуйста, мистер Квилл, — бывало, поддразнивала София, — в каких выражениях следует говорить о романтической привязанности?

— Латынь, — отвечал учитель, — это язык богов. Нет места лучше, чем Бат, город римлян, где можно изучать язык любви.

С мистером Квиллом мы отправились на свою первую большую экскурсию по городу. Мы шли по улицам парами, похожие на выводок болтливых утят, хором спрягая латинские глаголы. Мистер Квилл требовал спряжение глагола *regere*, а мы упорно переходили на *amare*.

Мистер Квилл вел нас, рассказывая наиболее поучительные истории про Бат, а мы продолжали спрягать глаголы в разных временах: будущее простое, прошедшее несовершенное, прошедшее совершенное, будущее совершенное. Когда добрались до форм давнопрошедшего времени, мы уже спустились с холма и шагали мимо знаменитого аббатства.

Потом мистер Квилл неохотно, уступая нашим просьбам, позволил пройти в бювет — зал для питья минеральной воды. За двустворчатой дверью оказался просторный зал с коринфскими колоннами и лепными фронтонами. Свет лился сквозь многочисленные овальные окна; откуда-то доносилась камерная музыка. Модно одетые дамы прогуливались под руку, господа сидели в креслах у столов, читая газеты. Выпрямившись во весь рост, я вздохнула, внезапно ощутив себя счастливой. София взвизгнула в восторге.

Мистер Квилл направился напрямик к насосу и быстро построил нас в очередь.

— Конечно, лишь католики и дикари верят в святую воду. Здесь вы пьете минеральную воду на совершенно научных основаниях. Полагаю, что особенно полезен содержащийся в ней магний.

Учитель превозносил благотворные свойства воды, а мы слушали и цедили ее из стаканов. Сквозь окно я углядела Королевскую ванную. Стены были выкрашены в терракотовый цвет, пенящаяся вода была молочно-зеленой. По ступенькам спускалась, опираясь на двух служанок, пожилая дородная дама; ее коричневый купальный костюм поднимался в воде колоколом. Позади нее кружил толстый, мрачного вида господин, и с каждым кругом лицо у него краснело все гуще.

Я дернула Софию за рукав; глядя на это зрелище, она хихикнула. Мистер Квилл пришел в смятение и попытался загородить от нас окно.

От перечисления свойств воды наш учитель быстро перешел к рассказу о древних римлянах. К тому времени, когда мы осушили стаканы до дна, он с пылом вещал:

— Прямо под этим залом находится храм богини Минервы.

Казалось, под цивилизованной поверхностью в Бате билось древнее языческое сердце. Там, где мы сейчас культурно цедили минеральную воду, когда-то в горячие бассейны погружались обнаженные римляне. Мистер Квилл рассказал, что в храме сидели писцы, которые записывали пожелания почтенных жителей Бата.

— Вообразите сотни таких пожеланий, — вздохнул он. — В них заворачивали монетки и кидали в воду, и они опускались на дно бассейна. Воздух был напоен благовониями, и запах сандалового дерева смешивался с клубами пара и дыма.

Бат, с его модными домами и оживленными улицами, начал казаться мне красивым задником какой-то изящной, возвышенной пьесы. Во время ежедневных прогулок нам удавалось лишь мельком увидеть крошечные отрывки из спектакля. Мне исполнилось тринадцать лет, затем четырнадцать; казалось, мы навечно останемся за кулисами. Наши учителя зорко следили за нами, словно от чужих взглядов мы могли заразиться какой-то болезнью или покрыться синяками. На Чип-стрит чумазные крикливые девчонки вроде бы

продавали цветы; когда появлялась полиция, они подхватывали свои рваные юбки и удирали со всех ног. А возле бювета торговала крошечными букетиками фиалок девчушка лет десяти с худым изможденным личиком, синим носом и слезящимися глазами. У нее лишь голос был мощный, не в пример чахлому тельцу. Если я смотрела на нее слишком долго, она высовывала язык. Однажды я видела, как ее поманил какой-то господин в сюртуке, и они вдвоем удалились в ближайший переулок.

В нашей школе дочери аристократов являлись естественной элитой. Ниже стояли дети членов парламента и нетитулованного мелкопоместного дворянства. Еще на ступень ниже располагались дочки крупных военачальников. Я же была всего лишь падчерицей капитана. С самого начала, как только я появилась в школе и мое скромное положение было выяснено, ко мне относились свысока, как к дальней родственнице из глухой деревни. Однако не прошло и года, как отчима повысили в звании, а моя способность к танцам была замечена и должным образом оценена. Мои акции выросли, откровенного пренебрежения стало меньше. По понятным причинам, я умолчала о своих ирландских корнях, но затем из Корка прибыла Амелия Сеймур, и с ней и новые проблемы.

Амелия была дочерью помещика и наивно полагала, что ее место — на самой верхушке нашей неофициальной лестницы. Она не только с ходу выложила все про свои собственные родственные связи, она к тому же знала про мои. И не поленилась поведать о них всем и каждому, отчего мое положение в школьном кругу мгновенно ухудшилось. С точки зрения остальных девочек, те, в чьих жилах текла смешанная англо-ирландская кровь, были не просто дальней родней, а такой, которой лучше бы не было вовсе. Защищаясь, я доказывала, что мы — не чистокровные ирландцы, которые говорят со своим ярким провинциальным акцентом, перебирают четки и к тому же заядлые драчуны. Амелия пускала в ход иной аргумент: дескать, она из семьи власть имущих, из правящей элиты. В течение нескольких дней она упрочила собственное шаткое положение тем, что топтала меня.

— Я слышала, что твоя мать была простой модисткой, — насмехалась она.

— Мой дед — сэр Чарльз Сильвер Оливер, — возражала я.

— Зато твоя бабка — шлюха! — хохотала Амелия.

К счастью, София осталась моей подругой. Моя милая София была незаконнорожденной дочерью герцога и, таким образом, была одновременно выше и ниже нас всех.

Мы с Софией давали друг другу обещания и заключали договоры. На клочках бумаги мы записывали свои желания в надежде, что они сбудутся. Затягивая корсеты все туже, мы молились о том, чтобы талии становились тоньше. Тем временем наши девчоночьи тела начали меняться — у Софии налилась грудь, потом и у меня тоже. В потайных местах выросли темные волосы, а хозяйка бельевого снабдила меня специальными подушечками из сложенного в несколько слоев полотна, набитого ватой и прошитого.

Мы с Софией перепробовали все новые модные фасоны и стили; я шила наряды из муслина, она — из шелка. Узнав, что в Париже дамы смачивают лиф платья, чтобы тонкая ткань облепляла грудь, мы сделали то же самое. Результат оказался печален — в мокром виде мы выглядели просто-напросто неопрятно. Вот уже исполнилось пятнадцать лет, потом шестнадцать — а мы все изучали правила этикета и латинскую грамматику, мечтая о балах, роскошных платьях и о безграничной любви.

Однажды во время прогулки я заметила парня, который стоял, ничего не делая, на углу. Он явно был из низов, с копной черных волос и наглым взглядом. Меня передернуло, когда я обратила внимание на его заскорузлые пальцы с грязными ногтями. Я глянула ему в лицо, ожидая, что он почтительно опустит глаза. Как бы не так — он смотрел прямо, а потом хищно усмехнулся. Когда мы проходили мимо, я прямо-таки кожей чувствовала его взгляд на своей открытой шее. В ту ночь я долго лежала без сна и думала о нем, взволнованная и смятенная.

Когда приблизилось мое шестнадцатилетие, вдруг начали приходить письма от матери. Написанные детским почерком, они были довольно-таки высокопарные и, по сравнению с теми редкими записочками, что она присылала раньше, весьма многословные. «Как ты поживаешь, дочка? — писала она. — Мы с огромным нетерпением ожидаем, когда ты вернешься домой». А отчим, чьи письма стали приходить реже и сделались менее личными и доверительными, стал обращаться ко мне «юная леди». Закрывая глаза, я пыталась мысленно представить лицо матери, но это оказалось почти невозможно: я как будто глядела сквозь воду или толстое кривое стекло, которое безнадежно искажало ее черты. В письмах мать называла меня «дорогая» и «милочка», и я пыталась отвечать тем же. Чувствуя, что она от меня чего-то хочет или ждет, я ломала голову: что же ей нужно?

Когда нам с Софией исполнилось шестнадцать, более старшие девочки начали одна за другой покидать школу. Обратно доходили вести о помолвках и свадьбах, и мы заволновались. Одно дело — мечтать о возлюбленном, и совсем другое — в действительности стать чьей-то женой. Мама начала писать о Калькутте и новых нарядах, которые мне понадобятся. Ее письма порой напоминали списки необходимых юной леди умений и танцевальных па. «Быть может, — спрашивала она, — ты готова войти в общество?» У меня сердце таяло в груди. Спустя все эти годы, похоже, мама наконец захотела, чтобы я снова жила с ней и майором Крейги. Представить только: я опять буду жить в семье! Закрывая глаза, я прямо-таки ощущала жар индийского солнца.

В конце октября я узнала, что мама приедет в Бат и сама заберет меня в Индию.

«Отплываю из Калькутты 2 ноября 1836 года. Прибуду в Бат, если будет на то воля Божья, к началу мая 1837-го. Мы чудесно проведем время — ты и я».

В изумлении я перечитала письмо.

— Подумать только: мама будет здесь, в Бате!

Когда я показала письмо Софии, она меня обняла.

— Я так за тебя рада! Твоя мать обо всем позаботится.

— А как же ты? — спросила я в тревоге.

— Обо мне не беспокойся, — ответила она беззаботно. — Мой первый выезд в свет, вероятно, состоится в Лондоне или Челтенхеме.

Услышав это, я вытаращила глаза.

— В самом деле?!

— Вот и договорились, — сказала София.

Несколько мгновений мы серьезно глядели друг на дружку, а потом нас обеих вдруг

затрясло от нервного смеха.

Хлопнув в ладоши, я церемонно поклонилась, словно кавалер на торжественном балу:

— Разрешите пригласить вас на танец?

София взмахнула юбками.

— Я буду думать о вас всякий раз, танцуя менуэт!

Мы пустились в пляс по спальне и танцевали до головокружения, пока не повалились на кровати. Вечером, когда погасили свет, мы с ней обменялись специально сшитыми платками. Тот, что я подарила Софии, был украшен нашими сплетенными инициалами; ее платок был с вышитым в углу слоником. Мы сидели в темноте, прижавшись друг к другу, и обещали писать письма, что бы с нами ни происходило.

Глава 6

Все утро я чутко прислушивалась. На протяжении предыдущих месяцев я тщательно отслеживала мамино путешествие на страницах географического атласа — из Бенгальского залива через Индийский океан, вокруг мыса Доброй Надежды. Я даже прочертила на карте ее путь из Грэйвсенда в Бат. София как раз закончила укладывать мне волосы, когда к дверям школы подъехал экипаж. Выглянув в окно, мы увидели красивую даму в пышном облаке розового шелка, которая поправляла шляпку и разглаживала платье. Сердце качнулось, будто маятник. «Мама!» — подумала я, представляя, как тепло она меня сейчас обнимет, как обрадуется. «Да, моя мама», — подумала я затем, припоминая мои оставшиеся без ответа письма и следы грязных пальцев на ее чистейшем подоле. В этот миг я поняла, что привыкла думать о ней как о существе, чрезвычайно от меня далеко, которого невозможно коснуться, а не как о человеке из плоти и крови.

— Она очень похожа на тебя, — заметила София.

— Ничего подобного! — отрезала я.

София удивленно приподняла бровь. Мы обе не ожидали такого моего ответа.

У той женщины были темные волосы, как у меня, и глаза. Но карие у нее глаза или синие? Усевшись к зеркалу, я вгляделась в свое отражение. Минуту назад я видела в зеркале утонченную молодую даму, но сейчас на меня смотрела глупенькая девочка со взрослой прической, которая смотрелась нелепо.

София все утро укладывала мне волосы по последней моде. От пробора спускались по бокам две широкие пряди, которые были подхвачены и подняты возле ушей наверх, а остальные волосы собраны в узел на затылке. Я взволнованно бросилась поправлять произведение моей подруги, но София остановила меня, улыбнувшись:

— Ты выглядишь совсем взрослой. Мать тебя просто не узнает.

На первом этаже дверь в гостиную была распахнута настежь; я так и ринулась туда — и с разгону столкнулась с матерью. В волнении обняв, я расцеловала ее в обе щеки. На миг приобняв меня, она тут же отстранилась.

Удерживая на расстоянии вытянутой руки, она окинула меня оценивающим взглядом.

— Моя дорогая детка, — проговорила она. — А что это ты сотворила с волосами?

Я не нашлась с ответом, но на выручку пришли обе мисс Олдридж, наперебой заговорили о путешествии, погоде и чашке чаю. На стол был выставлен чайный прибор тонкого фарфора и подано печенье. Пока сестры спорили, кому ухаживать за гостьей, мать

уселась и сняла шляпку.

К моему изумлению, ее прическа была точной копией моей, только в узел на затылке были вставлены розовые искусственные цветы!

Я оглядела ее критическим взглядом. Платье и шляпка были такие новые — прямо-таки скрипели. Ткани на платье пошло просто уйма, с этими широченными, суживающимися книзу рукавами и гофрированным воротом. Туфли со шляпкой и те были сделаны из того же розового шелка. А глаза у нее карие, заметила я, не синие.

«Если я для тебя недостаточно хороша, — подумала я, — то и ты мне не годишься».

— Путешествие было просто ужасно, — сказала она. — Вы себе даже представить не можете. Но зато мы хотя бы здесь позволим себе немного развлечься, прежде чем вернуться в Индию. Я сняла очаровательный номер в гостинице. Один из лучших.

Старшая мисс Олдридж кашлянула.

— Сейчас только май, миссис Крейги. А учебный год заканчивается в июне.

Мать нахмурилась, затем обвела рукой мое платье и туфли:

— Но нам так много всего надо успеть. Боже мой, детка, ты только посмотри на себя!

— Но, мама!.. — взмолилась я, думая о Софии. Если я покину школу прямо сейчас, мы с ней, вероятно, уже больше никогда не увидимся.

— Хорошо, — решила она. — Ты можешь завершить учение, но жить будешь со мной в гостинице.

Пока пили чай, она щебетала о своих спутниках в путешествии, о собственных впечатлениях от Бата, об очаровательном знакомом господине, который подыскал для нее этот чудесный номер в гостинице. Две мисс Олдридж то и дело пытались вставить словечко о моем обучении в школе, но мама просто кивала в ответ и начинала говорить о другом.

— Я с удовольствием покажу тебе город, — предложила я. — Я бывала в бювете, а еще тут есть аббатство и ванны.

— В бальных залах ты не была? — заинтересовалась она.

— Девочке всего семнадцать, — вежливо указала мисс Олдридж.

— Да, в самом деле, — согласилась мама.

В тот же день мы с мамой в карете отправились на новую квартиру; гостиница стояла на площади Серкус, и это было одним из самых модных мест в городе. Мама уговорилась с сестрами Олдридж, что мне дадут несколько дней на то, чтобы собрать вещи и попрощаться с девочками, а в субботу утром за мной прибудет экипаж.

— Бедная детка, столько лет просидеть взаперти с этими ужасными старыми девами, — пожалела меня мама, едва мы вышли из здания школы.

Красивая модная площадь была запружена экипажами; на тротуарах знакомые обменивались улыбками и поклонами. Мама вертела головой, тянула шею, стремясь все увидеть и охватить. Мы объехали площадь по кругу, и она велела вознице объехать ее еще раз.

В снятом ею номере оказались огромная гостиная, две спальни, столовая и комната для прислуги. Мама раскинула руки, словно желая заключить в объятия все это великолепие, затем обратила внимание на меня.

— Непременно Расскажи, какова последняя мода в Бате. И каковы тут молодые люди? — Тут она засмеялась: — Ну конечно, на этот вопрос ты не ответишь. Пока что. Поэтому Расскажи про эту свою школу. Хотя Бог свидетель: тебе впихнули в голову слишком

много знаний, чтобы это пошло на пользу.

Я открыла рот, чтобы ответить, но мама уже занималась другим — составляла длинный список нужных вещей.

— А, да, туфли, разумеется, и по крайней мере три платья. Как там у тебя с нижними юбками?

Подняв подол, я предъявила юбки.

— Ах ты боже мой! Вовсе необязательно показывать.

Она была красивая женщина; это было очевидно. В своем стареньком детском платьишке и залатанных нижних юбках рядом с ней я чувствовала себя жалко.

— Тебе всегда нравилось оголяться, — заметила мать с неудовольствием.

«Неправда, — подумала я. — А если и правда, то мне тогда было всего-навсего шесть лет». Я глядела на эту красивую даму, которая заявляла, что она — моя мать. Да может быть, она и не мать мне вовсе, а самозванка?

Не прошло и недели после ее приезда, как мама затеяла званый вечер.

— Считай это репетицией, — сказала она мне.

Поскольку мои новые платья еще не были готовы, мама выделила мне свое, самое скромное — из бледного муслина с узором из веточек, с закрытой шеей. Его предполагалось надеть на новый корсет с несметным количеством вставленных косточек. Мамина горничная полчаса его на мне шнуровала, а когда сверху надела платье, оказалось, что грудь у меня вся наружу. Я в смятении уставилась на свое отражение в зеркале. На маме платье смотрелось совершенно девическим, а на мне оно выглядело совсем по-другому.

— Да уж, формы у тебя необыкновенно богатые, — заметила мама. — Понять не могу: откуда что взялось? — И она похлопала себя по бокам; сама-то она была худенькой и хрупкой.

Поправив складки муслина на шее, она приколола к краю выреза шелковую розу.

— Что бы ты ни делала, не дыши слишком глубоко.

— Но, мама...

Договорить я не успела — в дверь позвонили. Послав мне воздушный поцелуй, мама пошла встречать гостей, и я неохотно последовала за ней.

Первым явился господин с вставными зубами, за ним — долговязый мужчина с волчьей ухмылкой. Еще пришли три пухлые дамы неопределенного возраста, господин с крашеными волосами и еще один добродушный господин с розовым блестящим лицом. Единственный мужчина, которого можно было назвать хотя бы нестарым, был примерно маминого возраста. Когда она представила нас друг другу, он откровенно оглядел мою грудь.

— Вижу, что материнские плоды вызрели в дочке, — объявил он с сияющей улыбкой.

Мама тоже сверкнула зубами в улыбке, однако глаза не улыбнулись.

— Не надо вести подобных речей при ребенке, — сказала она.

Я почувствовала себя униженной. Когда все гости собрались, я убежала к себе и завернулась в шаль. Однако в гостиной мама ее тут же с меня стащила и вытолкнула на середину комнаты. Грудь у меня покрылась гусиной кожей.

— Стой прямо и улыбайся! — прошипела мама.

Двое нанятых на вечер слуг разносили гостям шерри, а мама объявила, что я сейчас сыграю на фортепьяно.

— Я с гордостью представляю вам свою дочь, которая только что завершила свое

образование, — сказала она. — На обучении настоял ее отец; тут уж ничего не поделаешь.

Щеки у меня горели, когда я, сбиваясь, играла гавот.

Занимаясь гостями, мама не забывала шепотом меня наставлять:

— Наблюдай за мной. Все важнейшие жизненные уроки должны быть усвоены в смешанной компании.

Когда господин с вставными зубами обнял меня за талию, я бросила взгляд на нее. Одним изящным движением мама оказалась рядом, обласкала господина улыбками и непринужденно отогнала меня в сторонку.

— Ради бога, пусть он с тобой разговаривает, а ты ему улыбайся. Смотри приветливо, — прошептала она. — Только помни: есть милости, которых мужчины добиваются от женщин, да только не от будущих жен.

Кто-то однажды сказал, что моя мать вроде той черепахи, что откладывает яйца в песок и оставляет их на волю судьбы или случая. Ей ни на миг и в голову не приходило, что ее собственная дочь может не оправдать ее ожиданий и не оказаться вполне благопристойной юной дамой. Однако же при той «заботе», которой она меня окружала последние десять лет, со мной могло случиться что угодно. Я могла охреть или умереть, у меня могло быть косоглазие или толстые грубые лодыжки, как у крестьянки, или, к примеру, заикание, бородавки на лице, а она бы и знать о том не знала. Однако так случилось, что природа дала мне округлые бедра, налитую грудь и миловидное лицо, а остальное маму не интересовало.

— Понять не могу, что тебе в этой школе? Зачем там торчать без толку? — говорила она. — Нам столько всего надо сделать!

Как выяснилось, мы должны были отплыть в Индию в августе — через каких-то три месяца.

— В Калькутте тебе понравится; будешь блистать на балах. Конечно, когда сошьем для тебя новую одежду.

— Это всего лишь месяц, — уговаривала я. Оставаясь в школе, я смогу хотя бы поделиться своими новостями с Софией.

— Люди подумают, что тебе не хочется в Индию, — раздражалась мама.

— Конечно, хочется. Я с огромным нетерпением жду.

— Мужчины не ценят в женщинах образование. Вот уж чего тебе вовсе не надо! В твоём возрасте я уже была замужем и имела трехлетнюю дочь.

Чуть позже она упомянула судью, за которого мне следовало выйти замуж. Такой брак имел бы множество преимуществ — не только для меня самой, но также для мамы и отчима. Что немаловажно, мы втроем присоединились бы к сливкам калькуттского общества.

— Это милейший господин, вдовец, — сказала она. — О большем тебе и мечтать нечего.

— Вдовец! — вскричала я. — Сколько же ему лет, скажи, пожалуйста?

— Какое значение имеет возраст?

— Сколько?

— Если тебе не понравится отец, у него есть два сына.

— Нет, ты скажи: сколько ему?

Мать пожала плечами:

— Пятьдесят девять.

— Пятьдесят девять?! — Я задохнулась.

— Довольно об этом, — сказала она. — Мы не должны забывать о гостях.

Итак, мама выдала бы меня за старика, чтобы удовлетворить собственное честолюбие. К этому сводится вся ее забота обо мне? Я оглядела пожилых джентльменов в гостиной. Нет: я бы хотела иметь молодого супруга, с крепкими белыми зубами, без седины и лысины. Неужто я прошу слишком много?

Последующие недели мама полностью посвятила моему преобразению. Мы посещали портниху, обувщика, продавца перчаток. Нижние юбки, сорочки и ночные рубашки мама заказывала оптом. С меня сняли мерки для двух утренних платьев, одного дневного, понаряднее, и для первого в моей жизни торжественного вечернего наряда.

Пока мы таскались туда-сюда, мама передавала мне собственные знания. Она учила меня улыбаться — слегка, но часто; наставляла, когда держать при себе свое мнение — почти всегда; как распоряжаться продавщицами в лавке — с абсолютной уверенностью в себе; учила разбираться в тканях, а самое главное — в шляпах. Кажется, мать была убеждена, что самая суть истинной леди держится у нее на голове.

Бывая у модистки, она столь тщательно изучала стежки и подкладки, что я невольно краснела.

— Мама, ну зачем это делать? Не надо!

— Чепуха! Жаль, что я больше не занимаюсь изготовлением шляп. Правильная шляпка создает облик дамы. Она простую женщину может превратить в королеву.

Когда она взялась расписывать свои любимые шляпки, я прямо не знала, что и думать: быть может, она меня просто дразнит?

— В Ирландии из моих рук вышла шляпка с крошечным суденышком под парусами, а на другой была груда заморских фруктов.

Мы с модисткой переглянулись.

Когда же мама в конце концов выбрала скромную шляпку в мелкий горошек и два капора, один соломенный, другой из ткани, я вздохнула с облегчением.

В промежутках между постижением науки женского гардероба и чаепитиями я начала узнавать свою мать ближе. К сожалению, не могу сказать, что она давала себе труд понять меня; ее внимание сосредоточивалось лишь на том, какой цвет мне более к лицу — голубой или розовый.

— Ты моя дочь, не так ли? — говорила она. — Мне этого достаточно.

Вскоре после ее приезда в Бат я познакомила маму с Софией в надежде, что наша дружба продолжится. Однако когда я в следующий раз пришла в школу, выяснилось, что мама навела справки и велела меня к Софии не подпускать.

— Эта девочка слишком нервная, — объяснила мама, но я-то понимала: это все оттого, что София — незаконнорожденная.

Мы с ней с тоской глядели друг на дружку с разных концов класса. Без Софии мне некому было поведать свои страхи, не у кого спросить совета. Хотя я твердила маме, что не выйду замуж за судью, она лишь смеялась надо мной.

— А как ты выживешь одна? Будешь на улице цветочки продавать?

Через месяц после приезда мамы в Бат к нам в гости пришел новый господин. Я сидела в гостиной, безо всякой охоты вышивая цветки бело-розовой глицинии, когда несколько раз

прозвонил дверной колокольчик. Было солнечное майское утро, и комната была залита светом. За окном в садах буйствовали тюльпаны и турецкая гвоздика. Делая стежок за стежком, я мысленно сочиняла письмо к Софии. Не пройдет и полугода, как я, согласно маминым ожиданиям, выйду замуж. Никакие мои возражения не могли поколебать ее и заставить изменить решение. Мне было тоскливо и горько оттого уже, что день такой яркий и радостный. Я представляла себя бутоном, раздавленным в морщинистой руке старика, осыпавшимися лепестками тюльпана на булыжной мостовой.

— Пришел лейтенант Томас Джеймс, — объявила горничная.

Вот уж чего мне вовсе не хотелось, так это принимать гостей.

— Пусть оставит визитку, — сказала я.

И уж совсем было собралась его отослать, как вдруг в комнату ворвалась мама:

— Томас Джеймс?

Я поглядела на нее с новым интересом. До сих пор мне не доводилось видеть ее в такой растерянности и смущении. Что за человек ее так взволновал? Позабыв собственные горести, я преисполнилась любопытства. Пока гость ожидал в прихожей, в комнате сделали моментальную перестановку, а горничную отослали купить торт.

— Я познакомилась с ним, когда плыла из Индии, — объяснила мама.

— Ты о нем раньше ни словом не обмолвилась, — заметила я.

Мы обе прислушивались к шагам в прихожей. Вот в такие краткие мгновения жизнь, твердо распланированная и проложенная по одному пути, может внезапно вильнуть и пойти другим курсом.

Глава 7

Воздух в гостиной, казалось, потрескивал от напряжения, горничная металась, мама замерла, будто неживая. Высокое зеркало унесли, шитье спрятали, вазу с пионами три раза переставляли туда-сюда. Когда лейтенант наконец вошел, он щелкнул каблуками и поклонился.

Я переводила взгляд с гостя на маму, не понимая, с какой стати она так разволновалась: в лейтенанте не было ровным счетом ничего особенного. Не высокий, не малорослый. Каштановые волосы не особо темные и не светлого медового оттенка. Глаза, хоть и синие, не были мечтательно-задумчивые или бесцветно-водянистые. Форма сидела на нем не лучше и не хуже, чем на любом другом офицере.

В своем лиловом платье мама казалась белее фарфора, лишь чуть розовели подрумяненные щеки.

Когда лейтенант заговорил, его произношение выдавало ирландское происхождение.

— Миссис Крейги, — промолвил он.

— Томас, — улыбнулась она в ответ.

Мамин собственный ирландский акцент тут же усилился. Их национальность вдруг показалась чем-то глубоко личным, интимным, связывающим ее с лейтенантом невидимой нитью. Мне припомнился тихий дождь над голубеющей вдали горой. А ведь я давным-давно уже не вспоминала Ирландию. Когда лейтенант Джеймс поцеловал маме руку, щеки у нее заалели, как маков цвет. Между ней и гостем промелькнуло нечто, чему я не знала названия.

— Дорогой лейтенант, — проговорила мама, — я так рада вас видеть. Надеюсь, вы полностью поправились?

— Да. Месяц в Ирландии пошел мне на пользу. Прекрасно было побывать дома.

Мама кивнула и представила меня:

— Это моя дочь Элиза.

Лейтенант приложился к моей руке.

— Вы почти столь же красивы, как ваша мать.

Я вымучила улыбку. Не слишком удачный вышел комплимент.

Мама склонила набок голову.

— Надеюсь, вы сможете провести немного времени в Бате, с нами.

— Смогу. Полагаю, что мне, возможно, придется возвращаться в Индию примерно в одно время с вами.

В тот день чаепитие растянулось до вечера. Закуски подали второй раз, затем третий. Хотя мама с лейтенантом говорили исключительно о пустяках, в словах слышалось что-то еще, понятное только им двоим.

На следующий день лейтенант Джеймс опять у нас появился. Два дня спустя он пригласил нас в бювет. Вскоре он являлся чуть не каждый день. Он сопровождал нас с мамой в поездках по городу, в театр и в прогулках по парку. Вечерами они уезжали на балы и концерты и часто проводили время наедине.

Однажды я обнаружила в маминой спальне огромный новый сундук. Когда доставляли заказанную для меня одежду, мама выдавала мне сорочку или нижнюю юбку, а остальное тщательно заворачивала в тонкую бумагу и укладывала в этот сундук. Когда прибыли новые платья, она даже не позволила их вынуть из чехлов.

— Они — для твоего приданого, — объявила она.

— Но мама, здесь мне тоже нужно что-то носить.

— Эти платья — для Индии.

Впрочем, мне быстро сшили два простых муслиновых платья. Одно было чисто белое, а другое — бледно-розовое и совершенно мне не шло. Порой, когда мама отсутствовала, я с тоской шупала изящные «индийские» платья сквозь их муслиновые чехлы.

— Если уступишь моему желанию, сможешь носить обновки, когда захочешь, — предложила мама.

После некоторых сомнений она решила, что в качестве репетиции перед большим полковым балом в Калькутте я могу один раз посетить бальный зал в Бате.

— Только не воображай себе бог знает что, — предупредила мама. — Ты выйдешь замуж за судью, можешь в этом не сомневаться.

У портнихи из огромного количества кремового шелка, вуали и кружев постепенно образовывалось мое вечернее платье. От примерки к примерке швеи совершенствовали свое творение. Вырез на лифе был обработан, вшиты рукава, пришиты оборки на подол. В талии платье стало уже, а юбки, наоборот, занимали чуть ли не полкомнаты.

Стоя перед зеркалом, я покачивалась из стороны в сторону, наслаждаясь шелестом волнующегося шелка. В этот миг я и думать забыла о грядущем возвращении в Индию.

— Детка, стой спокойно, — попросила портниха.

Я подняла руки, а две швеи, зажав между зубов булавки, принялись зауживать лиф. Совершенно счастливая, я наяву грезилась о приближающемся бале — все будут восхищенно смотреть, как я кружусь в танце! — и вдруг мое внимание привлекла кружевница, которая

тихонько работала в дальнем углу. Взгляд у нее был странный, блуждающий, как будто в глазах плескалась вода. Из-под ловких проворных пальцев струилось чудесное кружево кремового цвета.

Я подтолкнула маму локтем.

— Тише, тише, — сказала она. — Ты разве не видишь, что бедная женщина слепа?

Хозяйка, видя мой интерес, велела мастерице выложить кружево на прилавок.

— То самое кружево, что вы заказали для дочки, — сказала она маме. — Помните?

Это было чудесное тонкое плетение шелковых нитей, которые сливались в изображения птиц, выющихся лоз, цветов и листьев. Мама принялась восхищаться, а мастерица вернулась в свой угол и принялась плести новое кружево. Я заметила, что пальцы у нее с раздувшимися суставами, кожа на подушечках содрана.

Радость, вызванная новым платьем, мгновенно испарилась. Когда швея начала булавками крепить только что сплетенное кружево к краю выреза, меня передернуло.

— Мне бы лучше без кружева.

— Детка, не глупи, — возразила мама. — Его плели специально для тебя.

— Я не хочу, — упорствовала я.

Швея осторожно продолжала работу, ее помощница крепила кружево к оборкам на юбке. И тут я не выдержала. Не обращая внимания на посыпавшиеся булавки и треск ниток, я потащила платье с плеч. Пока я пыталась высвободиться из лифа, поцарапала кожу булавкой, на ткань упала капелька крови. Чтобы я не испортила окончательно всю их работу, швеи помогли мне выбраться из юбок.

Мама с портнихой озадаченно переглянулись. Одна из швей кивнула на кружевницу: дескать, это из-за нее. Но даже когда несчастную женщину отослали прочь, у меня перед глазами стремительно шевелились безобразные пальцы, из-под которых струились каскады великолепного прозрачного кружева.

Лейтенант Джеймс прочно вошел в нашу жизнь. На званых вечерах они с мамой сидели рядышком, тихо беседуя друг с другом. Порой она касалась его руки; он был почтителен с ней, очень внимателен и спокоен. Мама перестала обращать внимание на правила приличия, а его слишком частые визиты дали повод для сплетен. Лишь слепой не заметил бы, как лейтенант стремится ей угодить: он подливал маме вина в бокал, подавал ей шаль; я уже начала его называть маминым кавалером. К тому же я обратила внимание, что в его присутствии она делается спокойнее и меньше сердится на меня.

Лично мне лейтенант был по душе. Если я что-нибудь говорила, он слушал, и за это я была ему благодарна. Когда он провожал меня в школу, мы разговаривали о событиях дня.

Оставаясь одни, мы с мамой то и дело ссорились, а при лейтенанте держались вежливо, на расстоянии. При нем она обращалась со мной, как с безобидным, хотя и не по летам развитым ребенком.

— Не странно ли, — отважилась я как-то раз, — что юная девушка может вот-вот стать правительницей страны, а женщины даже не имеют права голоса?

— Маленькая республиканка, — улыбнулся Томас.

— Не надо ей потакать, — тут же указала мама.

В тот день лейтенант принес с собой газету. Пока он ожидал, когда мама к нему выйдет, я с жадностью проглотила статьи на первой странице. Король Вильгельм был тяжело болен; если он умрет, его юная племянница, принцесса Александрина Виктория, взойдет на трон.

Войдя в гостиную и увидев у меня газету, мама выхватила ее и сделала замечание лейтенанту:

— В следующий раз будьте добры оставлять газеты в клубе.

Он поднял бровь, затем продолжил, обращаясь к нам обеим:

— Конечно же, нелепо, что юная особа восемнадцати лет может стать королевой.

— У нее есть мать, которая сможет ее направлять, — сказала мама.

— Возможно, некоторые девушки не так глупы, как о них думают, — вставила я. — Если одна может править страной, то и другим есть что сказать насчет их собственной жизни.

— Своеволие и упрямство в молодой девушке отвратительны, — заявила мама и повернулась к лейтенанту: — Не стоит говорить о политике при дамах.

Когда вошла горничная, мама попросила ее унести злополучную газету.

— Жаль, что я не в состоянии занять свой ум лишь сплетнями да вышиванием, — заметила я раздраженно и ушла.

Нагнав горничную, я забрала у нее газету и несколько часов провела в своей комнате, читая все подряд, от первой страницы до последней. Я изучала скучнейшие подробности, вчитывалась в тяжеловесный стиль сообщений, прочла даже все объявления и спортивные страницы.

Сундук в маминей спальне пополнялся. Я продолжала носить два своих простеньких платья, а прибывающие новые наряды становились все элегантнее день ото дня. Когда нам доставляли очередной заказ, мама звала меня, и я торчала в дверях, наблюдая. Когда ее не было, я заходила в спальню и заглядывала в сундук, после чего решительно опускала крышку и выходила вон. Неужто она всерьез полагает, что может тряпками купить мое согласие на брак с судьей? Лишь однажды, при виде туфелек из синей парчи с вышивкой, моя решимость поколебалась. Я представила, как хожу по красивой гостиной в таких вот туфельках, как приглашаю гостей в свой собственный бальный зал. Содержимое сундука обещало утонченную, изысканную жизнь, уверяло, что в той жизни меня будут холить и лелеять. А какой еще у меня был выбор? Вспомнилось, как худенькая девчушка, что продавала фиалки возле бювета, уходила с господином в сюртуке. Когда я указала на них, София воскликнула:

— Не верится мне, что этот господин интересуется фиалочками!

Незадолго до окончания школы состоялся мой первый бал. На мне было вечернее платье из кремового шелка; на маме — бледно-розовое. Над головой висели люстры, огромные, как сияющие города. Стены были голубые, как море. Свет исходил от несметного числа свеч, отражался в дамских украшениях, сверкал в нашитых на платья алмазах. В зеркалах я видела свое собственное восхитительное отражение. Плечи утопали в оборках, юбки пенились кремовыми волнами вокруг тонюсенькой талии. Глаз не отвести; лебедь, да и только. Лейтенант прокладывал дорогу в толпе, а мы с мамой кивали и кланялись. Я сначала дивилась на внутреннее убранство зала, потом — на роскошные наряды. Великолепие вокруг настолько меня ослепило, что я едва замечала мужчин, которые вписывали свои имена в мою карту танцев. Взгляд мой метался по сторонам, точно счастливая бабочка в летний зной. Потолок был украшен богатой лепниной в виде цветочных гирлянд и лавровых ветвей, камин — пальмовыми листьями и розетками. Одна дама несла на голове сложное сооружение из светло-голубых страусиных перьев, а некий господин обнажал в улыбке две

металлические пластины вместо зубов. Еще я видела румяную девушку в пышной юбке, которая больше всего походила на аппетитную меренгу, и молодого человека, у которого был высоченный крахмальный воротник, натиравший хозяину щеки.

К тому времени, когда мы сели, танцы в моей карте почти все были расписаны. Взглянув на имена, я узнала лишь самое первое.

Лейтенант Джеймс поклонился, и мы пошли танцевать.

— Вы — само очарование, — сказал он.

— Почти так же красива, как мама? — не удержавшись, подколола я.

Делая первые па, мы оба глянули на маму, которую вел кавалер за три пары от нас. Несомненно, она была очень хороша собой. Такая нежная, аккуратная — словно чудесная, искусно сделанная куколка. Я выпрямилась. Пусть мама прехорошенькая, однако на моей стороне юность. Когда одна звезда начинает закатываться, другая восходит. У меня зрелые женские формы, а у нее все еще хрупкая девичья фигурка.

Танцуя, я подмечала восхищенные взгляды мужчин. Интересно, а что понадобилось бы, чтобы разорвать связь между мамой и ее кавалером, чтобы он все свое внимание обратил на меня? Когда танец закончился, лейтенант положил ладонь мне на талию, и это прикосновение отозвалось трепетом во всем моем теле.

Когда прибыло предназначенное мне в приданое белье, мама предложила показать, как следует носить эти бесподобные вещицы. В спальне она сперва жадно рылась в свертках, разворачивая тонкую бумагу, затем впадала в экстаз перед зеркалом, приложив к себе очередной великолепный клочок кружев: ночную сорочку из перкаля, утреннее платье из белого пике с капюшоном, прозрачный пеньюар. Глаза у нее туманились от удовольствия, как у женщины, которая думает о возлюбленном.

— Давай я тебе покажу, — сказала она.

Я стиснула зубы.

— Спасибо, мама, но у нас с тобой совершенно разный размер.

Она развернулась и швырнула мне пеньюар.

— Ты не соображаешь, как тебе повезло! Когда я впервые выходила замуж, мне пришлось обойтись платьем, взятым взаймы. Единственное, что у меня было нового, — это вышитая тамбуром шляпка и кусок самого простого кружева.

Время шло. Нам доставили билеты в Индию. В дни, когда мама отпускала его от себя, лейтенант Джеймс провожал меня в школу. Софию недавно забрали из школы, и мне ужасно ее не хватало. Как-то раз я пришла, и мне вручили письмо и отрез небесно-голубого тюля (теперь уже порядком выцветшего). София писала, что она живет в Челтенхеме у тетки, которая надеется удачно выдать ее замуж. «Принимай будущее как оно есть и пользуйся им!» — советовала моя милая подруга.

Возможно, именно то, что мы с лейтенантом шли пешком, толкнуло меня на откровенность. Вспомнились бесконечные прогулки по палубе корабля, когда отец уверенно сжимал мою крошечную ручонку и мне было с ним хорошо и спокойно.

— Зовите меня Томасом, — уже не раз предлагал лейтенант.

А я не могла — он был настолько меня старше! В ответ я уверяла, что он мне как отец и всегда останется для меня лейтенантом Джеймсом.

Сейчас, когда день отъезда неотвратимо близился, я не могла думать ни о чем другом.

— Неужели я — рабыня собственной матери? — взмолилась я, не сдержавшись. — Неужто мне в самом деле необходимо ехать?

— Но вам же все равно когда-нибудь придется выйти замуж, — ответил лейтенант.

— Мне всего семнадцать; вот вы — вы отдали бы меня какому-то старику?

— Человек постарше может быть добрее.

— Чтобы меня лапал противный дед? Большого я не заслуживаю?

— Ваша мать желает вам только добра, вы сами это хорошо понимаете.

— Мама послушала бы вас.

— Не уверен.

— Хотите, чтобы я умоляла вас на коленях?

— Ну, детка, не надо драматизировать.

— Не смейте называть меня деткой! — в ярости обернулась я к нему.

И тут дыхание у меня перехватило — сдавило грудь, горло, рот. Я сердито глядела на лейтенанта, а он отвечал странным озадаченным взглядом. Мгновение мы оба молчали. Я почувствовала на лице его дыхание. Наконец он откашлялся. А я заметила, что его каштановые волосы густые и блестящие, а глаза — нежно-голубого цвета.

Однажды вечером, когда мама куда-то ушла с лейтенантом, я выудила из сундука пеньюар, разделась и примерила отделанную кружевом вещицу, которой так восхищалась моя мать. Пеньюар был полупрозрачный, сквозь него легко угадывались очертания тела. Кружевные вставки на груди и бедрах были еще прозрачнее, на фоне смуглой кожи хорошо был виден тонкий узор. В пеньюаре я ощутила себя более голой, чем совсем без одежды.

Присев на край маминой постели, я попыталась представить, будто сейчас — моя брачная ночь. Просвечивающая ткань щекотала кожу. Между бедер появилось какое-то тревожное ощущение. Я вообразила, что я жду. Но — кого? И что будет дальше?

Разглядывая сложный кружевной узор, я вспомнила ту кружевницу с распухшими больными пальцами. В темном углу убогой комнатенки несчастная калека за жалкие гроши плела и плела бесконечное прозрачное кружево. Я почувствовала себя так, словно попалась в смертельную шелковую паутину, в плен собственного приданого. Передернувшись, я скинула пеньюар и поспешно натянула свое целомудренное девчоночье платьице.

Июнь по традиции был месяцем свадеб; каждую субботу звонили колокола, и из церквей выходили новобрачные. Даже деревья оделись в свои лучшие подвенечные наряды. Когда закончился мой последний день в школе, я снова обратилась к лейтенанту с просьбой. Мы с ним пошли не обычной дорогой, а через ботанический сад; рододендроны были сплошь усыпаны цветами, а осыпавшийся вишневый цвет лежал на земле, точно шлейф свадебного платья.

— Пожалуйста, не дайте ей увезти меня в Индию, — взмолилась я.

— Но чем я могу помочь? — возразил лейтенант.

— Я вас очень прошу.

Когда у меня по щеке скатилась слеза, он схватил меня за плечи.

— Не плачьте, пожалуйста.

Затем он осторожно меня обнял. За первой слезой покатилась другая, затем третья, и вскоре плечо у лейтенанта стало мокрым. Наплакавшись, я осознала, что слушаю, как бьется его сердце. Мое собственное гулко стучало, но его сердце колотилось быстрее. Подняв

голову, я увидела, что его лицо пылает, а губы приоткрыты, словно ему трудно дышать.

— Увезите меня, — прошептала я.

— Ты сама не знаешь, что говоришь.

— Не знаю, — согласилась я.

Зато я знала другое: в его объятиях я чувствую себя в безопасности, а наши сердца бьются в унисон. Стоило мне положить голову ему на плечо, как все горести куда-то улетучились. Я застенчиво подняла взгляд, и лейтенант как будто согрелся в теплой волне моей беспомощности. Когда он нежно поцеловал меня в губы, я полностью отдала себя в его руки.

Сцена третья

Отрез небесно-голубого тюля

Глава 8

Представьте себе распускающийся бутон на таинственном дереве, что растет в странном, но красивом саду. Моя мать ожидала роскошный цветок, который бросит на нее самую выгодный отсвет и который удастся дорого продать. То ли это будет ароматная персидская роза, то ли нежная магнолия. Лейтенант Джеймс, со своей стороны, полагал, что приобрел податливый и послушный молодой побег, который легко обучать, принуждать и подрезать.

Оглядываясь на семнадцатилетнюю себя, я вижу дремлющее создание, которое пытается вырваться на свободу. Я действовала под влиянием порыва или противодействовала чужому давлению; металась, точно отражение в зале, увешанном зеркалами. В одном зеркале я видела себя глазами матери, в другом отражалась юная возлюбленная Томаса, в третьем — школьница в залатанных нижних юбках. Я действовала инстинктивно, а затем с замиранием сердца ждала, что из этого выйдет. Еще сама того не сознавая, я прочно увязла в липкой паутине — чем больше я боролась, тем крепче меня опутывали прочные нити.

Меня подтолкнула к действию ссора с мамой. Как-то рано утром, за неделю до отплытия в Индию, она ворвалась ко мне в спальню и безжалостно растолкала. Я крепко спала, и мне снился прекрасный юный поклонник, белокурый, голубоглазый. Хотя еще не пробило семи часов, мама уже была полна энергии. Она раздвинула шторы, в комнату хлынул солнечный свет, и я потянула на себя покрывало, прикрывая глаза.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

— Я искренне забочусь о тебе, хочу как лучше. Это ясно любому. — Она сновала по комнате, поправляя диванные подушки, платье на вешалке, стул. — Кроме тебя, конечно же. Ну что ты за дочь, а? Совершенно на меня не похожа.

— Ну и слава богу. — Я потянулась за платьем. — Надеюсь, я больше папина дочка, чем твоя.

Мама швырнула на постель стопку глаженного белья и выбежала из комнаты. Через пять минут она вернулась. Сидя у туалетного столика и тщательно расчесывая волосы, я наблюдала за ее отражением в зеркале.

— И можешь так же любить всякую безвкусицу, как твой отец! — Она бросила на мраморную столешницу передо мной кольцо с красным камнем. — Можешь забрать кольцо, что он мне подарил! Даже не знаю, зачем я его сохранила. Он обещал мне рубин. А это что, как по-твоему? Красная стекляшка. Даже не гранат. И оправка из позолоченной латуни. Если ты в отца, то помоги тебе Господь. Твои мечты обратятся в пыль, обещания — в прах. Я всего лишь хочу как лучше. Чтоб ты заняла место в обществе, была обеспечена. Не понимаю, как ты этого не видишь. Всякая романтика — такая же подделка, как эта бесполезная побрякушка. Поверь мне, она быстро снашивается и протирается.

Я перевела взгляд с мамы на кольцо. Затейливая оправка была похожа на прессованное золото. Квадратный граненый камень был темно-красный, как густое вино, и необычно

крупный. Будь это настоящий рубин, кольцо бы не было цены.

— Откуда ты знаешь, что это подделка?

Мама отвела взгляд, прошептала:

— Потому что я пыталась его продать.

Когда она ушла, я поднесла кольцо к свету. Красный камень засиял, точно застывшая во времени огромная капля крови. Пока я его крутила, рассматривая, в зеркале и на стенах гуляли малиновые отблески. Мама считала кольцо дешевой подделкой, я же увидела в нем весомое доказательство того, что отец искренне любил мою мать. Мне казалось, что главное — не кусочек металла с камушком, а чувство. Я не сомневалась: отец подарил бы ей рубин, если б у него хватило денег. А может, его самого обманули. Возможно, он купил кольцо, полагая, что оно с настоящим рубином, и не подозревал, что его облапошили. Я не верила, что он солгал маме намеренно.

Я представила его улыбку, тонкие усики, светлые бакенбарды. Я хорошо помнила, как он подбрасывал меня в воздух, ловил и кружил. Мне было тогда года три-четыре. Будь он жив, он бы не гнал меня замуж за старого судью. Он бы желал мне счастья, в этом я была совершенно уверена.

Надев кольцо, я вытянула руку, восхищаясь его красотой. Если бы мама больше любила отца, кто знает — быть может, он бы не умер так рано. Ей бы надо по-прежнему его любить и дорожить его памятью, а не стараться унижить человека, который уже не в силах защититься. В эту самую минуту я решила, что мамин удалой кавалер будет мой. Если он хорош для нее, сгодится и для меня. А она пусть забирает себе судью, коли ей так нужна эта свадьба.

В последний вечер, проведенный в Бате, я завернула кольцо с красным камнем в вышитый платок, подаренный Софией, а затем — в отрез голубого тюля. Сколько бы мама ни твердила, что кольцо ничего не стоит, мне оно всегда будет дорого. Как она может быть такой циничной? Наверное, ее ожесточило разочарование. А возможно, она мне просто солгала, в последней отчаянной попытке добиться согласия на брак с судьей. Даже если кольцо менее ценное, чем ей когда-то представлялось, это не может быть просто цветная стекляшка. Закрыв крышку индийского сундучка, я поклялась себе, что никогда в жизни не стану такой жестокосердной, бесчувственной, расчетливой, как мать. Что бы ни случилось, я не буду походить на нее ни мыслью, ни словом, ни поступком. Ни жестом, ни взглядом, ни вздохом.

Глава 9

Укладывать мне было почти нечего — несколько безделушек, сшитый из шелковых лоскутков платок, полинявший и порванный, отрез голубого тюля — память о Софии. Свои простенькие школьные платья, из которых давно выросла, я оставила на вешалках в шкафу. Сундук с приданым был уже вынесен из маминой спальни в прихожую, где вместе с тремя другими ожидал отправки в Индию. Я осторожно заглянула к маме. Она крепко спала, с черной шелковой маской на глазах. Ее темные волосы были аккуратно уложены на подушке. Прощальное письмо ей я писать не стала; она и так скоро узнает. Ни на единый миг я не усомнилась, что лейтенант за мной приедет. И в самом деле, ровно в три часа утра под окнами раздался стук конских копыт.

За дверью я огляделась в последний раз. Весь мир спал. Даже цветы на деревьях закрылись, сонно сомкнули лепестки.

В карете лейтенант привлек меня к себе, крепко обнял, укутал пледом. Мне было уютно и тепло, и пока что этого казалось достаточно. Сзади к карете был пристегнут ремнями сундук с приданым, которое не пригодилось для свадьбы с судьей; у ног стоял маленький индийский сундучок. Все остальное я с радостью оставила в прошлом.

Голова моя была забита романтическим вздором, сказками о разбойниках и влюбленных. Лейтенант мне виделся гордым изгнанником, которого не поняли и не оценили на родине; я была невинная дева, которую похитили под покровом ночи. Его любовь была простой, первобытной и яростной. Он завернул меня в собственный плащ, и кони понесли карету прочь.

Они мчали сквозь ночь, пока не начали спотыкаться от усталости. Огромная распухшая луна отражалась в темных окнах домов, поблескивала в лужах, вела нас все дальше извилистыми дорогами. Любой звук: треск сломавшейся ветки, уханье филина, стук колес по камням — в ночной тишине казался громче обычного. Я слышала топот конских копыт, свист кнута, крик возницы. К утру кони уже едва переставляли ноги, и возница бесконечно подгонял их кнутом и бранью. Когда взошло солнце, Томас задернул занавески на окнах. Пригревшись в своем уютном коконе, я перестала думать о мире, что остался снаружи.

То и дело возница требовал дать коням отдых.

— Скоро уже, скоро, — отвечал Томас.

Быть может, он опасался, что я передумаю; а возможно, боялся бешеного гнева моей матери. Как бы то ни было, мы в кратчайшее время покрыли тридцать миль. Лишь под вечер Томас позволил ненадолго остановиться.

Уже сгустились теплые летние сумерки, когда мы подъехали к придорожной гостинице в предместье Бристоля. Возница был зол, кони чуть живы от усталости. На боках блеснул пот, удила в пене, шкуры побелели от соли. Кони волновались, переступали ногами, пока помощник конюха не распряг и не увел их одного за другим. Возница вынес из кареты наши вещи, а из дверей гостиницы вышел толстяк в отвратительно грязном переднике и пожал Томасу руку. В дальнем углу двора мальчишка тихонько разговаривал с лошадьми, вытирая их пучками соломы.

Гостиница, где мы остановились, была древняя, со множеством крохотных комнатусек. Мужчинам пришлось нагнуть голову, чтобы пройти в дверь. Нас провели на второй этаж; номер состоял из двух смежных спален. На голых досках пола не лежало даже самого скромного коврика, над головой нависали толстые потолочные балки, тяжелая резная мебель была из темного дуба. В моей спальне горели две свечи, на стенах дрожали черные тени.

На ужин нам подали мясо, хлеб и темное крепкое вино. Хотя пища и удобства были скудны, Томас был ко мне чрезвычайно внимателен, а у меня голова шла кругом, и я ощущала себя очень взрослой. Мне было семнадцать лет; Томас в свои тридцать два был одного возраста с мамой. Наконец-то, думалось мне, снова есть отец, который обо мне позаботится. Смерть унесла первого, мама полностью присвоила второго, но уж третьего у меня никто не отнимет. Томас сидел за столом, и его голубые глаза ярко блеснули. Еще никогда в жизни я не чувствовала себя так уютно, надежно и безопасно.

Когда мы поужинали, хозяин гостиницы принес бутылку портвейна и два стакана. Из нескольких фраз я заключила, что Томас останавливался здесь и прежде. Мужчины пили

вино, смех становился громким и грубым, и мне вовсе не нравилось, как хозяин смотрел на меня. Поднявшись из-за стола, я пожелала им обоим доброй ночи.

Дверь между нашими спальнями была тяжелая, и закрыть ее удалось с немалым трудом. Оставшись одна, я огляделась и поняла, что тут очень даже уютно. Сквозь толстую стену голоса из соседней комнаты едва пробивались. Надев ночную рубашку, я угнездилась на широкой кровати, сложив руки поверх одеял. И уже почти задремала, когда в голове закопошились неприятные мысли о маме.

Я представила, как она там одна в своем роскошном гостиничном номере. Обнаружив, что меня нет, она, разумеется, послала за Томасом, и ей сообщили, что он тоже исчез. Царапнуло легкое чувство вины. Наверное, все же стоило оставить записку. Однако я глянула на два сундука у стены, и сердце мое ожесточилось. Наверняка она больше сожалеет о пропавшем со мной белье, чем обо мне самой, решила я с обидой. Ее гордость пострадает, вот и все.

На столике рядом с кроватью затрепетал огонек свечи, и на стене выросла огромная тень. В комнате не было ни одного прямого угла. Над кроватью нависали темные потолочные балки. За окном в кронах деревьев шумел ветер, ревела вода в реке. Я могла быть где угодно — скажем, в лесной сторожке в заколдованном лесу, за много миль от людей. Я подумала о лейтенанте в соседней комнате и мечтательно улыбнулась. Обняла подушку, свернулась калачиком и крепко уснула.

Под утро меня разбудил скрип дверных петель. Дверь распахнулась и ударилась о стену. Я испуганно села на кровати. В дверном проеме, покачиваясь, стоял Томас Джеймс в расстегнутой рубашке, с красным лицом. В одной руке он держал лампу, в другой — полупустой стакан вина. Кроме рубашки, на нем ничего не было.

— Моя драгоценная детка, — проговорил он.

Я не могла оторвать взгляд от его вздымающейся к пупку плоти. Что я в то время знала о мужчинах, об их природе? В Индии я видела голых мальчишек, в Европе — мраморные статуи, вот и все. В обоих случаях символ мужественности был скромн и с легкостью мог быть укрыт от взглядов. Но то, чем обладал лейтенант, фиговым листком не прикроешь. «Господи! — подумала я. — И такое скрывается под брюками у каждого джентльмена?»

— Лейтенант... — начала я.

— Ты должна звать меня Томасом.

— Томас...

Больше ничего сказать я не успела: он навалился сверху, бешено меня целуя, разрывая ночную рубашку. Придавленная его весом, я не могла шевельнуться. Его мужская плоть прижималась к моему бедру, пульсировала, словно некое животное пыталось куда-то пробраться в темноте и искало путь.

Пришлось пойти на хитрость. Откинувшись на подушки, я глубоко вздохнула. Движения Томаса были замедленные, ум затуманен портвейном. Чуть только он ослабил хватку, я вывернулась из-под него и убежала в соседнюю комнату. В замке торчал ключ, я мигом его повернула, нырнула в постель и по шею закуталась в одеяла.

Из-за двери Томас принялся умолять:

— Милая, мой цветочек! Я не хотел тебя пугать. Ну же, мой ангел, открой дверь.

Сначала он пытался уговорить по-хорошему, затем прибегнул к угрозам:

— Я отошлю тебя назад! Матушка тебя ожидает. Прекрати этот вздор сейчас же,

слышишь? Я требую, чтоб ты оперла дверь.

В ответ я твердила только:

— Я устала, хочу спать, мне нужно поспать хоть немного.

Вот скотина, думала я про себя. Он что, вообразил, будто мной можно пользоваться как какой-нибудь служанкой?

На следующее утро за завтраком Томас поначалу и слова не молвил. Соблюдать правила приличия досталось мне. А я твердо была убеждена, что хотя бы один из нас двоих должен оставаться цивилизованным человеком.

— Надеюсь, вы хорошо спали. Мне так хочется поскорее попасть в Ирландию. Я не бывала там с детства.

Томас сидел мрачный, молчал и ковырял вилкой в тарелке. Я едва-едва его умаслила, чтобы он вообще соизволил заговорить.

Пока мы ехали через графства Уэльса, три ночи подряд происходили одинаковые стычки. В Монмутшире, Гламоргане и Кармартеншире мне ночами не давал спать громкий стук в дверь.

На четвертую ночь я решила, что лейтенант оставит меня в покое. Мы остановились в крошечной гостинице в Пемброкшире. За ужином Томас вел себя тихо-мирно. Я ушла к себе рано, не позабыв повернуть ключ в замке. И спокойно уснула в полной уверенности, что в эту ночь меня не потревожат.

Однако не успело пробить полночь, как меня разбудил звук упавшего на пол ключа, затем повернулась дверная ручка. Томас, который днем был совершенно очарователен, ночью преображался. Сейчас он вошел, запер за собой дверь, с насмешливой ухмылкой повертел ключом в воздухе, а затем ногой отбросил подальше тот, что был вытолкнут из замочной скважины.

— Ну, красавица, неужто ты вообразила, что сможешь так легко от меня отделаться? — проворковал он.

Я бросила взгляд кругом. Не удерешь: оконца крошечные, смежной комнаты нет, единственная дверь заперта.

Усевшись рядом на край постели, Томас погладил меня по волосам, тихонько поцеловал в шею.

— Мы много от чего отказались, чтобы быть вместе, — сказал он. — Так зачем же теперь упираться и мешкать?

Прежде чем я успела отбиться, он стиснул меня в объятиях и принялся неистово целовать.

— Лейтенант, пожалуйста! — взмолилась я. — Отпустите!

— Мне страсть как нравится, когда ты просишь.

Когда его рука добралась до груди, у меня дух занялся. Несмотря на весь мой испуг, сосок набух у него между пальцев.

— Вот видишь, моя радость, — уговаривал Томас. — Ты же сама знаешь, что хочешь меня.

Он плотно сжимал бедрами мне ноги, и я не могла шевельнуться. Его страсть ошеломляла, пыл передавался и мне.

Когда он распустил завязки на рубашке и ладонью накрыл мою грудь, я едва могла вздохнуть. Затем он взял ее в рот и нежно ласкал губами и языком.

— Чудесный персик.

Я уже почти совсем потеряла голову, однако со страхом думала, куда еще может добраться его жадный рот.

— И не говори, что тебе это не нравится. — Томас провел языком мне по груди.

В свете лампы он выглядел очень старым и похотливым.

Почувствовав, что я сдаюсь, он ослабил хватку. Я моментально извернулась и оттолкнула его. Он засмеялся, как будто это была игра, опрокинул меня обратно на постель и вжал лицом в подушку, а сам навалился сверху, прильнув ртом к шее, точно дикий зверь, настигший добычу. Я пыталась вырваться, а он тем временем задрал ночную рубашку выше талии.

— Пожалуйста, не надо!

Томас вздохнул и ладонями сжал мне ягодицы. Я и дернуться не успела, а его пальцы скользнули мне между ног. С удивлением и испугом я ощутила, как один палец забирается внутрь.

— Точно ключ в хорошо смазанном замке, — хрипло выдохнул Томас.

Я сражалась изо всех сил, пытаюсь ударить локтями и пятками. И уже почти стряхнула его с себя, когда ощутила, как что-то вдавливается мне в тело. С ужасом я вспомнила, какого размера у него член. Неужто он пытается засунуть в меня *это*? Я впилась зубами ему в руку, однако это не помогло. Я кричала, а Томас бился на мне сверху, с каждым толчком проникая все глубже. Внутри что-то натянулось, затем порвалось. Я задыхалась — Томас как будто забил собой легкие, горло. Я так и лежала на постели. Что еще мне оставалось?

— Элиза, Элиза!.. — стонал он.

Фермер вспахивает поле, разбивая сухие комья земли после засушливого лета. Прорубает дорогу сквозь заросли куманики и густые кусты. Пробивает туннель в меловой горе. Прогрызает кость. Почему мне никто этого не объяснил? Почему я не верила страшным сказкам, которые рассказывала София? Как же я могла ничего не знать?

Утром Томас выглядел удовлетворенным и счастливым. Он принес мне завтрак в постель и с нежностью расчесал волосы. Я не шевелилась, боясь, что любое мое движение может снова его подтолкнуть. Ах, где моя милая София? Так хотелось с ней поговорить! Когда она, бывало, шепотом сообщала мне правду Жизни, я отмахивалась и не верила. Эта выдумщица нарочно сочиняла бог весть что, желая подразнить меня и помучить. Что же — меня в самом деле ждет такое будущее? Всю жизнь не спать ночами, терпеть подобные атаки, а после выслушивать виноватое бормотание?

Следующие три дня я почти не раскрывала рта. Не выказывала ни волнения, ни любопытства. Не спрашивала, куда мы направляемся, не смотрела на мир вокруг. По вечерам Томас нежно меня целовал, желал доброй ночи и уходил к себе, однако по выражению лица я понимала, что все это — до поры до времени. Мы сели на плывущий в Ирландию корабль, затем сошли на берег, а я все еще не разговаривала. Из Вексфорда мы ехали в карете по грязным каменистым дорогам.

На четвертый день Томас мягко сказал:

— Мы можем пожениться в Ратбеггене. Мой брат может нас обвенчать.

Забившись в угол кареты, я поглядела на него холодно, без выражения. Я чувствовала себя разбитой, опустошенной и глубоко разочарованной. У меня не было никакого выбора, ни в чем. Ни сейчас, ни раньше — никогда. Неважно, куда я поворачивала, — результат

всегда был один и тот же. В ту ночь меня потрясла кровь на простынях, Томас же выглядел радостным и гордым. Я злилась на всех и каждого. В своей девичьей невинности я и не представляла себе более близких отношений с мужчиной, чем нежные поцелуи. При всех многочисленных разговорах о любви и романтической чепухе — и в школе, и с мамой — ни единая душа не позаботилась раскрыть мне глаза на грубую реальность. Я вспоминала женщин, которые держали меня в неведении, особенно мать. Она же сама поощряла Томаса, принимала его ухаживания. Это все ее вина. Он в ней разочаровался, и это разочарование просто-напросто перенес на меня.

А Томас говорил о венчании, как будто оно меня успокоит, умиротворит. Как будто я молчу лишь затем, чтобы заставить его жениться. Мне в ответ хотелось плюнуть ему в лицо. Однако в холодном свете дня было ясно, что выбора у меня нет. Вернуться я не могу. Нравится мне это или нет, Томас теперь — моя единственная семья.

Глава 10

Вечером накануне свадьбы я в последний раз примерила кремовое бальное платье. Увидев себя в зеркале, я едва удержалась от слез. Платье было чудесное, его следовало носить в мире роскошных балов и карет, в мире, где на цивилизованных улицах есть мощеные тротуары. В крошечной церквушке Ратбеггена, где должно состояться наше венчание, это платье будет смотреться просто нелепо. Я вспомнила свои радостные ожидания, надежды и мечты того дня, когда в этом платье появилась на своем первом балу в Бате. Затем я внимательно рассмотрела свое отражение. Пожалуй, теперь я выглядела старше и увереннее в себе. Замужество давало определенные преимущества, да и Томас, если забыть наши конкретные обстоятельства, не такой уж скверный жених. По крайней мере, он еще не стар, не лыс и имеет собственные зубы. Уже много дней, как он нежен и заботлив — помогает сесть в экипаж или выйти из кареты, поддерживает меня под локоть, берет за руку. В конце концов, он мог бы меня просто-напросто бросить, и что бы тогда со мной случилось? Порой, когда он улыбался или рассказывал забавную историю, я вспоминала, почему он в самом начале пришелся мне по душе. Жизнь — ряд грубых пробуждений, но это ведь лучше, чем жить в приснившемся мире, убеждала я себя. Я утерла слезы с глаз, затем аккуратно завернула роскошное бальное платье в бумагу и положила в сундук. Томас прав: надеть скромное платье из овечьей шерсти куда как разумнее; к тому же в нем гораздо теплее.

В день нашего венчания дождь хлестал густыми серыми струями, и мне пришлось бегом бежать от кареты через церковный двор, чтобы не промокнуть до нитки. В самой церкви почти не было цветов, лишь горшок с желтым утесником и белыми хризантемами, которые чаще увидишь на похоронах, чем на свадьбе. Венчал нас брат Томаса; его жена и ребенок были единственными свидетелями. Томас был в своем мундире, а я в синем шерстяном платье, под которое надела шерстяную же сорочку.

Торопливо шагая к алтарю, я вдруг осознала и прочувствовала всю драматичность события. Ведь мы же сбежали вместе, в конце-то концов! Что может быть романтичнее? У алтаря я улыбнулась Томасу, крепко сжала его руку. Викарий бесконечно чихал, и я с трудом подавляла неуместное хихиканье. Поклявшись друг другу в верности, мы с Томасом дрожали от холода в объятиях друг дружки. «Мой муж», — шептала я неслышно, наслаждаясь сочетанием двух коротких слов. Отпраздновали чаем и глазированным бисквитом. Хоть и

вышло все очень скромно, я была довольна. Желай я свадьбы с сотней гостей и роскошным угощением, могла бы выйти за судью.

Родовое гнездо моего супруга находилось в Вексфорде, у подножия горы, которая полдня загорала солнце. Дом был основательный, квадратный и назывался Бэлликристалл, хотя ни на какой кристалл ничуть не походил. Мой свекор был вдовцом; в доме постоянно бывали гости, но в сущности он жил один. Отсутствие хозяйки сказывалось: дом был порядком запущен, повсюду лежала пыль. Куда ни войди, в каждой комнате наткнешься на удочки, ружья, седла, сапоги.

Отовсюду съезжалась новая родня, чтобы поглядеть на супругу Томаса. Меня знакомили с родственниками и местной знатью; нас посетили мировой судья, викарий и даже врач. Порой всерьез казалось: сейчас кто-нибудь начнет осматривать мне зубы. Томас с огромным удовольствием сообщал всем и каждому, что я происхожу из достойной англо-ирландской семьи; я чувствовала, как постепенно вплетаюсь в паутинку местного общества, как меня принимают во взрослую жизнь замужней женщины.

— Это моя жена Элиза, — с гордостью объявлял Томас. — Ее мать из семейства Оливеров в Корке.

Люди кивали, приподнимали брови, обменивались удивленными взглядами.

— Не из тех Оливеров, что живут в замке Оливер?

— Из тех самых, — уверял Томас, сияя. — Дед Элизы по материнской линии — сэр Чарльз Сильвер Оливер.

Викарий крепко сжал мне руку, мировой судья поклонился, доктор погладил усы.

— Вот как оно, — промурлыкал он.

— Сэр Оливер был шерифом Корка, — самодовольно сообщил мой супруг. — Так же, как до него — его отец.

Томас излагал подробно, если гость не был близко знаком с обществом того самого Корка. В таких случаях он испытывал приступы невероятной скромности, и разговор очень быстро переходил на другое. О том, что моя мать — незаконнорожденная, Томас не сообщал, а о сомнительных предках моего отца ни разу не обмолвился ни единым словом.

Жизнь в Бэлликристалле неторопливо проходила в охоте и бесконечных чаепитиях. Женщины в семействе Джеймс были вялые, бледные и скучные, а мужчины готовы стрелять во все, что попадется на глаза. Совершенно не похожи на меня, как будто в наших жилах не текла одна и та же ирландская кровь. Когда мне случалось выезжать на лошади в одиночку, я часто встречала местных крестьян и с некоторым смущением видела, что как раз у них такие же черные волосы и синие глаза, как у меня.

Однажды я чуть не задавила молодую пару, которая шла по проселку навстречу. Мне пришлось натянуть удила и остановить лошадь, потому что они и не подумали отступить в сторону. Оба они были босые, какие-то совершенно дикие. У женщины на голове был платок, мужчина тащил корзину с дерном. У обоих были одинаково густые, блестящие волосы и яркие живые глаза. Они просто стояли и смотрели на меня, и пришлось сказать, чтобы они посторонились и дали проехать. Худые, одетые скверно, чуть ли не в нищенские лохмотья, они при этом казались непомерно гордыми. Пришпорив лошадь, я ускакала, но в душе еще долго жило непонятное беспокойство.

Для окружающих мы с Томасом ничем не отличались от любых других молодоженов. Если я порой впадала в уныние или Томас вел себя чересчур властно, никто ни о чем не спрашивал, не высказывал свое мнение. Между нами стояло воспоминание о той ночи, когда он мной овладел; я ни на минуту не забывала, что мне ничего не остается, кроме как подчиняться — и на людях, и наедине. Пока я была уступчива и послушна, Томас улыбался и был само очарование.

Не прошло и нескольких недель после нашего бегства из Бата, как Томас завел речь о предмете, в котором я оказалась совершенно несведуща. Выяснилось, что любовь и деньги сложным образом связаны друг с другом. Еще до того, как нам пожениться, Томас просил меня написать матери в надежде получить ее согласие. Второе письмо, тоже якобы от меня, намекало, что неплохо бы выделить мне кое-какие деньги. Когда мама отказала в благословении, Томас принялся открыто требовать.

— Твой отчим — майор, черт побери! Уж конечно, они должны дать тебе приданое!

Порой он начинал петь по-другому:

— Сокровище мое, ты привыкла жить в условиях, которых я при всем желании не могу обеспечить. Если б я мог осыпать тебя жемчугами и подарками, я бы так и сделал, ты знаешь. Было бы естественно, если б твои родители выразили желание нам помогать.

Неделя шла за неделей, и я постепенно осваивалась в новой жизни. Становились понятнее разговоры моих золовок и прислуги на кухне. В доме было беспокойно: до моих ушей доносились слухи о том, что скот крадут, на доверенных лиц нападают в дороге, на дверях конюшни появляются записки с угрозами. Однажды я в холле столкнулась с сестрами Томаса, Джейн и Амелией, которые несли поднос с едой в нежилое крыло дома. Я осведомилась, куда и зачем они направляются. Переглянувшись, они позвали меня с собой.

— Сестра, пойми, — сказала Амелия, — нам приходится сносить от мужчин знаки внимания, но некоторые женщины платят страшную цену.

— Приготовься, — добавила Джейн, — познакомиться с Сарой, женой Майкла Джеймса.

Комната Сары находилась в конце коридора, куда, как я думала, никто не заходит. Стоило Амелии открыть дверь, в нос ударила густая вонь. Комната была пропитана смрадом отхожего места. Увидев меня, жена Майкла Джеймса растерялась.

— Не волнуйся, — проговорила Джейн, — это всего лишь молодая жена Томаса.

Сара оказалась маленькой худенькой женщиной с острым личиком и нервными руками. Волосы у нее были светлые, с теплым медовым отливом, парчовое платье — нежного цвета в мелкую полоску. Не будь Сара такой худой, она была бы очень миловидной. Улыбнувшись принужденной вежливой улыбкой, она жестом предложила нам сесть.

— Извините, — сказала она смущенно, — тут ничего не поделаешь.

Пока мы вымученно вели беседу о последней моде в Бате, Сара то и дело проводила рукой по юбкам, приглаживая ткань, словно желала сказать: «Будь моя воля, я бы стерла этот ужасный запах».

— Я люблю своих детей, — призналась она. — Это меня и поддерживает.

— Но зачем же вы прячетесь? — выпалила я, не подумав.

Джейн коснулась моей руки, призывая молчать, Амелия покачала головой.

До сих пор я не имела представления о том, как рождаются дети, и от всей души пожалела, что об этом узнала. Как оказалось, случай с Сарой — далеко не единственный. В

сущности, ей повезло, что она осталась жива. Когда она рожала второго ребенка, ее внутренние органы порвались; сколько бы она ни мылась, ее сопровождал запах мочи и испражнений. Муж регулярно присылал деньги, но редко ее навещал. Когда приезжали дети, они тоже очень скоро начинали испытывать отвращение. Бедная Сара жила совсем одна в нескольких пустых комнатах.

Когда мы уже собрались уходить, она схватила меня за руку:

— Томас — хороший человек. Но вам, Элиза, придется научиться всяким штукам, чтобы держать его на расстоянии. Вовсе незачем торопиться с детьми, что бы он ни говорил.

В ту ночь после близости с мужем я принялась особо тщательно мыться в надежде, что удастся смыть риск забеременеть. И ломала голову над словами Сары. Какие такие штуки смогут удержать Томаса на расстоянии? Он сладко спал, а я с силой терла бедра, пока не ссадила кожу.

Не могу сказать, что я была несчастлива с Томасом. Уютно устроившись в постели вечером, в тепле и безопасности под боком у мужа, я утром просыпалась — и он был тут же, и мне по-прежнему было уютно и тепло. Мне доставляли удовольствие семейные мелочи — отряхнуть ему плечи, опереться на его руку, вложить пальцы в его сильную ладонь. Он меня забавлял, удивлял и радовал приятными неожиданностями. Однако я думаю, по прошествии некоторого времени его охватило такое же беспокойство и жажда перемен, как и меня. Дома он был занят только охотой да приемами гостей, и, когда он заговорил о возвращении в Индию, я обрадовалась.

Конечно, я стала чувствовать себя спокойнее, привыкла быть с Томасом на людях. Я даже позволяла себе поддразнивать его, возражать и отгрызаться. Однажды мы всей семьей играли в карты; у Томаса на руках был *фул*^[7], и мой муж глядел победителем. Однако я выложила козырного туза и выиграла. Его отец засмеялся, Амелия подавила усмешку. Томас мгновенно пришел в дурное настроение, замкнулся, замолчал и весь оставшийся вечер дулся.

Я уже легла в постель, когда он явился в спальню, разделся, забрался на меня сверху и отбросил прочь книгу, которую я читала. Томас стоял надо мной на коленях, голый и возбужденный. Нагнувшись ниже, он потребовал, чтобы я взяла его мужскую плоть в руки.

— Делай, что сказано! — велел он.

Я отпрянула, но он схватил мою ладонь и положил, куда хотел. Я впервые коснулась этого его органа. Под рукой пульсировала кровь. Томас прижал пальцами мою руку и принялся двигать ее вверх-вниз.

— Не вздумай еще раз меня унижить, — проговорил он.

— Но это же была всего лишь игра, — возразила я робко.

— Сильнее, — велел он. И добавил: — В Индии женщины умеют удовлетворить мужчину ртом.

Я пришла в ужас, а он засмеялся.

— Ну, давай! — Он сунулся к самому моему лицу.

Отверстие на головке его члена уставилось, словно жадный глаз. В нем выступила беловатая капля, упала. Прежде чем Томас сумел добиться своего, я со всей силы его оттолкнула. И тут он закатил мне такую пощечину, что зазвенело в голове. Лицо у него подергивалось и кривилось.

— Научишься, — посулил он.

Натянув одежду, Томас вывалился из спальни, и спустя несколько минут я услышала

удаляющийся конский топот. Я лежала, держась за щеку, которая так и горела. Вспоминала, как мы с Софией, смеясь, рассуждали о том, какие у нас будут мужья. Когда появился Томас, я подумала: «Если уж надо выйти замуж, то почему бы и не за него?» Наверное, все мужья так обращаются с женами. Придется каким-то образом научиться смирять свою гордость. Закрыв глаза, я попыталась уснуть. Такова жизнь в браке, и надо к ней привыкнуть. Нравится мне это или нет, Томас все равно попытается вылепить меня такой, как ему хочется.

Вернувшись утром, он был полон раскаяния, целовал мне глаза, щеки, кончик носа.

— Милая, мне очень-очень жаль. Ничего подобного никогда больше не случится. Мне нужно дело; я должен быть чем-то занят. Когда приедем в Индию, заживем превосходной жизнью, я обещаю. Ты будешь заниматься домом, а я буду работать.

Я поинтересовалась, где он провел ночь, однако Томас не объяснил.

Когда мы уезжали из поместья, на дороге я увидела знакомую чету молодых дикарей. Они посторонились к обочине, чтобы наша карета проехала. На тележке, которую вез мужчина, среди убогой мебели и нищенского тряпья были втиснуты двое чумазных ребятишек. Вдали горела соломенная крыша дома.

— Что случилось?

Томас повел плечами.

— Отец очищает поместье. Арендаторы приносят жалкие гроши; выгоднее разводить скот.

Проезжая мимо, я выглянула в окно кареты, ожидая увидеть гневные, дерзкие взгляды в ответ. Однако дикари отвели глаза. Я ощутила странное разочарование, словно хотела увидеть их ярость — чтобы они потрясали кулаками, кричали, бранились. Но женщина лишь натянула платок на лоб, а мужчина согнулся ниже, сдвигая с места свою тележку. На меня они даже не взглянули.

Глава 11

Запах Индии окутал меня, охватил теплыми объятиями, проник в ноздри, забрался во все поры. Наш корабль подплывал к порту Калькутты, и я глубоко дышала, задерживая дыхание после каждого вдоха. Запахи чеснока и табака смешивались с ароматом жасмина и духом коровьего навоза; в неподвижном горячем воздухе плыл запах перца и сандалового дерева. Когда мы сошли на берег, я улыбнулась Томасу, а он сжал мне руку. Мы ступили на причал, предвкушая приятную жизнь в Калькутте среди соотечественников; однако неожиданно выяснилось, что Томасу предстоит отправиться в Богом забытый уголок Северной Индии.

Готовясь к далекому путешествию, мы пытались увидеться с моим отчимом и мамой. После моего побега с Томасом мама возвратилась в Индию; за прошедшие с той поры два года я получила от нее лишь одно письмо. В Калькутте Томас целых полмесяца слал письма, оставлял визитки, просил что-то передать на словах. В конце концов отчим ответил, что он бы с удовольствием нас принял, но последнее слово — за моей матерью. За день до нашего отъезда она все же согласилась, чтобы мы нанесли ей визит.

В то утро я оделась с особым тщанием, в одно из платьев, что были сшиты для моего приданого.

Она приняла нас в гостиной и поздоровалась очень холодно. Я подошла, думая ее

обнять, но мама выставила перед собой руку, не подпустив меня к себе.

Сердце у меня колотилось, готовое разорваться. Хотелось умолять о прощении, сжать маму в объятиях, смять ее платье, взъерошить ее безупречно уложенные волосы.

Услышав наши новости, она не потрудилась подавить усмешку.

— Это — повышение. Вы должны быть довольны. Твоему отчиму пришлось изрядно похлопотать за твоего супруга.

Я так и осела в кресле. Значит, это ее месть.

Томас проглотил вскипевший гнев, поднялся на ноги.

— Несомненно, мы перед вами в долгу, — произнес он. — Я оставлю вас на несколько минут одних.

Он вышел, и мама обратила на меня вопросительный взгляд.

Кашлянув от волнения, я нерешительно предложила:

— Быть может, мы могли бы стать друзьями?

— Давай не будем притворяться, — ответила она. — Ты пренебрегла моими желаниями себе во вред. И не получишь ни гроша ни от своего отчима, ни от меня.

Ее слова уязвили меня в самое сердце.

— Ты нарочно не хочешь меня понять.

Мама подняла отложенное рукоделие, решительно вонзила иголку в ткань.

— Тебя ждет муж.

Следующие четыре месяца мы провели, поднимаясь к верховьям Ганга на колесном пароходе. Река была три мили шириной; местами течение было настолько сильное, что оно сносило наш пароход, и тогда мы бросали якорь, а потом нас тащили на буксире. Днем полкаюты был испещрен узенькими полосками света, пробивающегося сквозь жалюзи. Ночами мы с Томасом лежали в полной истоме, липкой жаре, лениво поддразнивая друг дружку. Возможно, благодаря тому, что мы бесконечно куда-то плыли, а время как будто остановилось, я начала находить удовольствие в физической близости.

С нами вместе плыл сержант с женой-англичанкой. Эвелина была хрупкая женщина с мышиного цвета волосами и серыми глазами. Она впервые оказалась в Индии, и малейшее происшествие ее огорчало или пугало.

Однажды, когда мы пили чай, мимо проплыли остатки погребального костра. На плотике лежал почерневший труп, на одном краю уцелел кусок гирлянды из желтых цветов, над сложенными горкой благовониями курились дымки. Эвелина впала в истерику.

— Это невыносимо! — кричала она.

— Ну, Эвелина, не надо, успокойтесь, — утешала я, как могла.

Она так и не привыкла к жизни на реке. Обнаженный святой человек, ребенок-калека, дремлющий аллигатор — все приводило ее в смятение.

— Ну как они могут?! — вопрошала она, когда мимо проплывал очередной плотик с покойником.

— У них так заведено, — объясняла я. — Они считают Ганг священной рекой.

Эвелина была безутешна. Увидев нечто, оскорбляющее взор, она отворачивала голову. А для меня мало что изменилось. Я смотрела на окружающее глазами взрослой женщины, сохранив воспоминания ребенка. Приближаясь к Динапуру, где был похоронен отец, я думала о нем все чаще и чаще. Когда Томас предложил навестить его могилу, я отказалась, предпочитая воображать, будто отец лежит под бескрайними полями маков и майса.

После Динапура мы миновали священный город Бенарес. По берегам тянулись храмы, воздух был насыщен благовониями и молитвами. У кромки воды толпились тысячи людей, до нас доносились жалобы и стенания, в самой воде у берега кишели живые и мертвые. Эвелина убежала в каюту и опустила жалюзи. Мне казалось, что мы достигли самого сердца Индии. Забрались так далеко, что, наверное, уже невозможно вернуться назад.

В Бенаресе я слышала шепот реки; она как будто говорила мне: «Прими свою судьбу».

Когда священный город остался далеко позади, река сузилась, и течение стало сильнее. Последнюю часть пути мы проделали по суше. В паланкинах мы плыли через поля стручкового перца и клещевины^[8]. С детства помню, как носильщики пели на ходу, но в этот раз не звучали ни песни, ни смех. Носильщики были мрачны и тихи, а когда я смотрела на них, они отводили взгляд.

Мы прибыли в Карнал в мае, когда стояла изнуряющая влажная жара. Дом у нас был одноэтажный, из шести комнат с верандой; в нем были высокие потолки, а беленые стены — больше фута толщиной. Стоя на веранде, я видела вдалеке подножие Гималаев. Казалось, горный воздух добирается сюда, ко мне, и холодит кожу. Первым делом я купила растения, которые помнила с детства, и высадила их возле дома. Вскоре распустились первые желтые, красные, белые цветы, стремительно поползли, извиваясь, побеги. Не прошло и месяца, как цветы уже грозили оплести дом по самую крышу.

Находясь в доме, я не могла ни думать, ни дышать без того, чтобы за мной не наблюдали несколько пар глаз. Экономка, столовая прислуга, повара, поваренок, подметальщик, садовник, посыльный и горничная — все они пристально следили за каждым моим движением. Я ни на минуту не оставалась одна. Каждый из слуг имел свои собственные обязанности, и они искренне полагали, что моя роль столь же четко очерчена. Стоило мне сделать хоть что-нибудь, отдаленно напоминающее ручной труд, они приходили в замешательство, как будто я совершила нечто постыдное. Если я брала лампу и переносила ее в другой угол, слуга, в чьи обязанности входило подавать на стол, чуть приметно качал головой; если утром я одевалась без посторонней помощи, горничная обижалась.

Спустя несколько дней я уяснила, что все важные решения в доме принимает экономка — царственная Джасвиндер. Все в ней: тонкие запястья и лодыжки, поворот головы, ее снежно-белое сари — выдавало женщину, обладавшую природной грацией и величавостью. Именно она правила в доме, а вовсе не я. Мне приходилось то и дело себе напоминать, что я здесь — хозяйка; я решала, что приготовить на обед и ужин, и отдавала распоряжения, однако Джасвиндер отнюдь не всегда их выполняла.

— Если вам угодно, — говорила она, однако по легчайшему дрожанию ресниц я понимала, что она не одобряет мои приказания.

В первый месяц я тщетно пыталась установить в доме собственную власть. Если я не обращалась к Джасвиндер с отдельной просьбой что-то сделать, ничего и не делалось. Всяческие домашние беды следовали одна за другой, а она лишь беспечно наблюдала. Фортепьяно сгрызли термиты. Процессии этих огромных белых муравьев тянулись по дому, сжирая камышовые циновки на полу. В одну неделю я заказывала слишком много муки, в другую — слишком мало. Порой я неумышленно обижала слуг просьбами сделать что-нибудь, не входящее в круг обязанностей их касты. Кроме того, я ухитрилась велеть повару-мусульманину приготовить свинину, а говядину заказала индуисту. Если я ослабляла бдительность, соль и сахар исчезали бесследно.

— Почему меня не предупредили? — вопрошала я после досадных оплошностей.

— Мемсахиб^[9] не спрашивала.

Вскоре я поняла, что в Индии домашняя жизнь строится при строгом соблюдении целого набора правил; беда была в том, что я этих правил не знала. Кончилось тем, что я стала во всем советоваться с Джасвиндер.

— Предоставьте это мне, — говорила она с легкой улыбкой.

Спустя несколько недель я уже полностью от нее зависела. Мне хотелось ей угодить, я очень старалась и все равно совершала мелкие оплошности, а она молча, дрожанием ресниц, меня укоряла. Лишь через несколько месяцев я поняла, что от меня требуется; и только когда я полностью отказалась от мысли, будто в доме от меня что-то зависит, все пошло как надо. Едва установилась должная иерархия, слуги успокоились. Они отлично справлялись с домашним хозяйством без меня, справятся и впредь. Одна белая мемсахиб мало отличается от другой, читала я во взглядах, которыми они обменивались.

В соседнем доме Эвелине приходилось еще хуже. Слуги ее пугали, москиты безжалостно кусали ее бледную кожу, ноги отекали и опухали в жаре.

— Хочу домой! — жаловалась она.

— Эвелина, пожалуйста, не плачьте, — просила я.

Я предложила ей не носить чулки — хотя бы в жаркий сезон, — но она пришла в ужас.

— Как можно?! Что люди обо мне подумают?

Она часами лежала на веранде, выливая кувшин за кувшином холодной воды на свои обтянутые чулками ноги.

Однажды я застала ее у письменного стола в слезах; Эвелина пыталась руками удержать разлетающиеся бумаги. Многочисленные письма и счета летали по всей комнате, ручки скатились на пол, несколько книг Эвелина уронила сама. Подвешенные под потолком опахала создавали изрядный ветер; мальчишка-индиец как ни в чем не бывало приводил их в движение, пока я не велела ему перестать.

— Все бумаги нужно придавливать, — объяснила я Эвелине, указав на кучку медных гирек в углу.

— А мне и в голову не приходило, — растерянно ответила она.

— Надо постараться держать слуг в руках, — продолжала я.

Тут она горестно вздохнула.

— Слуги меня ненавидят. И ночами я не могу спать из-за насекомых и всяких звуков. Лягушки, цикады, да еще какая-то птица все время пронзительно орет.

— Ме-нин-гит! Ме-нин-гит! — прочирикала я.

Эвелина испуганно утерла слезы.

— Боже, помоги мне!

— Разве это не то, что вы слышите? Это же крик птицы-менингитки.

Она обиженно поджала губы.

— Могли бы прямо так и сказать.

Как-то раз я нашла ее у стола, который целиком, с ней вместе был накрыт чехлом из кисеи. Эвелина сидела без чулок, поставив ноги в тазик с холодной водой.

— Элиза, не смейтесь, — попросила она. — Я не могу, когда меня кусают; а все прочее уже неважно.

Когда Томас возвращался домой, наша семейная жизнь опять же проходила на глазах у

слуг; у нас почти не было возможности поговорить наедине, и мы беседовали с бесконечными недомолвками, помня про чужие уши. Томас стал нервный, настроение у него стремительно менялось. То он был приветлив со мной и улыбчив, то вдруг впадал в молчаливую хандру.

— В чем дело, Томми? — спрашивала я.

— Разве не ясно? — отвечал он.

Если он бывал груб и резок, я пыталась завоевать его расположение; когда он сердился, мне хотелось видеть его улыбку. Когда ему случалось быть в добродушном и веселом настроении, я всячески это настроение поддерживала и старалась вызвать его на разговор.

Он занимался вербовкой и обучением солдат-индусов; должность он занимал более высокую, чем прежде, но работа ему не нравилась. Томас являлся домой под вечер и без сил падал в кресло.

— Три побега, пропавшие сапоги, множество краж. Не сомневаюсь, что твой отчим меня наказывает.

— Тяжелый день?

— Чертовы туземцы! Они кивают и кланяются, но что бы я ни говорил — как об стенку горох!

Вечером, когда становилось прохладнее, он с другими офицерами выезжал на охоту и стрелял во все, что движется. Позже он складывал у моих ног трофеи; после удачной охоты Томас бывал совершенно счастлив.

— Ты погляди! — сиял он улыбкой. — Из этого выйдет настоящий пир, а?

Мы с Джасвиндер переглядывались. В том, что касалось моего супруга, мы с ней обычно бывали едины. Добытая куропатка или заяц даже с виду были жесткими, павлин выглядел растрепанным и тощим. Из опыта мы обе знали, что куропатка выйдет безвкусной, а павлин годен лишь в острый суп с пряностями.

— Посмотрите, что можно сделать, — шептала я.

Когда подавали ужин, Томас с аппетитом его наворачивал.

— Это моя куропатка? — спрашивал он. — Нет ничего лучше, чем добывать на охоте себе пропитание.

Вялыми дремотными днями я занималась рукоделием. На случай, если мама смягчится и пригласит меня навестить ее в Калькутте, я принялась нашивать на платья новые воротнички, менять нижние юбки. Потом вышила монограммы на постельном белье и носовых платках. Затем поняла, что следует украсить салфетки на спинках мягкой мебели и диванные подушки. Вскоре мир сузился до размеров пялец, на которых я вышивала. Главным моим достижением стало покрывало, разделенное на множество частей, каждая из которых была украшена своей картиной из индийской жизни. Начала я скромно, с видов гор и рек, затем начала вышивать храмы и диких зверей и птиц. Потом перешла к более драматическим событиям; иголка так и сновала туда-сюда. На моем покрывале индийский лев пожирал британского офицера, на талии почтенной дамы сомкнулись челюсти крокодила, слон уносил в джунгли юную девушку.

Прошло два года после свадьбы, когда Томас завел разговор о ребенке. Мы лежали в постели, проведя свободное утро в нежных ласках.

— Быть может, это как раз то, что тебе нужно, — сказал он, тихонько поглаживая мне

живот.

Я хотела подняться, но он схватил за плечи и удержал.

— Полежи со мной. Пусть ребенок там укрепится.

Даже в глазах Джасвиндер читалась жалость.

— Все еще нет маленького сахиба? — спрашивала она. — Думаю, нужно давать сахибу больше рыбы и яиц.

— Но я не хочу ребенка, — возражала я.

— Конечно же, хотите. Все женщины хотят детей.

Томас заговаривал об этом все чаще:

— Может, с тобой что-то не так? Хочешь, отвезу тебя в Калькутту, к врачу? Пусть проверит, все ли в порядке.

Я отмалчивалась. Мне было всего лишь девятнадцать, и вот уж чего-чего, а ребенка я не хотела вовсе. Мало-помалу я поняла, что имела в виду бедная больная Сара, когда толковала о «штуках», которые могут удержать мужчину на расстоянии. Если я жаловалась на сильную головную боль, Томас порой оставлял меня в покое. Малейший намек на женское недомогание заставлял его бледнеть и уходить в свою спальню. Однако несмотря на все мои усилия, он все чаще и чаще оказывал мне внимание. Он проявлял свою любовь после охоты, после светского раута, если я танцевала с кем-то другим. И однажды, когда он вернулся с офицерской пирушки, случилось неизбежное. Я проснулась среди ночи, обнаружив Томаса в своей постели; он усердно трудился. Некий инстинкт подсказал мне, что я зачала. «Боже, — просила я, — пусть это окажется неправдой!» Однако в животе у меня как будто затянулся крошечный узелок, и я точно знала, что там укоренилось нечто живое.

Вскоре после этого начался дождливый сезон. Сначала небо посерело от пыли, затем в нем принялись громоздиться темные тучи; загрохотал гром, хлынули потоки дождя. Крыша протекала, и мы спали под огромными зелеными зонтами. Воздух кишел насекомыми, огромные мотыльки падали в еду. Однажды, когда за обедом муж Эвелины с важным видом разглагольствовал о туземцах, в рот ему залетел навозный жук. А после обеда я застала на веранде Томаса с женой капитана. Миссис Ломер была дородная дама тридцати пяти лет, с темным румянцем на щеках. Когда я их увидела, она вынимала стрекоз, запутавшихся у Томаса в шевелюре. Я мысленно усмехнулась. В ее-то возрасте — флиртовать? Вот уж нелепица какая.

По соседству зеленая плесень в одну ночь покрыла книги и обувь Эвелины. Картины на стенах гнили.

— Надо все убирать, — сказала я ей.

— Все? — переспросила она, чуть не плача.

Тот вечер не предвещал ничего необычного. Дожди прошли, и, стоя на веранде, я видела свежий, обновленный мир. Томас вернулся из офицерского клуба, раскрасневшийся после выпитого виски. Мы сели к столу; главным блюдом сегодня была курица, приготовленная в подливке из цесарки: в дело пошел бульон и сок, который цесарка дала при жарке, а само мясо никуда не годилось.

— Приятного аппетита, — пожелала я по-французски.

Томас проглотил несколько кусочков, потом вдруг помрачнел и принялся ковырять вилкой в тарелке.

— Ты морочишь мне голову, — проговорил он наконец. — Это не та птица, которую я поймал.

Растерявшись, я не нашла с достойным ответом.

— Пожалуйста, не при слугах.

— Мне плевать на слуг! Это моя цесарка или нет?

— Томас, ну пожалуйста.

Он бросил на меня яростный взгляд, затем смел тарелку на пол. Она раскололась на две половинки, подлива забрызгала пол.

Мы оба поднялись на ноги; Томас тяжело дышал.

— Ты думаешь, это со мной что-то не так, да? — выговорил он.

— О чем ты?

— Ты прекрасно знаешь о чем.

— Томас, ты меня пугаешь. О чем речь?

— Какого черта ты еще не беременна?

Я сглотнула и села на место.

Уже несколько недель я чувствовала, как внутри растет ребенок, маленький и жесткий, будто каштан. По какой-то мне самой не ясной причине я еще не сказала об этом мужу.

— Пошла вон с глаз моих! — рявкнул он.

Я уже открыла рот, чтобы выложить ему свою новость, но тут в комнату вошла Джасвиндер. Остальные слуги стояли недвижимым рядом у стены, глядя куда-то сквозь стену; Джасвиндер замешкалась у двери.

Нависнув над столом, Томас дышал мне в лицо.

— Томас, пожалуйста, — прошептала я умоляюще.

Внезапный удар ожег щеку, голова у меня мотнулась. В глазах Джасвиндер мелькнул ужас. Когда Томас, случалось, поднимал на меня руку прежде, это все же было за закрытыми дверями. Когда он силой заставлял меня его ласкать, я старалась не огорчаться, полагая, что за все приходится платить, в том числе и за брак с офицером. Но унижать меня на глазах у прислуги? Ничего хуже быть не могло.

На следующее утро я проснулась в жару. Каждая косточка болела, словно ее безжалостно выворачивала невидимая рука. Я дрожала от холода, а лоб горел. Скоро меня уже рвало кровью. Когда пришла Джасвиндер, я не могла заставить себя взглянуть на нее. К середине дня жар спал, с меня начал лить пот, затем все повторилось снова.

Джасвиндер вытирала мне лоб, давала хинин. Доктор сказал, что это малярия, советовал попоститься, затем сделать кровопускание. Когда пришел Томас, я отвернула лицо.

Я провела в постели три недели и все это время была так слаба, что едва могла шевелиться. Пошла четвертая неделя, когда я неожиданно проснулась ночью с острой болью в животе. Боль пронзала раскаленными иглами снова и снова. Добравшись до ванной комнаты, я схватилась за край ванны, но не удержалась на ногах, опустилась на корточки. Мышцы живота сжимались и скручивались; боль усилилась, я едва подавила крик. Вдруг бедра у меня сделались мокрыми, и между ног появилось отвратительное, покрытое слизью существо. Несколько мгновений я оцепенело смотрела на него. Ребенок был еще мало похож на человека, словно будущая статуя, к которой скульптор едва приступил с резцом. Он был теплый, но мертвый, в синих, лиловых и розовых пятнах.

В слепой панике, ни о чем не думая, я завернула его в простыню и спрятала под

одеждой. К тому времени, когда явилась служанка, я уже связала в узел испачканные простыни и затерла кровь.

Еще не рассвело, когда я верхом отправилась к лесу, перевязав себя, как сумела. Грязные простыни я затолкала в дупло, а затем вырыла ямку у корней капока [\[10\]](#). Ребенка я так и похоронила в простыне, надеясь, что на этом все и закончится. Но когда я утрамбовала и пригладила холмик, перед глазами закачались, махая мне, крошечные младенческие пальчики. Прошел еще месяц, прежде чем я поправилась. Когда наконец поднялась с постели, я была худущая, опустошенная физически и душевно. И желтая.

Глава 12

В октябре установилась холодная погода, дома и деревья были окутаны густым, будто дым, туманом. Я начала ускользать из дому и отправляться в далекие бесцельные прогулки, однако они не приносили ни успокоения, ни усталости. Часто, безо всякой причины, я вдруг начинала плакать. Как-то раз, когда бродила далеко за пределами расположения гарнизона, я наткнулась на попавшегося в капкан камышового кота. Едва я приблизилась, кот зашипел, разинув пасть с острыми клыками, вздыбил шерсть. Угодившая в капкан лапа сильно кровоточила, виднелась обнаженная кость. Зубья у капкана были страшные, словно у какого-то первобытного чудовища. Когда я попыталась их разжать, кот впился мне в руку. Однако же я не отступила, кое-как мне удалось втиснуть внутрь рукоять плети, нажать пружину, и капкан раскрылся. Кот тут же прыгнул на меня; от неожиданности я свалилась спиной в кусты. Пока выпутывалась из сучьев и ветвей, он заковылял на трех лапах прочь — и скрылся в зарослях.

Падая, я подвернула ногу, и каждый шаг отзывался болью. Вернувшись домой, я молча проковыляла мимо слуг к себе в спальню.

Там, усевшись к зеркалу, я рассмотрела свое отражение. Платье было порвано, рука покусана, на щеке краснела царапина, однако впервые за несколько месяцев я ощущала себя по-настоящему живой. Когда камышовый кот скользнул в заросли, мне захотелось последовать за ним. Хотелось знать, куда он направился, есть ли у него дом.

В тот вечер мы с Томасом сели обедать, как обычно. Он не заметил ни следов укуса на руке, ни царапины у меня на щеке.

После обеда я пошла к себе, села к письменному столу, достала самую лучшую писчую бумагу и долго сидела, задумчиво глядя на чистый лист. Мне едва исполнилось двадцать лет, и должно же быть в жизни что-то еще, кроме джунглей и дома с индусской прислугой.

В школе мы с Софией сочиняли себе новые имена, родителей, даже национальность. «Ты можешь быть кем только захочешь», — шепнула она в день нашего знакомства, и мы играли, будто мы — актрисы, русские царевны, наследницы английского престола. Будущее было неведомой пока землей, где нас ждут восхитительные приключения и чудесные возможности. Теперь я часто задавалась вопросом, что случилось с моей подругой. Она оставила адрес, куда писать, и я регулярно слала письма, однако ответа не получала. Мне нравилось думать, что София счастливо вышла замуж за виконта или герцога и ведет жизнь светской красавицы в Лондоне. Из отреза небесно-голубого тюля, который она мне подарила на память, я сшила роскошную юбку. Стоило ее надеть, как меня словно окутывало яркое летнее небо.

Наконец я обмакнула перо в чернильницу и вывела на листе бумаги первое слово; рука дрожала. «Дорогая моя мама», — написала я.

Вскоре я получила ответ, краткий, резкий. Быть может, ты приедешь на следующий год, сейчас — время неподходящее. Видимо, ей удалось что-то вычитать между строк.

У Эвелины к тому времени уже родился бледный, болезненный ребенок. Оба они носили парусиновую обувь со шнуровкой до колен и все время проводили под чехлом из прозрачной ткани, который слуги по мере надобности переносили с места на место. Со мной о детях больше никто не заговаривал. Эвелина порой пыталась залучить меня в гости, но мне проще было вырвать язык, чем болтать о пустяках. Домашними делами целиком и полностью ведала Джасвиндер, хозяйство было отлично отлажено. Невзирая на возражения Томаса, Джасвиндер и Эвелины, я начала каждый день уезжать из дому на лошади, одна.

— Это опасно, — увещевала Джасвиндер.

— Я запрещаю, — говорил Томас.

— Что скажут люди? — ужасалась Эвелина. — Вам нужен спутник, нельзя же разъезжать одной!

Поначалу я ездила в дамском седле, однако верхом оказалось несравненно удобнее — лишь так можно было ускакать в горы. С каждым разом я забиралась все дальше.

К развалинам одного из храмов я возвращалась снова и снова. Его стены были испещрены именами европейцев, главный вход заложен кирпичом. Я обследовала здание в поисках другого входа, невольно разглядывая надписи на стенах. На мягком белом камне были вырезаны имена солдат, офицеров и их возлюбленных, и под ними с трудом можно было различить остатки прежней тонкой резьбы индийских мастеров.

Однажды, карабкаясь по камням, я наконец обнаружила вход. Прогнившая деревянная дверь скрывалась под густо сплетенными ползучими растениями. Толкнув ее, я оказалась внутри. В храме уже выросли огромные раскидистые деревья, в их кронах шумно возились зеленые попугаи. По ветвям вниз бросились обезьяны, принялись вытаскивать у меня из волос булавки. Я с трудом верила собственным глазам. На каждой стене, куда ни глянь, были вырезаны сцены страсти. Мужчины и женщины были похожи на танцоров, их руки и ноги буквально дрожали от плотских желаний. Здесь были изображены все мыслимые позы и ласки. Каждая сценка, где влюбленные ласкали друг дружку, казалось, прорастала из самой земли — и ветвилась в древесных кронах. Эти исполненные вожделения картины неприятно меня поразили и вызвали отторжение, однако я не могла оторвать от них взгляд и уйти прочь. Крутобедрые, полногрудые женщины выглядели могущественными богинями: в их объятиях было столько радости жизни, что они казались мне совершенно чуждыми, неземными, не похожими на простых смертных.

Глядя на это распутное буйство, я ощутила, как кожу покалывает от волнения. Сама не понимая, отчего это делаю, я раскинула руки и принялась кружиться — и кружилась так долго-долго. Хотелось чего-то нового, непривычного, доселе не виданного и не испытанного. Я еще очень многого не знала; мне оставались неведомы огромные чужие миры.

Как-то раз, возвращаясь в Карнал, я проезжала сквозь рощицу молодых деревьев и вдруг увидела у реки мужчину и женщину в европейской одежде. Они обнимались под сенью баньяна; кони были привязаны неподалеку. Я отвела было взгляд, но затем, не удержавшись,

посмотрела снова: пара показалась знакомой. Подъехав ближе, я из-за деревьев присмотрелась. Женщина была миссис Ломер, но мне помнилось, что у ее мужа волосы гораздо темнее, чем у того, кто ее сейчас обнимал. Мне стало любопытно; однако нельзя было, чтобы меня заметили, поэтому я собралась повернуть лошадь, думая незаметно уехать. И тут я увидела лицо мужчины. Хотя он был мне отлично знаком, я его узнала не сразу. Оцепенев, я смотрела, как мужчина нежно охватил ладонями лицо миссис Ломер, как когда-то брал в ладони мое. Она влюбленно глядела снизу вверх, и у меня задрожали руки. Томас наклонился ее поцеловать — точно длинный язык ящерицы метнулся к мухе, — а я развернула лошадь и ускакала прочь.

Подъезжая к расположению гарнизона, я миновала то самое дерево, под которым зарыла своего мертвого ребенка. Каждый раз, проезжая мимо, я глядела на это место, едва ли не всерьез ожидая увидеть живого младенца, пухленького, бодрого, который болтает в воздухе ручками и ножками. В моем представлении он был синий, как Кришна, с прелестными крошечными пальчиками. В тот день я увидела, что с капока осыпалась листва, однако дерево не умерло и не уснуло. На голых ветвях распустились огромные алые цветы. Я глянула на подножие: что там? Ничего — одни только опавшие листья. Глядя на яркие цветы, усыпавшие безлистные ветви, я поняла, что настала пора уезжать.

Глава 13

Я бы с радостью вам сказала, что ушла от мужа гордо, без слез, сцен и взаимных упреков. Однако в действительности, застав Томаса с миссис Ломер, я возвратилась, готовая разнести в клочья весь дом.

В слезах, я кричала, вопила и порвала чуть ли не всю его одежду. Разорив мужнин гардероб, я вылила мед на его лучшую пару форменных брюк, и на них тут же пришли белые муравьи и налетели крошечные черные мушки. Потом я металась по веранде, а голова шла кругом от гнева, ревности, боли. Когда Томас явился со службы, я не пускала его в дом.

— Если она твоя любовница, так и иди к ней! — кричала я.

— О чем ты? — делал он вид, будто не понимает.

— Я вас видела, видела!

— Моя дорогая Элиза...

— Не смей со мной так разговаривать!

— Давай войдем и обсудим все без лишних ушей.

Он попытался втолкнуть меня в дом, но я буквально сбросила его со ступенек. По щекам лились горячие злые слезы.

— Как ты мог?! Она мне в матери годится!

— Элиза, ну право же, — уговаривал он. — Мы с ней всего лишь друзья, больше ничего.

— Я все видела! — кричала я вне себя.

Тогда он в свою очередь обрушился с нападками:

— А ты какой была мне женой?

Затем он меня просто-напросто поднял, принес в гостиную и бросил в кресло.

— Ты переутомилась. После приступа малярии ты сама не своя.

Я примолкла, размышляя. Все-таки следовало ему сказать, когда я забеременела. Да только я тогда не готова была это сделать. Произнеси я это вслух, пришлось бы признать, что

я не хочу от Томаса ребенка, так же как не хочу его самого. Что я за неправильная женщина? Возможно, если бы я ему доверилась, все кончилось бы иначе. Лишь спустя изрядное время после того, как похоронила своего мертвого ребенка, я ощутила потерю. Что-то во мне умерло — какая-то часть моего существа, маленькая, драгоценная, хоть и непонятная мне самой; и что теперь ни говори, вернуть ее невозможно.

Томас первый предложил, чтобы я поехала навестить мать.

— Перемена пойдет на пользу. Тебе оказалось не по силам жить тут в полном одиночестве, — объяснил он.

— Возможно, ты прав, — согласилась я.

Я уже заворачивала свои платья в бумагу, готовясь укладывать багаж, когда Томас обнаружил, что случилось с его одеждой. Потрясая мундиром, он орал:

— Черт бы тебя побрал! Какой черт в тебя вселился?! Когда ты поймешь: это не только моя вина, но и твоя тоже?

Я молча паковала вещи. Не хватало явиться к матери с синяками или «фонарем» под глазом.

Разумеется, Джасвиндер давно уже знала про миссис Ломер. Когда я сообщила, что уезжаю, она лишь кивнула, а затем посоветовала:

— Подождите. Все это проходит; чего не бывает в отношениях между мужчиной и женщиной! За целую-то жизнь.

Эвелина, услышав про мой отъезд, расплакалась.

— Ваша жизнь погублена, — лепетала она, всхлипывая. — Что с вами станется?

— Эвелина, не глупите! — Я едва подавила раздражение. — Из нас двоих теряет Томас, а не я.

— Моя бедная дорогая Элиза! — плакала она.

Я выехала в Калькутту ранним утром; солнце едва-едва поднялось, и все кругом было яркое, чистое, почти английское. Томас лично наблюдал за тем, как грузили мой багаж, затем настоял, чтобы экипаж проветрили, прежде чем помог мне забраться внутрь. Я поглядела на него из окна кареты, и он улыбнулся, словно пытаюсь защититься. За прошедшие три года его лицо прорезали глубокие морщины — у рта, на лбу. У глаз появились «гусиные лапки», волосы начали редеть. Меня это уже не трогало; вся привязанность, которую я еще испытывала к Томасу, умерла в ту минуту, когда я приняла решение уехать.

— Ты скоро вернешься, — сказал он. — Ты же знаешь свою матушку.

Томас потянулся меня поцеловать, но я взяла его голову в ладони и прошептала:

— Между нами все кончено.

Он вырвался:

— Чепуха!

Карета покатила прочь. Я точно знала, что не вернусь, и не сомневалась: хоть Томас и не желает это признать, он тоже все отлично понимает.

К дому матери я прибыла с двумя сундуками и маленьким саквояжем, который теперь так плотно был обклеен ярлычками, что с трудом разберешь, какого он изначально был цвета. Хотя я написала маме, предупреждая о своем приезде, дома ее не оказалось. Служанка, открывшая дверь, явно вообще не знала, что у ее хозяйки есть дочь.

— Желаете ли оставить визитку? — осведомилась она.

Я желала дожидаться мать, и меня провели в роскошно обставленную гостиную. Мой отчим стал уже майором, и его положение сказывалось в обстановке комнаты. На стенах — лепнина, мебель обита дорогой тканью в стиле времен регентства. Если бы не мальчик, приводящий в действие опахала под потолком, можно было бы представить, что я нахожусь в Лондоне, Бристоле или Бате. Оглядывая комнату, я вообразила себе новую жизнь, в которой мы бы вместе посещали концерты и балы, а мама с гордостью представляла бы меня друзьям. Спустя полчаса она поспешно вошла в комнату.

— Я тебя не ждала, — сказала она первым делом.

— Я же предупредила в письме.

— Вообще-то я не жду гостей, которых не приглашаю сама.

— Я ушла от Томаса, — сообщила я без предисловий.

— Это мы еще посмотрим, — ответила она.

Мы уселись, неприметно разглядывая друг дружку. В своем переливчатом платье темного розового шелка мама выглядела такой элегантной и молодой; возраст выдавали только наметившиеся морщинки на руках и на шее. Мои мысли вернулись к миссис Ломер, потом перескочили на маму и Томаса в Бате: вспомнилось, как они часто сидели, голова к голове.

В течение нескольких минут мои надежды на примирение развеялись. С последней нашей встречи прошел год, однако ничего не изменилось. Если мама была мной недовольна тогда, теперь она была недовольна вдвойне.

Зато майор Крейги был искренне рад. Войдя в гостиную, он взял меня за плечи:

— Дай-ка я на тебя погляжу. — Он с нежностью меня обнял и улыбнулся: — Какая ты у меня красивая девочка.

Казалось, не было тех тринадцати лет, что минули на самом деле. Папа Крейги гладил меня по волосам, а я смотрела на него снизу вверх с широкой детской улыбкой.

— Она говорит, что ушла от мужа, — сообщила мама с неприязнью.

— Давайте сейчас об этом не будем. Элиза, ты не разучилась танцевать? Тебе необходим хороший отдых. Отвлечешься, развеешься. Завтра в твою честь устроим званый ужин.

На следующий вечер явились с десятков офицеров с женами и дочерьми.

— Не забудь, — предупредила мама, — ни слова о том, что ты ушла от мужа. Ты просто приехала в гости, вот и все.

Майор Крейги с гордостью представлял меня всем как свою дочь; мама держалась холодно и отчужденно. В какой-то миг до меня донеслись ее слова:

— Если еще хоть кто-нибудь скажет, как Элиза похожа на меня, ей-богу, я закричу.

Мой отчим мягко улыбнулся.

— Дорогая, но ведь она — твоя дочь. Постарайся ею гордиться.

На протяжении вечера мама поочередно уделяла внимание то одним гостям, то другим, и ее манера держаться менялась в зависимости от того, к кому она обращалась. В Ирландии точно так же вели себя в семействе Томаса. Среди англичан они держались не так, как среди ирландцев. То же самое я замечала и за собой. Возможно, это свойство англо-ирландцев: мы — ни то ни се, поэтому нас швыряет из стороны в сторону.

Когда начали танцевать, я ощутила на себе мамин пристальный взгляд.

— Правда ли, что ваша мать когда-то была профессиональной танцовщицей? —

поинтересовался мой кавалер. — Сама она не говорит ни да ни нет.

— Вы предполагаете, что мама когда-то не была истинной леди? — ответила я, желая его поддразнить.

Офицер смутился, затем принялся многословно извиняться.

А я подумала, что, скорее всего, мама сама распустила этот слух. Он льстил ее самолюбию, однако и речи не могло быть о том, чтобы она взаправду оказалась в прошлом танцовщицей. Хоть бы даже оно так и было, она бы ни за что этого не признала.

После этого — единственного — званого ужина мама не позволяла мне появляться на приемах, и дома их тоже не устраивали.

— Тебе надо думать о собственном браке, — заявляла она, — и больше тут не о чем говорить.

К нам являлись офицеры, желавшие со мной увидеться, оставляли визитки и уходили ни с чем; а мама стала недовольной и раздражительной. Единственное, что мне было позволено, — наблюдать за тем, как она одевается и уходит. Совершенно так же, как в моем детстве. Мама сшила новые платья и стала одеваться с особым тщанием. Я выжидала, надеясь, что она, может быть, в конце концов смягчится и хотя бы меня пожалеет. Однако не прошло и месяца, как она написала Томасу, чтобы он приехал и забрал меня обратно в Карнал.

Томас прибыл. Он приходил каждый день, однако я решительно отказывалась с ним встречаться. Мама принимала его в гостиной, а я отсиживалась у себя в спальне. Спустя неделю мама пригласила меня поговорить.

— Он хочет забрать тебя домой, — сказала она.

— Ой, да неужели?

— Выбора у тебя нет. Томас — твой муж. И тебе пора уезжать.

Я сделала глубокий вдох. Выдохнула:

— Позволь мне остаться.

— Нельзя повернуть время вспять, — ответила мама сурово. — В браке у тебя есть лишь одна попытка; ты ее использовала.

— С нашим браком покончено.

Она громко засмеялась.

— Не говори чепуху, детка. Замужество — это на всю жизнь. Женщина не может развестись с мужем, тебе это отлично известно. Ты — не Генрих Восьмой, который развелся, а затем женился второй раз. К тому же твой супруг тебя содержит, и ты полностью от него зависишь, нравится тебе это или нет.

— Я не вернусь, — упрямо возразила я.

— На твоём месте я была бы осторожна. Если ты дашь Томасу повод для развода, останешься без гроша.

— Я так решила и не отступлюсь.

— Неблагодарная девчонка! — вскричала мама. — У тебя было все, и ты все оттринула! Я позаботилась о твоём удачном замужестве, но ты от него отказалась. Тебе был нужен Томас; пожалуйста, теперь ты с ним навсегда. Я в двенадцать лет уже зарабатывала себе на жизнь, а тебя до шестнадцати пичкали всякой ерундой в школе. И с какой бы стати я теперь тебя жалела?

— Думаю, ты просто ревнуешь! — взорвалась я. — Разве моя вина, что Томас предпочел

меня, а не тебя?

Мама залилась яркой краской — от шеи до самого лба. Я думала: ударит. Однако она сдержалась.

— Если ты отказываешься вернуться к мужу, то не оставляешь мне выбора.

— О чем ты?

— Единственное, что тебе в таком случае остается, — это уехать к родне в Шотландию.

— В Шотландию?! — Я так и обмерла.

— Решай сама.

Приехав в Калькутту, я и помыслить не могла, что мама отошлет меня прочь. Оставив Томаса, я израсходовала весь свой запас мужества; дальше этого я не заглядывала.

— Муж по-прежнему будет высылать тебе деньги, — сказала она.

— Вы с ним уже обсудили?

— Томас был очень щедр.

— А что говорит майор Крейги?

Мама встала; лицо у нее посерело, руки дрожали.

— Уясни себе главное, — проговорила она. — Здесь ты не останешься.

Судно «Ларкинс» отплывало из Калькутты в начале октября, когда ночи стали заметно прохладнее. Томас и майор Крейги прощались со мной в порту. Мама же едва переступила порог дома: она холодно меня обняла и поцеловала; как обычно, губы чмокнули в воздухе рядом с моим лицом. Я тщетно вглядывалась в ее черты, пытаюсь отыскать хоть малейший намек на материнскую нежность. Мама застыла у двери, лицо было неподвижным, с каким-то странным выражением. Внезапно ее передернуло, словно от порыва зябкого ветерка, она отвела взгляд — и скрылась в доме. Лишь когда экипаж тронулся с места, я поняла, что за выражение видела на ее лице: с таким видом могла стоять женщина, которая пережила страшное предательство. Меня захлестнуло чувство вины и стыда. Я — единственная дочь, и я подвела маму, не оправдала ожиданий — причем не один раз, а дважды. Наверное, надо было лучше стараться. Сжав руку в кулак, я ударила себя по голове, потом еще и еще. Нет, нет, нет! На глаза навернулись слезы обиды и горького недоумения. Не может быть, что во всем виновата я одна. А она — разве нет? В конце-то концов, она же моя мать. Если я своими поступками ей не угодила, то она, со своей стороны, предала меня тысячу раз.

На пристани майор Крейги крепко сжал мои руки.

— На самом деле мать тебя любит, — сказал он. — Но она очень горда и ничего не может с этим поделать.

Майор обнял меня; я прильнула к нему, не желая отпускать. Тепла и любви я видела от него куда больше, чем от собственной матери!

— Если тебе что-нибудь понадобится, напиши, не стесняйся.

Судно отвалило от причала, и я еще долго смотрела на уменьшающуюся фигуру майора Крейги. На щеках у него блестели слезы.

Из соображений благопристойности Томас немного проплыл со мной вниз по течению Ганга.

Переговорив с капитаном, он вышел на палубу. Мы оба молча смотрели, как лодка, на которой Томасу предстояло возвратиться на берег, плыла неподалеку. Перед тем, как покинуть борт судна, Томас заговорил, и вид у него был смущенный и пристыженный:

— Ты всегда будешь моей женой. Я буду ждать. Ты сможешь вернуться, когда захочешь. Он меня обнял, и я вспомнила наше первое объятие.

— Еще не поздно, — прошептал он.

Он был старше меня на пятнадцать лет; эти годы лежали между нами зияющей пропастью. Пропать было слишком широко, мост через нее не перекинешь. В свое время я воспользовалась Томасом, чтобы избежать ненавистной свадьбы с судьей, нисколько не задумываясь о последствиях. Однако сейчас я уже не та наивная семнадцатилетняя девочка; Томас об этом как следует позаботился.

— Тебе пора, — ответила я.

Он начал спускаться по веревочной лестнице. Остановился.

— Ты не дала мне возможности стать хорошим мужем. Я тебе не был нужен по-настоящему. Ты хотела найти отца, а вовсе не мужа.

Я прикусила губу, затем чуть слышно шепнула:

— Прости.

Глядя вслед лодке, уносящей Томаса к берегу, я чувствовала себя так, словно вся моя жизнь куда-то уплывает. Часть души, что оставалась дикой и не втиснутой в рамки цивилизованности, была накрепко связана с Индией. Мне вспомнились усыпавшие ветви капока роскошные алые цветы, затем — могила отца на кладбище в Динапуре. Я размышляла об Эвелине и Джасвиндер, о маме и майоре Крейги. Над головой хлопнул парус. Ганг делался шире, берега расступались далеко в стороны. Мы плыли к морю. Ветер наполнил паруса, и судно начало набирать скорость.

Сцена четвертая

Серая овечья шерсть

Глава 14

Когда цветок увянет и лепестки осыплются, на стебле может остаться плод, а может и ничего не остаться, если это был пустоцвет. Когда вызреют семена, их могут склевать птицы или рассеять ветер. А если на ветке нальется яблоко или груша, их могут побить ночные заморозки или нападет плесень. Листья могут сожрать долгоносики, в яблоке поселится червь. Упавшие с веток плоды мнутся, чернеют, гниют. Дерево может и вовсе засохнуть, от корней до верхушки.

Судно уплывало от берегов Индии, а я печально глядела на качающуюся под потолком лампу и слушала, как за переборкой шумит море. Хотя мне едва исполнилось двадцать лет, будущее виделось унылым и мрачным. Находясь посреди Индийского океана, в каюте без иллюминатора, я машинально снимала и вновь надевала обручальное кольцо. Волны бились о корпус судна, и переборки в каюте дрожали. С потолка упал паук, закачался на тонкой нитке; по полу прошмыгнула крыса. У меня по щеке скатилась слезинка. С каждым ударом волны в борт я вновь и вновь слышала мамин голос:

— Почему ты вообразила, будто ты — не как все? Попомни мои слова: придет день, и все твои пустые мечты разлетятся в прах.

Несчастливое замужество — совершенно обычное дело; почему я не стала мириться с ним, как все прочие? Многим женщинам приходится смирять свою гордость, я отнюдь не единственная.

— По одежке протягивай ножки, — наставляла мама, а затем дала несколько советов на будущее.

Шелковые платья теперь носить не следует; придется обходиться более скромной одеждой из серой шерсти или однотонного муслина. Да это же все равно что хоронить меня заживо! Как такое может быть? Я улеглась на койку и закрыла глаза. Снаружи шумели, глухо бились о борт морские волны. Я уехала из Шотландии в двенадцать лет, поклявшись, что ноги моей больше не будет в этой ужасной стране. И вот — неужто снова туда?

Несколько часов спустя меня разбудил настойчивый стук в дверь. Лампа догорела и погасла, и я в темноте ощупью добралась до двери. За ней оказалась жена капитана; она представилась, а я спросонья еще протирала глаза.

— Моя дорогая девочка, — проговорила миссис Инграм, — вы уже скучаете по мужу? Не беспокойтесь; я ему торжественно обещала, что мы о вас позаботимся.

Тут трижды прозвонил корабельный колокол, приглашая пассажиров на обед.

— Вы готовы? — осведомилась миссис Инграм.

— Я не хочу есть.

Она улыбнулась:

— Конечно, хотите. Вы такая худенькая! К тому же надо питаться, пока еще есть приличная еда. Через месяц нам будут подавать одну лишь солонину да сухое печенье.

В кают-компании она усадила меня за капитанский стол; вместе с нами обедали сам капитан и чета немолодых американцев. Мистер Генри Стергис из Бостона, штат Массачусетс, представился по всей форме; его супруга Мэри лишь улыбнулась. Спустя несколько минут выяснилось, что Томас успел поговорить с ними со всеми.

— Ваш бедный супруг так тревожился, оставляя вас одну, — обратилась ко мне миссис Стергис. — Но мы его заверили, что непременно о вас позаботимся.

— Мы будем вас всюду сопровождать, — добавил ее муж.

— Особенно я, — пообещала миссис Стергис.

— Вам не придется оставаться одной ни на минуту. — Миссис Инграм накрыла мою руку своей.

Я вымучила слабую улыбку.

— Мистер Джеймс сказал, что вы неважно себя чувствуете. И в самом деле, многие молодые женщины с трудом переносят индийский климат.

— Да, правда, — откликнулась я.

— И еще этот несчастный случай — такая досада! — сочувственно проговорила миссис Стергис.

— Несчастный случай? — переспросила я недоуменно.

— Ну-ну, детка, только не волнуйтесь.

Миссис Стергис подалась к жене капитана и понизила голос:

— Бедная девочка еще не оправилась после падения с лошади. Это случилось в Мейруте; она серьезно повредила спину. Супруг надеется, что пребывание дома пойдет ей на пользу.

— Вы будете очень скучать по мужу, — пожалела меня миссис Инграм.

— Очень, — подтвердила я, кривя душой. Возразить было невозможно.

— К тому же оказавшись так далеко от матери.

— В наших с ней отношениях расстояние не играет роли, — ответила я сухо и с отчаянной надеждой огляделась.

Однако среди пассажиров, обедавших за другими столами, не было никого, кто мог бы прийти на помощь. Миссис Инграм и миссис Стергис с тревогой за мной наблюдали.

В Мадрасе на борт поднялись новые пассажиры, и капитан объявил в их честь небольшой бал. Как обычно, большую часть вечера я провела, зажатая между миссис Инграм и миссис Стергис, которые прямо-таки соревновались между собой, кто лучше меня убережет и защитит. После обеда заиграл «оркестр», собранный из троих матросов и слуги капитана: убогий пианист, скрипач, флейтист и исполнитель на английском рожке.

Когда мы выстраивались в линию, готовясь танцевать, меня с двух сторон подхватили под руки капитан и мистер Стергис.

— Замужняя женщина, оказавшись одна, становится крайне уязвима, — предостерег капитан.

— Особенно такая юная, как вы, — добавил мистер Стергис, обнимая меня за талию.

— Вы легко можете стать мишенью для сплетен. — Капитан потянул меня к себе.

Они плотно зажали меня с двух сторон, а затем к нам подошла миссис Стергис. Однако я уже не слышала, что мне говорили: дверь открылась, и в салон вошел молодой лейтенант, который мгновенно завладел моим вниманием.

Капитан извинился и направился к нему.

Этот новый пассажир являл собой неотразимую смесь юности и уверенности в себе. Высокий, стройный, белокурый, со светлыми, глубоко посаженными глазами. Капитан поздоровался с ним за руку, и тут лейтенант поймал мой взгляд. Вспыхнув, я отвела глаза.

Снова обратив внимание на мистера и миссис Стергис, я услышала все те же прежние речи.

Ах, ну отчего я не надела платье из лилового шелка или переливчатой зеленой тафты? И почему я не потрудилась над прической? Глубоко убежденная, что жизнь кончена, я непростительно пренебрегла собственной внешностью: волосы уложены кое-как, платье самое простенькое.

Лейтенант, казалось, бесконечно кружил по салону: когда бы я на него ни взглянула, он уже оказывался на новом месте. Так и пересаживался от стола к столу, беседуя все с новыми и новыми людьми. Я украдкой поглядывала на него, пока не закружилась голова. С каждым новым взглядом я ухватывала новую подробность. Его усы и брови темнее, чем волосы. Глаза серые. Или бледно-голубые? И капитан, и мистер Стергис, танцуя со мной, не умолкали ни на мгновение. Я кивала и улыбалась, не воспринимая ни слова.

Глава 15

Как известно, дама не может сама представиться джентльмену, и джентльмен не может навязать даме свое внимание, пока их официально не представили друг другу. В таких обстоятельствах мне ничего не оставалось, кроме как терпеливо ждать. Каждый день, в четыре часа, в капитанском салоне подавали обед. Самых почетных пассажиров усаживали за один стол с капитаном, и через день они сменяли один другого. Спустя три дня молодой лейтенант и я наконец оказались за одним столом.

Капитан Инграм представил нас:

— Миссис Элиза Джеймс — лейтенант Джордж Леннокс, Четвертый кавалерийский полк, Мадрас.

Лейтенант поклонился, взял мою руку в свою и улыбнулся. Его рука была теплой, а глаза оказались голубовато-серые.

У меня вдруг пропал аппетит. Тело словно наполнилось светом и воздухом. Когда официант поставил передо мной тарелку с супом, я едва сообразила, что же с этим супом надо делать.

За обедом миссис Инграм вдвоем с миссис Стергис пытали лейтенанта расспросами; он отвечал, улыбаясь им явно через силу.

Он имеет честь быть личным адъютантом лорда Элфинстона, генерал-губернатора Мадраса. Лейтенант полагает, что его дядя, герцог Ричмондский, им очень гордится. Проведя в Индии три года, он впервые возвращается домой. Нет, о женитьбе пока не помышляет; в конце концов, ему всего девятнадцать. Да, он непременно вернется снова в Мадрас. Индия к нему оказалась милостива, и его виды на будущее очень хороши. Конечно, он с удовольствием нанесет визит миссис Стергис с племянницей, если они когда-нибудь окажутся в Мадрасе.

За вареной свининой с рисом последовала жареная курица с картошкой. К тому времени, когда подали пудинг из манки, разговор принял весьма неприятный оборот.

Стоило Джорджу Ленноксу обратиться ко мне с вопросом, как мои покровительницы бросались меня защищать. Я и рта не успевала раскрыть, а одна из них уже отвечала

лейтенанту. И что отвечала! Услышав, что я, оказывается, счастлива в браке, я не смогла возразить. А когда миссис Стергис принялась разглагольствовать о трагической разлуке молодых любящих супругов, я чуть не подавилась пудингом. Затем миссис Инграм поведала, что я упала с лошади, повредила спину и еще не оправилась.

— Бедняжка, — пожалела она меня. — Насколько я понимаю, вы уехали на прогулку одна, и даже не в женском седле. Ваш муж не должен был этого допускать.

У меня уже кусок не лез в горло, а официанты приносили все новые и новые блюда, и конца этому было не видно. Да что же Томас им наговорил? Может, я еще не все слышала?

После обеда начались танцы, и со мной танцевал сначала капитан, затем мистер Стергис. Лейтенант танцевал с миссис Инграм, потом с миссис Стергис, и после этого наконец настала моя очередь.

— Ну и тщательно же вас охраняют, — заметил он.

— Стерегут, как королевские сокровища, — улыбнулась я.

Наши ладони соприкоснулись, и у меня кровь прихлынула к щекам. Поначалу я даже взглянуть на него не смела; уже то, что мы дышим одним воздухом, казалось удивительным и волнующим. Лейтенант оказался превосходным танцором, он вел меня легко и непринужденно. Начали мы, держась на благопристойном расстоянии, однако к концу первого вальса нас неодолимо притянуло друг к другу.

— Вы очень хорошо танцуете, — сказал лейтенант.

«То небольшое, что досталось от матери, — подумала я. — Темные волосы да легкие ноги».

— Вы тоже, — ответила я комплиментом на комплимент.

— А говорят, что у вас повреждена спина! Вы танцуете так, что иначе как чудом это не назовешь.

На следующий день я прогуливалась на палубе, когда меня нагнал лейтенант Леннокс и пошел рядом. Мы пробыли вместе не больше двух минут: откуда ни возмись явилась миссис Инграм, вклинилась между нами и решительно взяла меня под руку. Так повторялось несколько дней, пока я не сообразила, что мои опекунши покидают свои каюты не раньше полудня. Тогда я начала прогуливаться рано поутру, и тут выяснилось, что лейтенант Леннокс выходит на палубу еще раньше меня.

— Разрешите составить вам компанию? — осведомлялся он, а я в ответ улыбалась и брала его под руку.

Наша молодость сделала нас естественными союзниками. Мы были точно два заговорщика, члены тайного общества «Ранние пташки», скрывающиеся от блюстителей нравов, любителей поспать с утра. Прожив три года с Томасом, я лишь теперь поняла, как мне не хватало ровесников. Очень скоро мы с лейтенантом почувствовали себя легко и раскованно. Часто, перевесившись через перила, мы показывали друг другу незнакомых рыб или птиц и пытались в шутку угадать их названия.

— Смотрите! — кричала я. — Что это?

— Африканская рыба-прыгун.

— Нет, не может быть. Она синяя и блестящая.

— Тогда это великолепный атлантический угорь.

— Чепуха. Это, конечно же, лазурная прилипала.

Однажды утром мы обнаружили на палубе целую стаю трепыхающихся летучих рыб.

Они бились, подпрыгивали, задыхались в жарком воздухе.

— Их едят? — спросила я; лейтенант отрицательно качнул головой.

Тогда мы принялись их спасать: я поливала рыб водой, а он хватал их за хвост и выбрасывал за борт.

В другой раз мы видели альбатроса; он парил в высоте, и его тень скользила по доскам палубы.

Порой мы забывались совершенно и были счастливы, точно двое озорников, прогуливающих школьные уроки.

Как-то раз недалеко показалась стая дельфинов — они выпрыгивали из воды, резвились в искрящихся голубых волнах.

— Смотрите, смотрите! — Схватив за руку, я повлекла лейтенанта к борту. — Они приплыли с нами поздороваться. — Я засмеялась от радости.

— Они такие же веселые, как вы, — ответил он.

И вдруг порывисто привлек меня к себе. Тут же опомнился, уронил руки, смущенно пробормотал:

— Извините.

Я не успела и слова вымолвить — лейтенант повернулся и стремительно ушел прочь. В тот день он не явился на обед и ужин, пропустил вечерние танцы.

На следующее утро я тщетно ждала на палубе. За обедом он снова не появился.

— Лейтенант Леннокс заболел? — поинтересовалась я осторожно.

— Он попросил, чтобы еду приносили в каюту, — сообщил капитан.

После ужина миссис Стергис постучалась ко мне в каюту. Я открыла; она застыла на пороге с крайне озабоченным и встревоженным видом.

— Входите, — предложила я, хоть и не слишком приветливо.

— Элиза, так больше нельзя, — заговорила она. — Идут всяческие разговоры.

— О чем вы, ей-богу?

— Вы с ним танцевали три танца подряд. Теперь он ото всех спрятался. Ну и что надо думать при таком поведении?

— Полагаю, речь о лейтенанте? — уточнила я.

Миссис Стергис присела на диван — пухлая, взволнованная, растревоженная. Она была всего на несколько лет старше моей матери, однако ей были свойственны дородность и почтенность, маме абсолютно чуждые.

— Элиза, пожалуйста, я вас прошу: положите этому конец немедленно.

— С вашего позволения, я собиралась ложиться спать.

— Но я всего лишь забочусь о вас, Элиза! — проговорила она умоляюще.

Я указала на дверь.

— Ценю вашу заботу.

Прошло два дня, прежде чем лейтенант Леннокс вновь появился на людях. Во время обеда он казался чужим и смущенным. Поздоровавшись со мной, он больше даже не глядел в мою сторону. Когда лейтенант поднялся из-за стола, я извинилась и тоже покинула салон.

Я отыскала его на верхней палубе; он стоял, облокотившись о перила. Тихонько подойдя вплотную, я взяла его под руку. Он хотел отстраниться, но я ухватила крепче, сомкнула пальцы обеих рук на его ладони. Несколько минут мы стояли молча, глядя на воду.

Был ясный тихий вечер, в небе висел тонкий месяц. Над ним сверкал Южный Крест. Отражение месяца и звезд колыхалось на волнах, в кильватере судна вода играла серебром.

— Мы должны держаться поодаль друг от друга, миссис Джеймс, — наконец проговорил лейтенант.

— Почему? — возразила я негромко, по-прежнему сжимая его руку; наши лица были так близко, что, казалось, я чувствую тепло его щеки. — Вы здесь — мой единственный друг. Я не могу с вами расстаться. К тому же мы не можем целых четыре месяца избегать друг друга.

Лейтенант повернулся ко мне:

— Вы — жена офицера. Я не допущу, чтобы о вас ходили грязные сплетни. Капитан уже говорил со мной о непозволительности нашего поведения.

Я поглядела ему в глаза.

— Жена офицера я лишь по названию. Он недостойн зваться моим мужем. Своими действиями он лишил себя всяких прав в отношении меня.

— Что такое вы говорите? Что это значит?

— Вот увидите: скоро я стану сама себе хозяйка.

Увы: то были всего лишь мечты. Я великолепно знала, что никогда не буду свободной и независимой; на стороне Томаса — закон и деньги. Но так хотелось пусть ненадолго, но сделать вид, будто жизнь может волшебным образом измениться.

Долгую минуту мы глядели друг на друга, затем нерешительно обнялись. Когда я подняла лицо, по телу лейтенанта прошла дрожь, затем его губы коснулись моих губ.

— Итак, наши узы скреплены, — подвела я итог.

Мы оба понимали, какую грань перешли.

С этой минуты мы стали неразлучны. Если другие пассажиры о нас судачили, мне было все равно. Днем мы подолгу сидели на палубе в плетеных креслах, поставленных рядом; мы садились за один стол обедать; мы танцевали вместе снова и снова. Жаркими вечерами мы гуляли, стараясь забраться в какой-нибудь тихий темный уголок, где нас не увидят чужие глаза. Когда все дамы давно уже расходились по каютам, мы оставались на юте, одни под звездным небом.

Затем однажды кто-то видел, как я вхожу в каюту лейтенанта, и после этого две мои опекунши явились ко мне с разговором.

Рядом с миссис Инграм добросердечная миссис Стергис обрела некоторую суровость. А обычно добродушная миссис Инграм производила впечатление черной грозовой тучи, втиснутой в тело маленькой хрупкой женщины.

— Я решительно возражаю! — объявила жена капитана.

— В темноте нетрудно ошибиться, — заметила я в ответ.

— Поверьте, Элиза: мы заботимся о вас и вашем добром имени, — увещевала миссис Стергис.

— В его каюте есть окно, а в моей — нет.

Я предложила им сесть, однако обе дамы отказались; миссис Инграм занервничала.

— Всем известно, что ночью диван превращается в постель.

— Право же, миссис Инграм, что вы хотите этим сказать? — Я притворилась, будто не понимаю.

В тот же вечер мы с лейтенантом уютно расположились на таком же диване в его

каюте, как вдруг я заметила, что сквозь стекло за нами подсматривает жена капитана. Встав с дивана, я решительно опустила жалюзи, а миссис Инграм отпрянула, смущенная и раздосадованная.

Последовали меры. Капитан с супругой объявили, что больше меня не принимают; меня изгнали из-за капитанского стола, а чуть позже дали понять, что мне вообще не стоит появляться в обществе. Больше я не участвовала ни в каких балах и развлечениях, а еду мне приносили в каюту.

Рождество мы с Джорджем отпраздновали вдвоем, в его каюте. Услышав доносящуюся из капитанского салона музыку, мы подвинули мебель и стали танцевать, медленно и осторожно, чтобы ни на что не наткнуться. И были счастливы.

Вся жизнь для меня сосредоточилась в плывущем по волнам корабле. Каждый вечер лейтенант Леннокс приходил ко мне в каюту, и мы часами сидели, глядя друг на друга во все глаза. Я видела отчетливо лишь то, чего могла коснуться, — его лицо, губы, пальцы. Все остальное расплывалось. Как долго нам достаточно будет объятий и поцелуев?

— Лейтенант?

Он улыбнулся:

— Да, миссис Джеймс?

— Пожалуйста, зовите меня Элизой.

Он улыбнулся шире:

— Элиза?

Я едва удержалась, чтобы не хихикнуть.

— Да, лейтенант?

— Пожалуйста, зовите меня Джорджем, — сказал он, целуя меня в кончик носа.

— Джордж?

— Да, Элиза?

Я притянула его к себе.

— Джордж, пожалуйста, поцелуй меня еще.

Его губы коснулись моей шеи — сзади, сбоку, под подбородком.

— Где, Элиза? Где целовать — здесь или здесь?

Мы были в его каюте. За стеклом иллюминатора выцветал закат: на темнеющем небе блекли длинные багровые и лиловые полосы облаков. Под потолком тихонько покачивалась лампа, и по углам бродили тени.

Его губы скользнули вниз — по моему горлу к груди.

— А под платьем еще столько всего сокрыто, — прошептал он.

У меня участилось дыхание; косточка в корсете жалобно скрипнула, платье натянулось на швах.

— Джордж, помоги, пожалуйста.

Повернувшись спиной, я указала на крючки, удерживающие лиф платья. Дрожащими руками Джордж их расстегнул. Когда он справился с последним, я скинула лиф, выпростала руки из рукавов.

Под лифом был корсет, а под ним — прозрачная сорочка, едва прикрывающая грудь. Мне не хватало воздуха, я дышала часто-часто, а Джордж долго возился, неловко распуская завязки на сорочке. Наконец управился и с ними, затем приподнял мою грудь в ладонях,

словно два спелых упругих плода. Я задохнулась. Он уткнулся мне в грудь лицом. Кое-как я сумела вдохнуть.

И шепнула:

— Джордж... ты можешь делать, что хочешь.

Мы питались своей любовью, словно бабочки — нектаром цветов. Однако чем больше мы ели, тем голоднее становились. Однажды мы нежились на диване у меня в каюте. Я скинула туфли и платье, оставшись в сорочке и нижних юбках, у Джорджа была расстегнута рубашка.

Внезапно решившись, я скользнула ему между ног и принялась расстегивать его брюки. Меня разбирало любопытство; была одна часть его тела, которую я до сих пор не видела. У Джорджа захватило дух.

— Ты что делаешь? — спросил он шепотом.

Его член был тугой и высокий, точно гриб на длинной ножке. Я сжала его в ладонях; он казался живым существом, нежным и благодарным. Джордж молча наблюдал, пока я внимательно изучала все изгибы и линии его мужской плоти, ее отклик на ласку рукой, касание языком.

— Он тебя не укусит.

— Ты уверен?

Смочив в плошке с водой полотняную салфетку, я обмыла его и обласкала. Стоя на коленях, я двигала рукой вверх-вниз, чувствуя сквозь салфетку, как под пальцами пульсирует тугая плоть.

Джорджа очень занимали всяческие женские причиндалы — корсет, чулки, румяна, пудра буквально его завораживали. Как-то раз, когда я пудрила лицо, он подобрал пуховку и долго ее рассматривал. Закончив пудриться, я шутки ради напудрила лицо ему, затем нарумянила щеки, накармила кармином^[11] губы и поднесла ему зеркальце. В таком гриме Джордж походил на хорошенькую девушку. Грим продержался недолго: мы принялись целоваться, и краска размазалась по лицам, так что мы стали похожи на двух сумасшедших клоунов.

Хохоча, мы уже стаскивали друг с дружки одежду, когда раздался стук в дверь. Мы смолкли; стук повторился. Мы молчали. Тот, кто стоял за дверью, ушел, а позже я обнаружила на палубе поднос с моим остывшим обедом.

Миссис Инграм начала подсылать шпионов; кто-нибудь вечно торчал у каюты, подглядывая в иллюминатор или подслушивая у двери. Не раз ее горничная заставляла меня в нижнем белье. Она поджидала, когда дверь распахнется, и заглядывала в каюту. Однажды она видела, как я при Джордже надеваю чулки, другой раз — как он зашнуровывает мне корсет.

В конце концов мы решили быть осторожнее. Как бы то ни было, я не была свободной женщиной и зависела от мужа. Хотя в моей каюте было очень душно, мы стали запираť дверь на засов. Я уверяла себя, что не так уж страшно мы и грешим: как ни интимны наши ласки, все же между нами нет настоящей близости.

Однажды поздним вечером я, уже сонная, полулежала на диване, а Джордж устроился на полу, головой у меня на коленях, и тихонько поглаживал мою ногу в одном чулке.

— Пожалуй, мне пора в постель, — сказала я, потому что на самом деле хотелось спать.

— Можно, я помогу тебе раздеться? — спросил он, скользнув пальцами вверх от щиколотки к колену.

Я откинулась на спину, а он приподнял мои нижние юбки, провел ладонями по ногам — до самого верха. Наверное, я ожидала, что он распустит подвязки и примется стягивать с меня чулки. Но вместо этого его руки скользнули меж многочисленных слоев кружевного нижнего белья. Когда они забрались в штанишки, я от неожиданности вскрикнула. И вдруг его пальцы коснулись моей самой потаенной плоти.

— Ш-ш! — сказал он и нежно, бережно раздвинул мне ноги.

Голова Джорджа скрылась под юбками. Он меня поглаживал и ласкал, а я была в полном смятении и ощущала себя, точно вскрытая ракушка. Нежные пальцы коснулись жемчужины; от этого прикосновения она припухла. Он тихонько касался, поглаживал, ласкал языком. Я закрыла лицо юбками, однако не попросила его перестать.

Впервые в жизни я поняла, что такое страсть; я оказалась сама себе не хозяйка. Мне хотелось испробовать все; я не могла оставаться одна, без Джорджа. Мне то и дело вспоминались Брайди и ее возлюбленный у пылающих печей. Вспоминались эротические сцены на стенах заброшенного индийского храма. А еще — та женщина в полутемной комнате, которая раскачивалась, оседлав британского солдата.

Я тоже так сделала: медленно вращая бедрами, я танцевала на теле Джорджа, который лежал на постели. Меня поражало неведомое доселе ощущение, удивительно было, что мужчина лежит подо мной, совершенно беспомощный. Я его распаляла, а он усердно трудился сначала над моим нижним бельем, потом над своим. Затем меня разобрал смех, и тут Джордж решительно опрокинул меня на постель рядом с собой. Моя сорочка распахнулась; его освобожденная плоть показалась наружу. Джордж замялся в нерешительности. Я притянула его к себе, шепнула:

— Ну, давай, давай.

Ощувив внутри себя первый толчок, я вмиг перестала смеяться. От второго я вскрикнула. Джордж не отрывал глаз от моего лица. Я согнула ноги в коленях, он продел под них руки. Крепко сцепившись, мы двигались вперед-назад вместе с качающимся на волнах кораблем. Начни наш корабль тонуть, я бы не испугалась. В ту минуту я бы с радостью ушла с ним на дно.

Неподалеку от Канарских островов мы вдруг обнаружили куколку бабочки, прилепившуюся к потолку в каюте Джорджа. Из сухой темной оболочки показалось сначала одно крыло, затем второе. Бабочка неподвижно сидела на потолке; очень красивая, размером с маленькую птичку. Крылья у нее были ярко-голубые, с желтым «глазком» посередине, отделанные по краю тонким серебряным узором.

На следующий день бабочка зашевелилась, крылья затрепетали — сначала едва-едва, затем сильнее, словно постепенно осознавая собственное предназначение. А потом она принялась летать по каюте, билась о стены и стекло, и мы не знали, что делать.

— Чем ее кормить? — спросила я.

Джордж понятия не имел; на борту не было ничего подходящего.

— Если она останется здесь, то умрет.

— А что будет, если ее выпустить?

— Ну, кто знает?

Когда судно шло мимо острова Мадейра, я открыла иллюминатор. Джордж осторожно, не помяв крылья, поймал бабочку и затем отпустил, подбросив вверх. Сдвинув головы, мы вдвоем следили за ее полетом. Несколько мгновений она трепетала в воздухе рядом, а затем ее подхватил ветерок и понес куда-то вверх.

После того как мы миновали Марокко, сильно похолодало. Вместо шелковых чулок мне пришлось надеть шерстяные, и очень кстати припалась пара вязаных шалей. Пока мы плыли от Бискайского залива к Ла-Маншу, закончился январь и настал февраль. Приближался Портсмут — порт назначения. Передо мной темной тучей висело унылое будущее. Я заперлась в своей каюте.

В Портсмуте меня должна была встречать сестра майора Крейги, миссис Ри, вместе с миссис Ватсон, овдовевшей сестрой Томаса. Переночевав в Блэкхите, мы с миссис Ри должны были прямиком отплыть в Шотландию, а там мне предстояло жить в доме ее брата в Лите. Точь-в-точь как я жила в Монтрозе: мерное тиканье часов, молчаливые трапезы, пустая скучная гостиная. Лит тоже стоял на морском берегу, как Монтроз, и там, несомненно, будет такая же унылая грязь и вонь тухлой рыбы.

Мать дважды отсылала меня прочь. И сейчас одно я знала наверняка: я не позволю ей сделать это снова.

Глава 16

В Портсмуте я сошла на берег, опустив глаза, точно приговоренная: ведь мне, как думалось, предстояло прямиком отправиться в тюрьму, а новые «тюремщики» — миссис Ри и миссис Ватсон — были не лучше предыдущих моих попечительниц. Однако меня никто не встречал, и лишь какой-то возница подал письмо и тут же отъехал. Я вскрыла конверт; Джордж придвинулся, и мы прочли письмо вместе.

Миссис Ри сообщала, что простудилась по пути из Шотландии в Портсмут и поэтому не может меня встретить. Указав адрес миссис Ватсон в Блэкхите, она просила, чтобы я добиралась туда самостоятельно.

— Мой экипаж ждет. — Джордж широко улыбнулся.

Мы оба подумали об одном и том же; я не колебалась. Он схватил меня за руку, и мы чуть ли не бегом устремились к ожидавшей карете. Джордж буквально вскинул меня на сиденье, затем велел кучеру погрузить мой багаж вместе со своим. Когда карета тронулась с места, мы оба глянули в окно. Позади торопились безнадежно опоздавшие капитан Инграм с супругой.

— Миссис Джеймс, подождите, подождите!

Миссис Стергис не пыталась меня догнать, а лишь горестно качала головой.

Мы с Джорджем откинулись на сиденьях и захохотали, как нашкодившие подростки. Затем я перечитала письмо.

— Что ты будешь делать? — осведомился он.

— А что ты предлагаешь?

Мы поглядели друг другу в глаза. У Джорджа в лице промелькнула тень нерешительности, затем он потянулся ко мне, взял мое лицо в ладони. Мы поцеловались; восхитительное ощущение: мы словно куда-то падали сквозь мягчайший пух.

Вечером мы остановились в придорожной гостинице. Эта ночь была первой, что мы провели вместе до самого утра. И к утру уже твердо решили, что больше не расстанемся.

Оглядываясь назад, я понимаю, что отель «Империял» на Ковент-Гарден был той сценой, на которой разыгралось драматическое действо: мое блистательное падение с высот добродетели. «Империял» находился в двух шагах от Королевского оперного театра — самого модного театра Англии. Стоило мне увидеть здание отеля, как последние тревоги о собственном добром имени незаметно рассеялись. Кремово-белый фасад был украшен лепными гирляндами цветов и классическими колоннами, каждую из которых венчала голова грозного Юпитера; величественная лестница вела к двойным стеклянным дверям. По обе стороны от входа стояли швейцары в цилиндрах и отделанных золотом сюртуках, готовые отцепить красный бархатный шнур, протянутый поперек вестибюля. Легко избежав по ступеням, я в восторге невольно ухватила за руку Джорджа.

В наших с ним номерах стены были обклеены темно-красными обоями, увешаны высокими зеркалами с чудесной резьбой, а тяжелые шторы были великолепного алого цвета. От всей этой роскоши у меня перехватило дыхание. Как только принесший багаж носильщик вышел, я в неудержимом порыве закружила Джорджа по комнате.

Перед тем как мне покинуть Калькутту, майор Крейги с мамой в один голос твердили, чтобы я ни в коем случае не приезжала в Лондон. Теперь, когда я вопреки всему оказалась в столице, я намеревалась выяснить, почему этого нельзя делать. В первый день мы с Джорджем отправились гулять по улицам. Повсюду были кафе, концертные залы, табачные лавки, фешенебельные ночные клубы. Проходя мимо оперного театра, мы купили билеты на завтра. По улицам катили красивые экипажи, запряженные породистыми лошадьми; на каждом углу нам встречались модно одетые дамы и господа. А еще я с некоторым любопытством замечала тут и там хорошо одетых женщин, которые прогуливались в одиночку, и глядели они до странного дерзко.

На следующий вечер мы отправились на представление в оперный театр, и я тут же в него влюбилась. Театр меня ослепил и потряс — своими огнями, сверканием зеркал, музыкой, нарядной толпой. У входа мы случайно встретились с приятелем Джорджа, лейтенантом Чарльзом Хьюитом, который с готовностью взялся нас провести по театру и все показать.

— Здесь вы найдете все человеческие пороки, — сообщил лейтенант, ловко пробираясь сквозь толпу, — от самых отвратительных до возвышенных и благородных.

Лицо у него было юношески-свежее, однако он казался глубоко разочарованным в жизни: словно старый циничный распутник вселился в молодое тело. Он то и дело что-то шептал Джорджу, и оба они взрывались громким хохотом.

В зрительном зале по проходам торжественно прогуливались разодетые пары; мы присоединились к общему шествию. В отделанных бархатом ложах я заметила еще более роскошно одетых дам, которых окружали важные господа с гофрированными манишками.

На одну из дам, темноволосую красавицу, то и дело устремлялись все взгляды. Я поглядела на нее в лорнет. У нее оказались свежий пухлый рот и яркие, чуть раскосые глаза; казалось, она упивается вниманием публики. Шея и одно из запястий у нее были усыпаны бриллиантами.

Я потянула Джорджа за рукав:

— Кто эта дама? На ней слишком много драгоценностей.

— Эта дама, как ты изящно выразилась, — *grand cocotte*^[12], — ответил он. — Она настолько выше общества, что может поступать, как ей заблагорассудится.

— Ты хочешь сказать что у нее есть любовник? — прошептала я.

Джордж насмешливо фыркнул.

— Не сомневайся: такая, как она, может оценить состояние мужчины с одного взгляда. Погляди на нее. Ни одна приличная женщина не будет рассматривать публику с такой дерзостью.

— Обольстительницу в побрякушках зовут Бесстыжей Беллоной, — добавил лейтенант Хьюит. — Говорят, она итальянка. По слухам, она за два года спустила все состояние своего бывшего покровителя. Бедняга томится в долговой тюрьме, а Мария Беллона наслаждается плодами новых побед.

От таких разговоров мне стало неловко. Я уже открыла рот, чтобы пристыдить своих спутников, но тут заиграл оркестр, и занавес открылся. Мы смотрели романтический балет; балерины были в коротких пышных юбках, а открытые ноги были обтянуты трико телесного цвета, создающим иллюзию голого тела. К сожалению, я не помню ни названия балета, ни имен главных исполнителей; во время первого акта я то и дело отвлекалась и поглядывала на прекрасных сирен в ложах, куда бесконечным потоком шли и шли поклонники.

Во время антракта лейтенант Хьюит с удовольствием повествовал:

— Женщину в лиловом называют Нищей Венерой; в ложе рядом сидит Пересмешник, а с другой стороны зала — Белая Голубка.

— Вы хотите сказать, что все они?..

— *Poules de luxe*^[13], — ответил лейтенант.

Я бросила негодующий взгляд на него, затем на Джорджа.

— А вы, полагаю, отлично в этом разбираетесь!

По правде говоря, я считала, что ему не пристало рассуждать о подобных вещах в моем присутствии, а еще больше меня возмутило, что Джордж и не подумал вмешаться.

После представления мы уже в фойе случайно встретились с мадам Беллоной. Лейтенант Хьюит поклонился, и мадам остановилась. Улыбнулась ему, а глаза блеснули, словно весь этот мир и люди в нем созданы единственно для ее развлечения. Лейтенант непринужденно представил ей Джорджа, который залился краской, как девушка. Но когда он повернулся ко мне, я пришла в бешенство. Едва кивнув мадам Беллоне, я потянула Джорджа прочь.

— Как ты смеешь позволять, чтобы меня знакомили с куртизанкой? За кого твой приятель меня принимает?

Джордж не ответил; я схватила его за руку.

— Почему ты ничего не скажешь в мою защиту?

Услышав это, лейтенант Хьюит приподнял бровь.

— А-а! Причуды любви, — проговорил он, растягивая слова.

В течение многих дней я скрывалась от миссис Ватсон и миссис Ри. Когда я исчезла, не сообщив о себе ни слова, они принялись разыскивать меня по всему Лондону. К тому времени, когда я готовилась переехать в гостиницу на Грейт-Райдер-стрит, миссис Ватсон сумела-таки меня выследить.

— Пожалуйста, одумайтесь! — просила она, но я лишь покачала головой и не пустила

ее на порог.

Я собиралась перебраться в другую гостиницу, не оставив нового адреса, однако миссис Ватсон снова явилась на следующий день, уже вдвоем с миссис Ри.

Мне ничего не оставалось, кроме как пригласить их в гостиную и предложить чаю. Обе они казались сильно смущенными и посматривали друг на друга, пытаясь подбодрить взглядом. Ни одна не решалась посмотреть мне прямо в лицо.

— Очень красивый номер, — наконец проговорила миссис Ри.

— Давайте перейдем к делу, — предложила миссис Ватсон.

— И правда, — согласилась миссис Ри.

Миссис Ватсон была полная, чопорная дама, сильно похожая на своего брата. Миссис Ри нервно сплетала и расплетала пальцы, и в глазах у нее читалась искренняя тревога обо мне. Обе примостились на самом краешке стула, словно боялись подхватить какую-нибудь дурную болезнь. Ну разве они могли понять мои чувства? На миг представилось: вот я сама сижу в достойно обставленной гостиной, щеки у меня пухлые, сытые, и всем прочим чувственным наслаждениям я предпочитаю пудинги и пирожные. Не приведи господь. Вспомнились роскошные куртизанки в театральных ложах. Уж им-то всякие дуэньи ни к чему. Если я сейчас не проявлю твердость, мною так и будут командовать другие.

— Так в чем же дело?

Я обратилась к миссис Ри, поскольку миссис Ватсон явно пеклась об интересах брата. А миссис Ри в свое время спасла меня из Монтроза; прежде чем отправиться в школу в Бате, я недолгое время жила у нее.

Она замешкалась с ответом, и на вопрос откликнулась миссис Ватсон:

— Вы губите свое будущее.

— Какое будущее? — вскрикнула я.

— Если ты будешь настаивать на том, чтобы... м-м... чтобы остаться в этом затруднительном положении, тебе будет закрыт вход в приличное общество, — запинаясь, неловко выговорила миссис Ри.

— И станете не лучше проститутки на панели, — добавила миссис Ватсон.

— Ш-ш! — остановила ее миссис Ри. — Не надо так говорить.

— Лучше выражаться прямо, — стояла на своем миссис Ватсон.

Миссис Ри повернулась ко мне:

— Еще не поздно.

— Я не дам себя заживо похоронить в Шотландии!

— Поедем со мной в Эдинбург, — проговорила она умоляюще.

На миг я заколебалась. Она всегда была ко мне добра; однако я уже не ребенок.

— Я не могу оставить Джорджа.

— Очень хорошо, — процедила миссис Ватсон.

Миссис Ри пришла в еще большее смятение.

— Ох, Элиза, — вздохнула она сокрушенно.

— И что мы должны сообщить вашему мужу? — осведомилась миссис Ватсон.

— Что хотите. — Я пожала плечами. — Мне все равно.

Мы с Джорджем быстро влились в лондонское общество. По большей части мы успешно скрывали наши отношения: для окружающих я была почтенной замужней дамой, а он всего лишь меня сопровождал в театр и на обеды. Мы каждый вечер выезжали в свет — в ресторан

или театр, а днем я в ландо, запряженном двумя белыми лошадьми, отправлялась на прогулку в Гайд-парк.

От трех до пяти часов парк был полон роскошных экипажей — модное общество разъезжало по аллеям. Также я видела женщин, которые в одиночестве катались на лошадях, затянутые в узкие костюмы для верховой езды; другие сидели в экипажах, украшенных гербами их покровителей. Эти *grandes horisonatales*^[14] выезжали в свет с большим шиком. Я посматривала на них краем глаза, со смесью отвращения и любопытства.

Нередко я ловила на себе мужские взгляды. И не сомневалась, что окружающие читают по моему лицу малейшие подробности того, что происходит в нашей с Джорджем спальне. От желания быть с любимым у меня то и дело мурашки ползли по коже; я думала о нем постоянно. От его прикосновения я растекалась, будто свежий мед. Джорджу лишь стоило коснуться моей шеи или погладить руку, как я уже была готова для любовных ласк. Я просто жить без них не могла.

В марте Джордж снял для меня прелестную квартиру. Она занимала второй этаж трехэтажного дома, который был выкрашен в нежно-голубой цвет, а фасад украшен лепкой в виде белых лент и цветов. Это было чудесное гнездышко, и, едва я его увидела, мне захотелось переселиться туда немедленно.

Спустя несколько дней после переезда ко мне явилась миссис Ри. Еще не пробило полдень, и я ходила полуодетая — босиком, в одной лишь сорочке и нижней юбке. Джордж прибыл, всего на несколько минут опередив мою добрую тетку. Я попросила горничную сказать, что никого не принимаю, однако миссис Ри не ушла, а принялась звать меня прямо из прихожей. Джордж так и подпрыгнул; я твердо вознамерилась не разговаривать с гостьей и заперла дверь на ключ.

Когда мне твердили, что я — падшая женщина, меня это одновременно угнетало и возбуждало. Так произошло и сейчас: я вдруг с особой силой ощутила влечение к Джорджу; оно оказалось совершенно неодолимым.

Расстегнув пуговицы на сорочке, я молча поманила Джорджа. Он подошел, и я расстегнула его одежду.

Миссис Ри принялась стучать в запертую дверь:

— Элиза, я забочусь только о тебе!

Джордж прижал меня к стенке. Я нащупала его мужскую плоть; под моими пальцами она сделалась упругой и тугой. Джордж уткнулся лицом мне в шею; я чувствовала его быстрое дыхание, слышала биение сердца.

— Ну же — погуби меня, — прошептала я, обвивая его ногами.

Из преград всего-то была одна нижняя юбка, однако от волнения Джордж не сразу до меня добрался. Ощувив внутри себя его мужскую плоть, я на миг представила слепой жадный рот морской анемоны, захвативший добычу; точно так же и я держала в своем лоне Джорджа.

Мы бы упали, не будь рядом стены.

Миссис Ри продолжала взывать из-за двери:

— Мужчины могут вытворять что угодно, однако расплачиваются за это женщины!

— Погуби меня, — снова шепнула я.

Больше Джордж не дал говорить: он неистово целовал меня в губы, и я уже не могла вымолвить ни слова.

Миссис Ри громко стучала в дверь.

— Он оставит тебя ни с чем!

Я крепче обвила ногами бедра Джорджа. По телу прокатывались волны удовольствия. Несколько раз мы едва не упали.

— Элиза, Элиза!

Наконец я услышала удаляющиеся шаги. Когда со стуком закрылась входная дверь, мы повалились на пол. Джордж вскрикивал все чаще. Меня затопило восхитительное тепло, которое поднималось от бедер вверх и кружило голову. Я тонула в море блаженства.

— Я умерла, — вырвалось у меня со вздохом. — Умерла...

Однажды, проезжая по аллее в Гайд-парке, я вдруг услышала женский вскрик:

— Элиза!

Глянув на даму в чрезвычайно элегантной белой карете, я не поверила собственным глазам.

— Неужели ты?!

Я не видела Софию шесть лет, с той поры, когда мы учились в школе сестер Олдридж в Бате. И вот сейчас на меня смотрели знакомые миндалевидные глаза, так же вились блестящие волосы, однако щеки моей подруги утратили детскую округлость; лицо стало холеное, четко очерченное. Да и в выражении лица появилось нечто новое — некая искушенность и одновременно язвительность, и мне даже показалось, что София теперь способна быть жестокой. Костюм синего бархата сидел на ней как влитой, и выглядела София, как настоящая герцогиня.

Оказалось, что мы живем буквально в двух шагах друг от друга, на соседних улицах. Не прошло и часа, как мы уже сидели в моей гостиной и пили чай.

— Ты замужем? — поинтересовалась я.

— А ты? — ответила София вопросом на вопрос.

Я обрисовала свое положение.

— То есть ты — его любовница.

Впервые я услышала это оскорбительное слово в свой адрес.

— Мы любим друг друга, — изрекла я чопорно. — И однажды поженимся.

София громко засмеялась.

— Милая моя Розана, — проговорила она, назвав меня старым школьным прозвищем. В то, что Джордж на мне женится, она не поверила ни на миг.

Затем рассказала о себе. Она — любовница герцога Аргилльского, который имеет поместья в Беркшире, в Шотландии и Вест-Индии. Она и прежде имела многочисленных поклонников; ей не раз предлагали руку и сердце, но все это были люди, которых София считала ниже себя.

— Твоя мать права: не стоило бросаться на шею простому лейтенанту, — подвела она неожиданный итог. — О чем ты только думала?

Я отвела взгляд.

— Видишь ли, я была наивна и совсем не знала жизнь.

София казалась совершенно довольной своим положением; по-моему, она не видела в нем ничего постыдного.

— Но ты находишься на содержании, — сказала я.

— Мои друзья поддерживают меня средствами, вот и все, — возразила она беспечно.

— Теперь на тебе никто не женится.

— Жена — несчастная женщина, пленница собственного брака; ее содержит муж, а она вынуждена ему повиноваться и подчиняться условностям. А я поступаю как душе угодно. Если мой покровитель вздумает меня оставить, я с легкостью найду себе другого.

— А как же любовь? — спросила я.

— Любовь гаснет.

— Только не наша с Джорджем.

— Надеюсь, ты права.

В течение нескольких месяцев я счастливо обитала в квартире с зашторенными окнами, в сумеречном, блаженном мирке, который принадлежал только нам двоим. Джордж часто приезжал ранним утром и оставался со мной до полуночи. Лаская любимого, я до мельчайших подробностей изучила его юное тело: чуть приметный шрамик у губ, изгиб нижнего ребра, нежный пушок на животе, ниже становившийся длиннее и жестче, его мужскую плоть, туго наливающуюся в моей руке.

На людях Джордж по-прежнему представлял меня как миссис Джеймс. Он и в спальне называл меня так же: видимо, ему нравилось думать, что он похитил чужое сокровище и безраздельно им обладает.

Однажды мы ласкали друг друга, когда он вдруг остановился. Я попросила продолжать; он уступил, но двигался медленно, всматриваясь мне в лицо. И неожиданно огорошил вопросом:

— А каков был в постели лейтенант Джеймс? Он делал то-то и то-то?

Я так и застыла. Он не отставал, задавая все новые вопросы. В конце концов я оттолкнула его и завернулась в простыню.

— Зачем ты спрашиваешь? Я к нему не вернусь. Ни за что. Теперь ты — мой муж.

— Возвращайся лучше сюда. — Улыбаясь, Джордж попытался освободить меня из простыни.

— Я в самом деле намерена с ним развестись, — продолжала я.

Улыбка погасла, Джордж нахмурился.

— Не говори глупости!

Сорвавшись с постели, я решительно принялась одеваться. Как он смеет так разговаривать? Впервые у меня мелькнуло слабое подозрение, что Джордж относится ко мне куда с меньшим уважением, чем я воображаю.

Теперь, оставаясь одна, я беспрестанно тревожилась. На ум шли слова миссис Ри. Что со мной станет, если Джордж меня покинет? Без него жизнь не имеет смысла. Если ему приходилось зачем-нибудь уехать из Лондона, я с ужасом думала: а если он не вернется? Зато когда мы были вместе, я непрерывно его желала; тревога смешивалась со страстью, усиливая ее стократ. Лишь в миг абсолютной близости я чувствовала себя уверенно и спокойно. Я вновь и вновь заставляла Джорджа обещать, что он никогда меня не оставит. Я нуждалась в нем все сильнее и сильнее.

Близилось лето; Джордж приезжал ко мне все позже. Случались дни, когда он не приезжал вовсе.

Как-то раз, в конце июля, он прибыл к четырем часам дня. Когда Джордж вошел в гостиную, я притворилась, будто удивлена. А у него вид был официальный и явно

пристыженный.

— Нам надо поговорить, — объявил он.

Уже много недель я убеждала себя, что все хорошо. Но стоило лишь взглянуть на Джорджа в ту минуту, как стало ясно: пришло неизбежное.

Он смущенно откашлялся.

— Меня отправляют обратно в Мадрас.

Я пыталась поймать его взгляд; Джордж отводил глаза. Мы оба понимали, что это решение принято нарочно, чтобы разлучить нас. Уже довольно давно его начальство требовало, чтобы он прекратил со мной встречаться.

— Я могла бы поехать с тобой, — вымолвила я наконец.

— Ты сама понимаешь: это невозможно.

— Я для тебя недостаточно хороша, так?

Он промолчал.

— Очевидно, я гожусь тебе в любовницы, а больше ни для чего.

— Элиза, ты знаешь, что я всегда буду тебя любить. Но ничего хорошего из этого не выйдет. Если мы продолжим наши отношения, моя карьера, считай, загублена. Ведь ты — жена офицера, и этого не изменишь.

Опустившись на колени, он сжал мои руки в своих.

— Ну пожалуйста, прости меня.

Он не скоро осмелился поднять взгляд. А когда все же посмел, я оттолкнула его прочь. Дрожа всем телом, я едва смогла открыть дверь.

— Я могу еще некоторое время оплачивать твои счета, — предложил он.

— Уходи!

— Но что ты будешь делать?

В этот миг я его ненавидела. Неужто он в самом деле вообразил, будто деньгами может успокоить совесть? Взглянув на него в последний раз, я увидела Джорджа таким, каков он был на самом деле: человек слабый и трусоватый.

Я потрянула головой:

— Видеть тебя не хочу! Уходи. Навсегда.

На следующий день я отправилась к ювелиру, который славился умением держать язык за зубами, и продала изумрудную брошь. Вернувшись домой, я застала свою горничную Эллен в моей собственной спальне у зеркала. Волосы у нее были подняты и склоты на макушке, на шее красовалось мое ожерелье. Когда я вошла, Эллен и не подумала смутиться. В сущности, до сих пор я к ней толком не приглядывалась, а сейчас рассмотрела. Ее каштановые волосы блестели, кожа была гладкой и нежной. Глаза напомнили мне глаза Брайди — такие же карие, с золотыми крапинками. Ее бы приодеть — и Эллен превратилась бы в сущую красотку.

— Вы мне должны деньгу за два месяца, — сообщила она.

— Я скоро заплачу.

— Ну, это я уже слышала.

— Так как же быть? — спросила я.

— Можете заплатить вещами. — Эллен указала на платье из розовой тафты, небрежно брошенное на кровать.

Она же подыскала мне новое жилье — домик в лондонском предместье, в Айлингтоне.

Мы уговорились, что Эллен останется со мной, а я буду вместо жалованья отдавать ей платья и безделушки. Я не тешила себя иллюзиями, будто Эллен — преданная служанка которая не покинет свою госпожу в трудный час. Верна она была не мне, а моему гардеробу и драгоценностям.

От Пикадилли до Айлингтона ехать целый час. Улицы здесь немощеные, в сырую погоду грязь была непролазная, в воздухе стоял густой дух конского навоза и сена. Из окон моего нового дома открывался вид на коровье пастбище. Я храбро притворялась, будто все хорошо. Если я и пала, то среди порядочных и достойных людей. Свежий воздух и простор благотворно повлияют на здоровье, а мой домик пусть небольшой, но чистый. Комнаты я обставила в богемном стиле, надеясь, что они будут смотреться оригинально — а не попросту бедно и убого.

Как только в обществе пошли слухи о моем бедственном положении, меня один за другим навестили несколько джентльменов с предложением помощи. Я остановила свой выбор на маркизе Солсбери, полагая, что без труда смогу им управлять. Маркиз был пухлый господин лет тридцати, с изрядным брюшком, непокорной черной шевелюрой и розовым блестящим лицом. Хотя он взялся оплачивать мои счета, я твердо намеревалась держать его на расстоянии. Однако после нескольких посещений театра и обедов в дорогих ресторанах обуздывать маркиза становилось все труднее. Когда он сделался слишком пылок, я принялась рассуждать о тонкости и ранимости своей души, а также о том, что перенесенная в Индии малярия подорвала мое здоровье, и врач запретил мне переутомляться.

Вскоре уже никакие отговорки не помогали. Поэтому, когда маркиз являлся с визитом, я просила Эллен входить в комнату каждые десять-пятнадцать минут. Она так и делала, и в конце концов это превратилось в комедию. Не выдержав, маркиз однажды в гневе выбежал вон.

— Придется вам завести себе другого джентльмена, — сказала Эллен.
Я лишь покачала головой, понимая, что у меня попросту не хватит духу.

Сидя в своей крошечной гостиной, я подвела невеселые итоги. Деньги, что тайком от мамы дал майор Крейги, почти совсем разошлись. Ювелир, которому я отнесла подаренные маркизом бриллиантовые серьги, сказал, что бриллианты фальшивые. В банке отказались выдать деньги, пока Томас не переведет на мой счет очередную сумму. Дома Эллен устроила мне выволочку. Плата за дом просрочена, и как раз сегодня пришли новые счета. Подсчитав оставшиеся средства, я выяснила, что у меня на руках есть несколько банкнот и горстка мелких монет.

Через несколько дней свободная независимая жизнь кончилась. Экипаж с лошадьми вернулся в конюшню, мебель я продала. Эллен в качестве платы получила фальшивые бриллиантовые серьги и светло-зеленое шелковое платье. В одном я была уверена: платья нежных расцветок мне больше носить не придется. Любовь имеет цену, и я заплатила очень дорого. Продав последнее, что имела, я внесла деньги за комнату и погасила большинство счетов. Затем, с жалкими грошами в кармане, я отправилась в Эдинбург к миссис Ри.

Сцена пятая

Белая кружевная мантилья

Глава 17

Эдинбург показался мне унылым и мрачным; знаменитый замок высился над городом, точно зловещее напоминание: еще шаг — и тебя замуруют в холодной подземной темнице. Был хмурый октябрьский день, и уже сгущались ранние сумерки, ложась на улицы и дома, как сырой заплесневелый саван. Люди кутались в темные тяжелые пальто, лица казались худыми и неприветливыми. Экипаж со стуком катился по булыжной мостовой, а мне вдруг вспомнилась бабочка с лазурно-серебряными крыльями, которая вывелась из куколки у Джорджа в каюте, когда мы плыли из Индии. Мы выпустили бабочку на волю, надеясь, что теплый ветер отнесет ее к берегу, не желая видеть, как она неизбежно погибнет у нас на глазах. А сейчас я по собственной воле сдалась судьбе.

Миссис Ри встретила меня тепло, ничуть не удивившись моему приезду.

— Ты молода, — сказала моя добрая тетушка. — И больше не будем говорить о происшедшем.

У меня слезы навернулись на глаза.

— Я не заслуживаю вашего сочувствия, — пролепетала я растроганно и благодарно.

Жизнь у миссис Ри текла плавно, размеренно, с усыпляющей ум монотонностью: чаепития, посещение церкви, вышивание. Прием гостей походил на собрание церковных прихожан. Если со мной вдруг заговаривал один из приглашенных мужчин, миссис Ри мгновенно появлялась рядом. Она вновь и вновь рассказывала порядком измененную историю моей жизни, как будто надеялась, что благодаря многократному повторению выдумка станет истинной правдой. Рассказ неизменно завершался тем, что, едва я полностью оправлюсь от падения с лошади, сразу вернусь в Индию к мужу.

Если я пыталась возражать, миссис Ри поспешно меня уводила.

— Речь идет не только о твоей собственной репутации, — напоминала она. — Нельзя забывать о твоём супруге и отчине. И что немаловажно, о моем добром имени также.

С самого начала она четко объяснила, что у нее в доме запрещено: разговоры о политике, чтение газет и романов. Когда я заикнулась о конных прогулках, тетушка решительно покачала головой:

— Не забудь, что ты повредила спину.

— Но вы же знаете: я вовсе не падала с лошади.

— Давай не будем ссориться.

Огромное количество времени отводилось рукоделию. Миссис Ри полагала, что нет лучшего способа занять ум.

— От праздных рук только и жди беды, — говорила она.

Если бы только от них, думалось мне.

Мы с ней вдвоем шили приданое для хрупкой бледной девушки, которая была помолвлена с молодым офицером. Мне казалось, что она непременно умрет родами. Чтобы принести ей хоть немного удачи, по внутренним швам на нижних юбках я пустила крошечные веточки белого вереска.

Лишь изредка я выходила под вечер из дома, и то лишь для унылых прогулок в ботаническом саду. Под ногами хрустел стылый гравий, меж голых ветвей висела мокрая от дождя паутина, с деревьев падали тяжелые холодные капли. Шагая по аллеям, я обдумывала свои возможности. Можно стать гувернанткой при детях или компаньонкой одинокой дамы. Выбор невелик, однако никаких иных достойных занятий жизнь не предлагает.

Я вышивала. Воткнешь иголку, протащишь нитку, снова воткнешь... Сначала вышивала зеленой шерстью, потом — красновато-коричневой, затем — нежно-розовой. Менять цвет мне не нравилось: ритм стежков нарушался, это раздражало. Чем крупнее рисунок, тем проще было вышивать. Сегодня я уже трижды меняла нитки, а время еще даже не приблизилось к полудню.

Последние четыре месяца я помогала миссис Ри с вышивкой, которую она делала лично для себя. До сих пор тетушка не заметила, что вышедшие из-под моих рук фрукты отличаются от тех, над которыми трудилась она. Мои были куда спелее, сочнее, роскошнее; а некоторые, наоборот, с помятым бочком, темным пятнышком. Порой я втихомолку вышивала среди фруктов крошечных мушек и паучков. Дальше — больше. Из яблока выглядывал червяк, по листу ползла фруктовая мушка, переспелая груша обмякла и потекла. Вскоре скучная чаша с фруктами оказалась полна жизни.

В начале марта пришла судебная повестка. Миссис Ри как раз обнаружила плоды моего тайного украшения; стоя в гостиной, она восклицала:

— И что дальше? Гоблины, драконы, эльфы? Ты просто не можешь сдержать себя, да?

Не знаю, чем бы дело закончилось: то ли она потребовала бы, чтобы я распустила вышитых жучков-паучков, то ли позволила им остаться, — но тут раздался стук в дверь.

Узнав, кто именно пришел, миссис Ри побелела.

— Господи! — шепнула она одними губами.

В дом явился судебный пристав.

— Вы — миссис Элиза Розана Джеймс? — обратился он ко мне.

В ответ я лишь кивнула; он продолжал:

— Вам надлежит явиться в Арчский суд^[15] в Лондоне восьмого декабря тысяча восемьсот сорок второго года.

— Зачем?! — изумилась я.

Пристав неловко переступил с ноги на ногу.

— Вам предъявлено обвинение в супружеской измене, мадам.

Когда он ушел, я рухнула в кресло.

— Как Томас мог?! Так со мной обойтись!

— Ах, боже мой! — сокрушенно вздохнула миссис Ри. — Лейтенанта Джеймса явн^о оповестили о твоих приключениях. Клянусь, он узнал об этом не от меня.

— Но ведь он первый мне изменил. Я же именно поэтому от него и ушла.

— Это не имеет значения, — возразила миссис Ри.

— Как не имеет?! — вскричала я. — Он — неверный муж!

— Ты великолепно знаешь, что мужчина может поступать, как ему заблагорассудится.

— А я заявлю в суде, как было дело. И предъявлю встречный иск.

Миссис Ри прикусила губу.

— Ничего не получится. Единственное основание, на котором ты могла бы с ним

развестись, — чрезвычайно жестокие побои.

— Он меня бил.

— Но не до смерти. По закону, муж вправе наказывать свою жену.

— Значит, закон несправедлив!

Миссис Ри тяжело осела в кресло и покачала головой.

— Ты уязвила его гордость. Он тебе это не спустит.

— Но как я стану жить? — внезапно ужаснулась я. — Если Томас со мной разведется, то и денег высылать не станет. Я останусь без гроша.

Миссис Ри нервно сцепила руки.

— Не знаю, чем тебя утешить. Это конец. Уж так скверно, что хуже быть не может.

— Ну как он может так со мной поступать?!

Миссис Ри вынула из рукава новый платок и промокнула глаза.

— Господи! — вздохнула она. — Бедная моя, несчастная детка.

У себя в спальне я долго сидела не шевелясь, глядя в одну точку. Милая миссис Ри была расстроена даже больше, чем я. Она так старалась уберечь меня от позора, и вот — я обрушила позор на нее. Она ни словом не обмолвилась, но я понимала, что не могу оставаться с ней под одной крышей.

После развода Томас не просто лишит меня средств к существованию — по его милости я окажусь вне общества. Я буквально видела его лицо, искаженное холодным бешенством и жаждой мести. Обвиняя в супружеской неверности, он намерен опозорить меня и уничтожить. Каждая подробность моих отношений с Джорджем станет известна, мое имя будет втоптано в грязь. Когда суд закончится, моя жизнь будет кончена тоже.

Я размышляла о Джордже, заново переживала время, которое мы провели вместе. Вспоминала, как мы робко целовались, наглядевшись на дельфинов и летучих рыб. Как засыпали в объятиях друг друга в отеле «Империял». В течение этих коротких, ни с чем не сравнимых месяцев я полностью отдалась любви — и что получила взамен?

Внезапно во мне все восстало. Сколько можно меня топтать, в конце-то концов? Я — молода и полна жизни, мне всего двадцать два года; я — женщина, а не какой-нибудь ветхий, рассыпающийся в труху пенек. Когда я сбежала с Томасом, мне уже тогда твердили, что я погубила свое будущее. Когда я влюбилась в Джорджа, мне снова прочили гибель. Теперь муж задумал со мной покончить. Однако я дважды избежала верной гибели; избегу ее и сейчас.

Я бросила взгляд кругом. Моя милая спальня, моя тюрьма, где стены оклеены обоями в цветочек. По крайней мере я могу избавить миссис Ри от дальнейших неудобств. Попрошу у нее только одно: денег, чтобы добраться до Лондона.

Уложив вещи, я спустилась вниз.

— Куда же ты? — горестно спросила моя добрая тетка. — Что ты станешь делать?

Я расцеловала ее в обе щеки.

— Не тревожьтесь. Я о себе позабочусь, обещаю.

Мы неловко стояли в прихожей, затем миссис Ри привлекла меня к себе и крепко обняла. Я прильнула к ней. Как не хотелось отпустить!

— Простите, — пробормотала я, отстранившись.

Она отвела мне от лица выбившуюся прядь волос.

— Не забывай: на свете есть люди, которые тебя любят.

Я покинула Шотландию под громкий стук дождевых капель. Возле Мурфутских холмов река Твид подмыла берега, и вода плескалась на самой дороге. Сильный ветер бился в бок кареты, грозя опрокинуть. Возница хотел повернуть назад, но я отказалась. Вместо этого кричала ему, чтобы гнал лошадей — быстрее, быстрее, навстречу ветру и дождю.

Глава 18

Сидя в подпрыгивающей на ухабах карете, я рассмотрела конверт, который миссис Ри отдала в последнюю минуту перед отъездом. Письмо принесли вскоре после того, как у нас побывал судебный пристав; нам было не до письма, и конверт остался лежать на столике в прихожей. Да и вообще, зачем читать то, что я уже знаю?

Несколько раз, когда лошади замедляли бег и карету начинало меньше трясти, я вынимала конверт и принималась разглядывать заново. Плотная белая бумага потерлась, помялась, один уголок порвался. Письмо было опущено в Калькутте двенадцатого декабря 1841 года, целых три месяца назад. Адрес написан рукой моей матери. Буквы неровные, прыгающие, словно мать с огромным усилием сдерживалась. Я представляла себе, как ее праведный гнев изливается на бумагу, а затем течет из Калькутты в Эдинбург — через Бомбей, Портсмут и Лондон. Мне буквально слышались упреки и обвинения, прорывающиеся сквозь потертый конверт. «Как ты могла так поступить со мной, со своим отчимом, с бедной миссис Ри?» Не стоило и открывать. Не знаю, отчего я не выбросила письмо сразу. Материнские упреки звенели у меня в голове, вовсе не обязательно было их видеть облеченными в слова на бумаге.

Перевернув конверт, я внимательно рассмотрела печать.

Три часа спустя я ее вскрыла.

В конверте оказалась одна-единственная карточка из плотной тисненой бумаги, с черной рамкой. Никакого письма, никаких злых упреков. В недоумении и тревоге, я вынула карточку, прочла скупые типографские строчки. Перечитала. С трудом осознала их смысл. Показалось: я падаю, я тону, а стены кареты то вздымаются до небес, то вдруг опадают. Я вцепилась в подлокотник, карточка с траурной рамкой качалась и плавала перед глазами. Мелкий, аккуратный шрифт, коротенькие строчки. Официальное сообщение о смерти майора Патрика Крейги.

«Не может быть!» — думала я.

Я заново перечитала сообщение, пытаюсь найти в нем что-нибудь еще. Должно же быть что-то еще — слова соболезнования, упоминание о последних словах майора Крейги, его последняя мысль, воспоминание! Как могут эти короткие пустые строки означать такую невообразимую утрату? В сообщении говорилось, что мой отчим похоронен на военном кладбище в Динапуре; там же был похоронен отец. Мне вспомнилось, как я стояла возле матери, одетая во все черное, и моя одежда — точная копия ее наряда, хотя я совсем еще кроха. Перед нами — глубокая могила в сухой пыльной земле, над горками благовоний курятся дымки.

Я зажмурилась. В висках молотками билась кровь, в груди болело.

Быть может, это я преждевременно свела майора в могилу? В скрипе колес, в стуке лошадиных копыт слышался голос матери: «Сумасбродная, взбалмошная девчонка. Погоди: ты еще получишь по заслугам». Нет, неправда. Не может такого быть. В его смерти я не

виновна! А тихий упорный голосок нашептывал: «Ты уже потеряла одного отца. Как же умудрилась потерять и второго? Кому нужна такая скверная девчонка, как ты?»

Безуспешно пытаюсь сдержать слезы, я ударила голову о стенку кареты, снова и снова. В памяти мелькали воспоминания и образы раннего детства. Вот папа Крейги сплетает руки и показывает на стене шевелящиеся тени — кролик с осликом. Вот он дарит мне засахаренный орех и обещает, что мы теперь будем одной семьей. А вот папа Крейги приносит домой попугайчика Полли и учит говорить: «Люби Лизи, люби Лизи».

Задержав на окошке грязные занавески, я прижала к лицу кулаки, но все мои беды и горести пробились сквозь них и нахлынули разом. Я заплакала, и это был плач маленького незащищенного ребенка. Я была четырехлетней крохой, у которой умер отец. Я была ничего не понимающей семилетней девчушкой, которую отослали из дома куда-то за тридевять земель. Я рыдала, пока не заболело горло и не вспухли глаза, пока не промокли от слез рукава моего пальто.

В течение долгих лет, что я жила в Шотландии, а затем училась в школе, майор Крейги писал мне письма. Именно он был той ниточкой, что связывала вместе разноцветные лоскутки моей жизни. Я вспомнила нашу встречу в Калькутте, когда я уехала от Томаса. «Какая ты у меня красивая девочка», — сказал майор с теплой улыбкой. Когда мы с ним прощались на причале, помню, мне было стыдно, что я его подвела. И все же, что бы со мной ни приключалось, я ни на миг не усомнилась: майор будет меня по-прежнему любить. Он был моим ангелом-хранителем. Я принимала его как данность, как можно принимать озеро, на берегу которого стоит твой дом, или гору, у подножия которой живешь. А теперь порвалась очередная ниточка, связывавшая меня с прошлым, и я заново ощутила себя совершенно одинокой в огромном неласковом мире.

Вытерев слезы, я в последний раз перечла строчки в траурной рамке. Я не была на похоронах в Индии, однако могла почтить память майора здесь и сейчас. Я сунула уголок карточки сквозь решетку печки; плотная бумага потемнела, затем на ней вспыхнул огонек. Выпрямившись, я держала горящую карточку в воздухе, а желто-оранжевые язычки пламени пожирали страшные слова. Когда имя майора Крейги уже нельзя было разобрать, я выбросила карточку в окно. Порыв ветра подхватил ее, вскинул к небу, она ярко вспыхнула — и исчезла.

Глава 19

Не прошло нескольких дней, как я обзавелась квартирой в фешенебельном районе Лондона и горничной в черном шелковом платье, в чьи обязанности входило открывать дверь гостям. Неважно, что новые шторы приобретены у сомнительного продавца, что платье Эллен еще не оплачено, а денег у меня едва ли хватит на месяц. Медлить нельзя. Уже совсем скоро некоторые знакомые господы получат записки с сообщением, что я буду рада видеть их у себя.

Приехав в Лондон, я первым делом явилась к Эллен. После моего отъезда в Шотландию она вернулась на Хаф-Мун-стрит, где жила раньше. Я попросила возницу остановиться возле ее дома, и, едва Эллен вышла на улицу, я жестом пригласила ее сесть ко мне в карету.

— Те серьги-то — фальшивые, — объявила она первым делом.

— Неужели? — удивилась я притворно. — Маркиз клялся, что это алмазы-«розочки». Подумать только: какому человеку я доверяла!

Услышав, что я прошу снова поступить ко мне горничной, Эллен прищурилась.

— Сколько платить будете?

— А сколько нынче платят?

— Шесть шиллингов в неделю. Коли не можете платить монетой, тогда вещами.

— Отдаю платье из розовой парчи, если приступите прямо сразу. Что скажете?

— А туфли к нему розовые есть?

— Есть. — Я не сдержала улыбку.

— Тогда лады.

После этого я заставила Эллен поклясться, что она сохранит мою тайну, и обрисовала свой план, а также призналась, что средства мои крайне скудны. Миссис Ри дала пятьдесят гиней, от денег майора Крейги осталось несколько фунтов, последний перевод от Томаса я оставила на банковском счете — на самый крайний случай. В шкатулке лежат кое-какие драгоценности, но я понятия не имею, сколько они стоят, а больше у меня совсем ничего нет. Узнав, какими средствами я располагаю и что мне нужно, Эллен поставила условие:

— Тогда платите больше. Восемь с половиной шиллингов.

В конце концов мы сговорились на семи.

Я предложила снова поселиться в Айлингтоне, однако Эллен решительно воспротивилась.

— Нужных господ туда не зазовете, — объяснила она.

Пока Эллен искала подходящее жилье, я наведалась к знакомому ювелиру на Бонд-стрит. В прошлое свое пребывание в Лондоне я не раз к нему заглядывала, и мы с ним были в хороших отношениях.

Мистер Смолбоун был подвижный, ловкий человечек с тонкими пальцами аристократа. На его сдержанность вполне можно было полагаться: он не задавал лишних вопросов и тем более сам не болтал языком.

— Аа, миссис Джеймс, — приветливо встретил он меня и проводил к себе в мастерскую, где не было лишних глаз и ушей.

Я подала свое обручальное кольцо; ювелир поджал губы и взвесил его на ладони.

Каждый раз, открывая шкатулку, я видела это кольцо, угрюмо притаившееся в уголке и как будто бросающее мне обвинение. Точно ночная жаба, оно поблескивало мрачным черным глазом; большое, тяжелое. Квадратный черный камень был окружен мелкими прозрачными камушками.

— Несомненно, это фамильная драгоценность, — изрек мистер Смолбоун. — Вы уверены, что желаете ее продать?

— Совершенно уверена.

Я не любила это кольцо: оно напоминало только о дурном. Томасу его оставила умирающая бабка — на смертном одре она сняла его с пальца и отдала со словами: «Для твоей будущей жены». А Томас мне его подарил спустя несколько месяцев после свадьбы; видно, вообще случайно вспомнил. Даже не спросил, нравится ли мне кольцо, по руке ли. Я и надевала-то его раз или два, единственно, чтобы угодить Томасу, а потом бросила в шкатулку, и там оно хранилось до сего дня.

Ювелир тщательно рассмотрел кольцо в лупу.

— Интересно! Центральный камень — темный турмалин, а вокруг — алмазы.

— Это хорошо? — спросила я с надеждой.

— Удовлетворительно.

Мы оба остались довольны сделкой. Эллен загодя назвала цену, которую стоило запросить, и мистер Смолбоун примерно так и заплатил. По словам моей ушедшей горничной, вырученная сумма позволит мне продержаться в Лондоне не меньше месяца.

На следующий же день мы поселились в скромной квартире на тихой улице неподалеку от квартала Ковент-Гарден.

— Ну, как вам оно? — осведомилась Эллен, имея в виду жилье. — Конечно, не бог весть какая роскошь, но лиха беда начало.

— А оно мне по деньгам?

— Ну, уж придется поджаться и оплатить.

Эллен, казалось, знала цену всему на свете. Разговаривая с ней, я обогащалась массой сведений. На улицах она то и дело указывала на какую-нибудь даму и с удовольствием сообщала, сколько стоит ее наряд.

— Вон то платье тянет фунтов на двенадцать.

— А то?

Из кареты выходила роскошно одетая леди.

— Дорогой бархат с горностаевой оторочкой. Я бы сказала: фунтов двадцать, не меньше. А если его продать, выручишь не больше десяти. Конечно, если не знаешь, где продавать.

За дамой в горностае шла молоденькая служанка, несла две большие шляпные коробки.

— А вот на ней, — продолжала Эллен, — дешевое, но добротное бумажное платье. Оно ей встало шиллингов в двенадцать. Почти трехнедельное жалованье.

Как-то раз мое внимание привлекла девица легкого поведения в удивительно знакомом платье из тафты. Обычно подобные красотки ходили по улицам в шерстяных платьях с криво пришитым кринолином; если и с покрытой головой, то в шляпке с дерзко поднятыми полями и развевающимся пером. Эта же выглядела почти как настоящая леди — разве что шла, виляя бедрами и бросая на мужчин призывные взгляды.

Перед тем как уехать в Шотландию, я отдала Эллен такое же розовое платье в качестве жалованья. Девица приблизилась, и я хорошенько рассмотрела ее наряд.

— Точно: это мое платье.

— Похоже, — согласилась Эллен.

— Оно самое, — настаивала я.

— Почему вы знаете?

— Взгляните на мелкие оборки внизу подола. Уж мне ли их не узнать!

Эллен промолчала.

— Почему вы не оставили его себе? — поинтересовалась я, слегка обиженная тем, что мое платье ушло по такому адресу.

— А что мне в нем проку? Служанка господское платье не наденет. К тому же за него отваяют кучу денег.

— Сколько? — не удержалась я.

— Ну... не спрашивайте, а?

— Да мне просто любопытно.

— Скажем так. Надев ваше платье, девчонка может слупить с джентльмена пять фунтов. А в своем собственном больше пяти шиллингов не получит.

— Немало вы обо всем этом знаете, — заметила я.

— Так ведь у всякой женщины есть своя цена, — ответила умудренная жизнью Эллен.

Конечно, у меня был покровитель — женщине в моих обстоятельствах без него не обойтись. Граф Мальмсбери был хорошо известен тем, что покровительствовал искусствам, к тому же имел обширные связи. Я полагала, что его помощь не принесет ровно никакого вреда. Когда я ему доверилась, граф был чрезвычайно рад оказать поддержку. Ко всему прочему, он был счастлив в браке, что в моих глазах добавляло ему обаяния. Он умел держать рот на замке, ничего не требовал в обмен на помощь и много времени проводил за пределами Лондона. Вопреки здравому смыслу я упорно держалась мысли, что граф станет меня кормить и опекать просто так.

Все шло согласно задуманному. Не пробыв в Лондоне и месяца, я записалась в школу театрального искусства к мисс Фанни Келли на Дин-стрит.

Фанни Келли была особой весьма значительной. Начав играть на сцене в семь лет, она в конце концов стала одной из величайших актрис своего времени. Репутация у нее была ужасной.

Мисс Келли принадлежала к типу людей, который мне был отлично известен. Честолюбивая ирландка всегда окажется вне почтенного и уважаемого общества, будь то в Индии или в театральном мире. Мисс Келли одновременно напомнила мне мать и опереточную певицу; удивительная смесь. Яркая, цветущая женщина, держащаяся с королевским достоинством; при всем том казалось, что королевские манеры она усвоила лишь недавно. Ей было сорок восемь; белые волосы стояли вокруг головы пышным облаком, а живописное платье с кринолином подошло бы скорее для сцены, нежели для обычной жизни.

— Чем могу служить? — осведомилась она при первой встрече.

— Я хочу выступать на сцене.

— Что вы умеете?

— То же, что умеют все молодые дамы. Еще — играть на фортепьяно и петь. Бегло говорю по-французски.

— На обычных умениях далеко не уедешь.

— Мадам, именно поэтому я пришла в вашу школу.

— Ладно, — уступила она. — Приходите завтра; посмотрим, что можно сделать.

На следующее утро мисс Келли провела меня в большую гостиную и указала на фортепьяно:

— Сыграйте что-нибудь.

Не задумываясь, я исполнила мазурку Шопена.

— Значит, вы любите быстрые танцевальные мелодии, — сказала мисс Келли. — Теперь станьте вон там и прочтите что-нибудь наизусть.

Не успела я начать, как она остановила:

— Вы очень странно произносите слова.

Увы: как бы я ни старалась придерживаться аристократичного английского выговора,

меня неизменно выдавала память о местах, где я жила в детстве. Речь звучала не совсем по-английски: я часто тянула гласные, которым полагалось быть краткими, интонации были индийски-напевные, и к тому же часто прорывался ирландский выговор вкупе с некоторой жеманностью, свойственной моей матери.

— Давайте-ка еще раз, — предложила мисс Келли.

Теперь она остановила меня на второй строчке:

— Очень тихо говорите.

Я начала заново. В этот раз добралась до третьей строки, и мисс Келли в смятении покачала головой:

— Не знаю, право же, не знаю. Я очень постараюсь, но обещать ничего не могу.

Едва прошел слух, что я посещаю школу мисс Келли, отношение ко мне в обществе стало меняться. При моем приближении некоторые дамы умолкали или даже отходили прочь, юных девушек спешили увести. Я, несомненно, падала в глазах женского общества, зато популярность среди мужчин выросла стократ. Зная, что обо мне уже шепчутся, я могла лишь откровенно лгать, все отрицая. О предстоящем суде еще пока не было известно, до него оставалось целых пять месяцев, но рано или поздно сведения просочатся. До той поры мое положение замужней дамы служило хоть слабой, но все же защитой, однако время шло быстро.

— Безнадёжно, это безнадёжно! — вскричала мисс Келли.

У нас с ней проходило занятие в театральном зале; театр существовал при школе. Мисс Келли стояла в заднем ряду, а я пыталась что-то изобразить на сцене. Подводил голос: как я ни пыталась говорить громче, голос просто-напросто делался пронзительнее. В пустом зале отзывалось неприятное визгливое эхо.

— Ох, Элиза, — вздохнула моя наставница.

— Я стараюсь изо всех сил, — попыталась я оправдаться.

— Это-то меня и огорчает.

Она поманила меня к себе; я спустилась в зал и уселась рядом с ней в кресло.

— Жаль, что нет спроса на актрис с ролью без слов. Внешность у вас хороша, тут нет сомнений. Вам легко сыграть любовь и страдание; вы очень выразительны, хоть и порой переигрываете. И конечно, вы очень миловидны. Но стоит вам открыть рот — ну, сами же слышите.

— Я буду еще больше стараться, — обещала я.

Мисс Келли покачала головой.

— Едва ли выйдет толк. Пусть даже у вас внешность актрисы — но успеха вы никак не добьетесь. Придется нам придумать что-нибудь иное.

Я горестно смотрела на пустую сцену. Что иное тут может быть?

Мисс Келли вдруг хлопнула в ладоши:

— Знаю! Как же я раньше не додумалась? Вам надо танцевать!

— У меня фигура для танцев неподходящая, — проговорила я с глубоким сомнением.

Мы обе поглядели на мой пышный бюст.

— Да уж, платье на вас не висит, как на вешалке, — заметила мисс Келли.

— И возраст уже неподходящий, — продолжала я.

Она улыбнулась.

— Для того чтоб стать балериной — возможно, да, вы староваты. Однако публике очень

правятся характерные танцы. А для их исполнения не нужны годы тяжелого учения, — сказала мисс Келли. — Вспомните Фанни Эльслер^[16] в «Хромом бесе».

В то время газеты изо дня в день печатали восторженные отзывы об успехе Фанни Эльслер в Америке; ее танец был настолько стихийен, первобытен, что ее называли Языческой Балериной. Когда в ее репертуаре появилась качуча^[17], это произвело фурор.

Я так и загорелась.

— И правда! В «Хромом бесе» множество танцев — гавот^[18], тарантелла^[19].

— Фанданго^[20] в «Фигаро», — подхватила мисс Келли, — качуча в «Гондольерах».

Я хлопнула в ладоши, метнулась на сцену и сделала несколько танцевальных па.

— В школе мы разучивали болеро^[21], мазурку^[22] и менуэт^[23]. А в Индии я немного училась местным танцам. Сейчас покажу.

Согнув колени, как учила Сита, я руками изобразила над головой птиц, затем — распускающиеся цветы. Начала покачивать бедрами, двигая глазами туда-сюда.

Мисс Келли расхохоталась.

— Вы похожи на дурочку. Или на шлюху при храме.

— По-вашему, этот танец некрасив?

Покачиваясь из стороны в сторону, я неожиданно осознала, что уже видела нечто подобное на сцене — танец цыганки в опере Мазилье, — и принялась соединять одно с другим. В Индии, на маскараде, мне как-то раз довелось изображать цыганку. «Да-да, вот оно!» — билось в мыслях, пока я танцевала.

— Несомненно, у вас есть талант, — объявила мисс Келли. — Только я не уверена, что правильный.

В моей собственной гостиной актерские таланты пригождались в полной мере; откровенно говоря, их даже не хватало. Слабенький детский голосок неожиданно оказался достоинством, а не недостатком. Граф Мальмсбери был очарован тем, как сидит на мне платье с низким вырезом — не висит, как на вешалке, а облегает пышную грудь; о моем неанглийском произношении он ни слова не сказал. Довольно скоро граф вышел из роли заботливого папаша и начал заявлять на меня иные права, и тут пришлось пустить в ход все свои таланты и изобретательность, чтобы удержать его на расстоянии.

Я разучивала в его присутствии танцы: нарочно медлила в позе умирающего лебедя, позволяла платью соскользнуть с плеча честолюбивой куртизанки; я веселила графа пляской молодой селянки, услаждала его, на миг являя взору щиколотку либо икру. Стоило моему покровителю подобраться ко мне слишком близко, как я принималась лстить и взывать к его чувству чести. Я играла роль доверчивой и чувствительной молодой актрисы, бесконечно благодарной за отцовскую заботу, и графу было непросто со мной спорить.

Сеньор Антонио Эспа был уроженцем Испании. Он воплощал в себе самую суть испанца — романтического, яростного и страстного; был обладателем смоляной шевелюры и сверкающих глаз, как положено выходцу из его страны. Сеньор Эспа работал за кулисами Королевского оперного театра, и ни один спектакль не обходился без его участия. Он обучал балерин тонкостям испанского танца, пытаясь вдохнуть пламя в их выступления. Если в какой-нибудь новой постановке звучала испанская речь, сеньора Эспу приглашали, дабы придать сцене большую достоверность. Порой, если у него лежала к тому душа, он обучал

танцам частным образом. К нему-то я и прибыла, в студию на Ковент-Гарден, с рекомендательным письмом от мисс Келли.

Меня встретил не слишком молодой мужчина с крашенными в черный цвет волосами, намечающимся брюшком и широкой бочкообразной грудью. Хотя я и была слегка разочарована, показать этого не осмелилась. Сеньор Эспа был облачен в узкие черные штаны и короткую куртку; также на нем были сапожки с высокими каблуками. Меня поразили его густые брови — и невероятное чувство собственного достоинства.

Он провел меня в студию, где стены были увешаны зеркалами, а в углу празднично сидел гитарист.

— *Aquí*^[24]. Встаньте прямо! — велел сеньор Эспа, стукнув тростью в пол.

Прочитав рекомендательное письмо, он с суровым выражением на лице обошел меня по кругу.

— Сеньора Келли полагает, что у вас есть способности.

— Она слишком добра, — ответила я.

Сеньор Эспа сверкнул на меня глазами и опять стукнул тростью.

— Вы умеете танцевать? *Si* или *no*?

— Умею.

— *Es serio*so?^[25]

— От этого зависит моя жизнь.

— *Muy bien*^[26], — сказал он. — Начнем сразу. Позвольте, я покажу.

Сеньор Эспа щелкнул пальцами, и гитарист заиграл. Сеньор с виду был неказист, но в танце совершенно преобразился. В течение нескольких мгновений он мог передать и гнев, и страдание. Густые брови сошлись к переносью, где залегла глубокая складка. Руки были точно птицы — они танцевали, порхали, отчаянно метались. Каблуки выбивали дробь ярости и желания, и сеньор Эспа даже сделался неожиданно красив. Когда танец закончился, его лицо блестело от пота, влажные черные пряди прилипли ко лбу.

— А теперь — вы. — Он указал на центр комнаты. — Забудьте, что вы — дама. Надо начать все с самого начала. — Тут он постучал тростью мне по спине. — Стойте прямо. Еще прямее. И подбородок выше. Выше! Смотрите мне в глаза. *Aquí*. Не отводите взгляд. Поднимите руки над головой. *No, no!* Не так. Вот как надо.

Когда я наконец встала, как требовалось, сеньор Эспа велел:

— *Ahora*^[27] так и стойте. *Ahora* глядите мне в глаза.

Он пошел вокруг, ни на секунду не отводя взгляда от моего лица.

— Как себя чувствуете в такой позе?

Едва я подняла руки, как бюст выдался вперед еще больше, а диафрагма открылась. Я с наслаждением вдохнула — глубоко, целиком наполнив воздухом легкие. От этого ощутила себя каким-то могучим первобытным существом. И в то же время было неудобно: я оказалась совершенно открытой, незащищенной.

— Разведите пальцы, — велел сеньор Эспа. — *Bueno, bueno*^[28]. Но в следующий раз оставьте корсет дома.

Неделя шла за неделей, и рыцарские чувства графа Мальмсбери ослабевали под напором вожделения. Сколько я ни взывала к его стремлению отечески опекать меня и защищать, это стремление истощалось. Делать нечего — приходилось позволять графу все

больше и больше. Ему разрешалось целовать мне руки, запястья, шею. В целом я полагала, что щедрость моя безмерна. Я ему льстила, я его развлекала. Чего ему еще? Вполне достаточно. С какой стати он воображает, будто мне нужны его поцелуи?

Каждый раз, когда его губы на мгновение касались моих, мне становилось до боли грустно и горько. После вечера, проведенного в сражениях с вожделем графом, я бродила по комнатам совершенно безутешная.

— Пока страсть пылка, собирайте драгоценности, — советовала Эллен.

— Я не куртизанка!

— Будьте практичны.

— Уйдите! — гнала я ее.

Как-то раз, оставшись одна, я вывернула на постель содержимое шкатулки с драгоценностями. Среди прочих безделушек лежала дорогая, с любовью подаренная вещь, завернутая в голубой шелковый лоскут. Брошь в виде бабочки — подарок Джорджа.

Не удержавшись, я развернула шелк, внимательно рассмотрела тонкую работу. Бабочка была из серебра и ляпис-лазури, в синие крылья было вставлено по яркому топазу, по краям сверкали крошечные алмазы. Брошь была почти точной копией той настоящей, живой бабочки, которая появилась на свет у Джорджа в каюте.

После того как мы расстались, я пыталась позабыть Джорджа, изгнать его из памяти навсегда. Однако порой доходили о нем вести; а случалось, мне снились сладкие, восхитительные поцелуи, и горьким бывало пробуждение. Как я слышала, Джордж недавно отплыл в Индию.

Я подержала брошь на ладони. Как долго живут бабочки? Несколько дней, недель? Понятия не имею. Я печально улыбнулась. Когда-то я воображала, будто наша с Джорджем любовь продлится вечно. В своей бесконечной наивности я мечтала, что мы поженимся и проведем вместе всю жизнь. В то счастливое время я отдавала себя бесплатно. А теперь бесплатно ничего не будет, все имеет собственную цену. Я хорошо усвоила: сильная любовь горит ярко, но быстро гаснет. И Эллен права, надо быть практичной. Снова завернув брошь в шелковый лоскут, я сунула ее в шкатулку, на самое дно. Объятия графа Мальмсбери не приносят мне радости, зато граф оплачивает мои счета.

Каждый день, с пылом новообращенного, я приезжала в студию сеньора Эспы. Там, на скрипучих досках в комнате с зеркалами, я под руководством пламенного испанца избавлялась от лишнего, наносного, от шелухи воспитания, оков цивилизации. День ото дня я понемногу становилась сама собой. Сеньор Эспа старался очистить каждое чувство, выражаемое в танце, обнажить его до природной основы. То, что приводило в смятение мисс Келли, — моя излишняя театральность, переигрывание — внезапно обрело смысл. Все, что мне до сих пор приходилось в себе сдерживать, было отпущено на свободу. В танце я могла быть порывистой, непокорной, печальной, трагичной. Даже индийские танцы моего детства и тегодились. Когда сеньор Эспа начал учить меня волнообразным движениям кистей рук и пальцев, я немало его удивила гибкостью запястий.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Постигая испанскую танцевальную науку, я сделала неожиданное открытие: оказывается, известные мне танцы — хоть бледные, но все же подобия испанских.

— Прежние знания надо отбросить, — наставлял сеньор Эспа. — Мы с вами должны начать все с самого начала. *El Baile d'España* — испанский танец — отнюдь не вежливый и

утонченный, он дик и стихийен. Вне стен моей студии можете изображать что хотите. Но пока вы здесь, будете изучать его исходную форму.

Спустя четыре месяца ежедневных занятий сеньор Эспа посоветовал мне отправиться в Испанию.

— Это поможет обрести большую выразительность. Я научил вас основам — и больше ничем помочь не могу.

В конце лета я узнала, что лейтенанта Ленокса привлекли к суду. Я гнала от себя мысли о предстоящем разводе с Томасом, но больше не думать об этом было нельзя. Томас предъявил иск Джорджу, и суд рассматривал дело о прелюбодеянии.

— Бедный Джордж, — вздохнула я.

— Бедная вы, — поправила Эллен. — В суде-то будут трепать ваше имя, не чье-нибудь.

Если я останусь в Лондоне, скандал неминуем. Газеты будут обсасывать подробности, в обществе пойдут пересуды. Меня назовут прелюбодейкой, разведенкой, а то и еще как-нибудь похлеще. От образа уважаемой дамы ничего не останется — я останусь одна-одинешенька, без поддержки и средств к существованию. И поскольку назначенная дата суда неотвратимо приближалась, я решила исчезнуть.

Все подготовив, я обговорила последние подробности с Эллен и графом. Тайком навестила ювелира и в последний раз приехала в студию сеньора Эспы. За месяцы, прошедшие в неустанных сражениях за правильные движения и экспрессию, я очень к нему привязалась.

Услышав, что я еду-таки в Испанию, сеньор Эспа прижал руку к груди, а затем велел мне поклясться, что я сохранию тайну, которую он готов открыть.

— *Nina*^[29], — проговорил он, — я вам признаюсь.

— В чем?

— Обещайте, что не станете надо мной смеяться.

— Даю слово.

— Какой я национальности? — огорошил сеньор Эспа неожиданным вопросом.

— Конечно же, испанец, — ответила я с полной уверенностью.

Однако он покачал головой:

— Во мне нет ни капли испанской крови.

Я была потрясена.

— Как же так?

Он стукнул себя кулаком по груди:

— У меня сердце испанца. Вы скоро поймете.

И тут выяснилось, что сеньор Эспа — сын портного из беднейшего лондонского квартала. В двенадцать лет он влюбился в испанскую танцовщицу в театре, в пятнадцать уехал в Испанию.

Когда я прощалась, у него по щеке скатилась слеза. Мы обнялись, и сеньор Эспа расцеловал меня в обе щеки.

— Так принято в Испании, — пояснил он со слабой печальной улыбкой.

Испания показалась мне волшебной страной. В горячем воздухе разливался аромат жасмина, во дворе пенились заросли джакаранды^[30], полыхали цветы олеандра, вечернее солнце ласкало медовыми лучами высохшие от зноя поля. В Кордове мы с Эллен видели, как по улицам несли кровоточащую статую мадонны. В Севилье нам довелось ночевать в древнем палаццо. А в Кадисе я увидела куст гибискуса с осыпавшейся листвой и одним-единственным красным цветком. Он напомнил мне об Индии, и я долго глядела на него с горьким наслаждением. Сверху, из крошечного оконца в стене древней башни, на меня смотрела женщина в черной накидке.

В узеньких извилистых улочках Гранады к небу плыли самые разные звуки: трели канарейки в клетке, звон гитарных струн, низкий горловой плач, озорной детский смех. Женщины в открытых дверных проемах прятали под мантильями лица; мужчины в шелестящих плащах слонялись без дела, стояли под статуями мадонны с видом важным и самодовольным.

Порой на улицах я видела испанских *damas* — женщин, исполненных природной величавости, в богато расшитых шaliaх, с высокими гребнями из слоновой кости в волосах. Кружевные мантильи на голове, смоляные кудри, кожа белее алебаstra, губы ярко крашены красным.

Мы с Эллен, сидя в кофейне, наблюдали, как эти *damas* шествуют мимо, свободные и неприступные, как королевы. Порой к даме подходил мужчина, и тогда она кланялась и брала его под руку либо уезжала с ним в красивом экипаже. Я внимательно присматривалась к тому, как они себя держат и с каким вкусом одеваются; вскоре я тоже приобрела гордую манеру держаться и пышную юбку.

Я с радостью сказала бы, если б могла: я отлично знала, что делаю, у меня был план, который я успешно воплощала в жизнь. Но нет: сделав один слепой шаг, я делала вслепую второй, затем третий. Утром училась танцам, днем изучала испанский язык. Вечерами наблюдала за людьми в кофейнях и на улицах. Я не думала о прошлом, не размышляла над будущим. Как истинная испанка, я жила настоящим, вкушая его сполна.

Эллен стала моей неизменной спутницей. Я слишком устала от мужчин, чтобы подыскивать себе в Испании достойного кавалера, однако появиться на людях в одиночестве было невыносимо — я тут же привлекла бы нежелательное внимание. А в сопровождении Эллен я могла отправляться куда заблагорассудится и делать что душе угодно. В одном из моих старых платьев Эллен легко могла сойти за настоящую леди. Вот только если открывала рот, она себя выдавала. Поэтому я ей строго-настрого запретила разговаривать с незнакомцами: если к нам подходил мужчина, она приветствовала его легким наклоном головы и не размыкала губ.

За совершенно ничтожную плату мы поселились в некогда роскошных покоях, в прошлом принадлежавших арабскому вельможе. Каждый день служанка по имени Долорес приносила букет цветов или фрукты — гранаты, хурму, инжир.

— Это от *finca*^[31], — говорила она.

Долорес была миловидной смуглянкой, улыбчивой и жизнерадостной. А ее имя, поведала она, осеняя себя крестом, означало «скорбь Мадонны».

Однажды я в гостинной разучивала фанданго, когда Долорес принесла букет желтых лилий. Фанданго мне никак не давалось: сколько раз я ни повторяла танец, каждый раз запинаясь на одних и тех же движениях. Долорес поставила лилии на стол, прикрыла глаза и вдруг с поразительной легкостью исполнила не дающуюся мне часть танца. Под конец она

громко стукнула каблуками и довольно улыбнулась.

— А я и не знала, что вы умеете танцевать, — проговорила я, удивленная.

Она повела плечами.

— Так ведь все умеют. Моя семья — *gitano*, мы — цыгане. Танец у нас в крови.

Я снова станцевала фанданго. Поинтересовалась:

— Что я делаю не так? Чего не хватает?

— Душу не вкладываете.

— Душу?

— Не подумайте, что я хочу вас обидеть, — поспешила объяснить Долорес. — Хотите, отведу вас к нашим? Тогда сами все увидите и поймете.

На следующей неделе мы с Долорес отправились; ее семья жила в пещерах Сакромонте. Долорес подала конверт, который я ей заблаговременно вручила, одной из старых цыганок; старуха тщательно изучила содержимое, затем кивнула мне, разрешая остаться. Остальные на меня почти не обращали внимания. В очаге был разведен огонь, по стенам плясали тени, а десятка полтора цыган праздновали: младший брат Долорес в тот день принял причастие. Стол был уставлен остатками праздничной трапезы; с криками носилась ребятня, взрослые сидели в центре пещеры. На ноги поднялся очень толстый человек с огромными усами; мгновенно стало тихо. Молодой парень отстукал простой ритм, и толстяк запел. Голос у него был грубый, песня больше напоминала стон, крик боли, дикий вопль, вой дикого зверя. Однако он пел с таким чувством, что у меня защемило сердце. Слушатели начали хлопать в ладоши и топать, отбивая ритм, а певец самозабвенно пел и пел. И вот уже все вокруг, даже малышня, хлопали и топали, словно вызывая какого-то своего, темного бога.

Песня закончилась, с места поднялась дородная немолодая женщина с рябым лицом.

— Кармен, Кармен! — раздались голоса.

— *Es me tia*, моя тетка, — пояснила Долорес. — Наблюдайте как следует.

Цыгане хлопали, одни кричали, другие отбивали ритм маленькими палочками. Кармен стояла среди них, одну руку уперев в бок, в другой сжимая большой лакированный веер. Затем тоже начала отбивать ритм каблуком.

Будь мы в Англии, толстуха Кармен показалась бы зрителям смешной и нелепой. Здесь же ее воспринимали всерьез и с нетерпением ждали танца. Ее полное тело было обтянуто пронзительно-красным платьем, толстые пальцы унизаны золотыми кольцами тонкой работы, лицо обрамляли черные кудри. Зашелестев юбками, Кармен сделала несколько плавных шагов, отмахиваясь веером, словно желая утихомирить расшумевшихся зрителей. Долорес прошла перед ней в кратком танце, точно поддразнивая тетку собственной молодостью и красотой.

— *Guara, guara!*^[32] — орали цыгане и хлопали все громче, стучали деревянными палочками. — Давай, смелее!

Широким жестом Кармен положила веер и застыла, чуть выдвинув вперед ногу. Пристукнула каблуком, и мгновенно настала тишина. Медленно-медленно Кармен подняла руки над головой, одновременно прищелкивая пальцами. Ее руки были гибки, как прутья ивы, лицо недвижно и торжественно. Она точно знала, когда замереть, когда сменить шаг, развести пальцы, движением рук рассеять воздух. Я не сводила с нее глаз. В звуках дикого воющего пения и в танце рождалась повесть о горестях и печалях. Бешено отбивая чечетку, Кармен яростно сражалась с мрачным облаком надвигающейся смерти.

Потом зазвучала новая песня, и танец стал радостнее и веселее. Кармен повествовала о

жизни, о сладких апельсинах и порхающих птицах. Все мои прежние представления о красоте рушились. Толстое, нелепое тело цыганки каждым движением пело о любви и желании; Кармен то обретала грацию молоденькой девушки, то становилась по-королевски величественной.

С места вскочил тонкий, совсем юный парнишка, танцуя, пошел след в след за Кармен. Она откликнулась на его появление мягкой насмешкой. Казалось, ее движения говорят: «Вот теперь перед тобой настоящая женщина, а до этой минуты ты видел девчонку». Кармен то добродушно посмеивалась, а то вдруг становилась любящей и заботливой. Они танцевали — то шутливо, то чувственно; под конец я неожиданно сообразила, что стройный юноша — ее сын.

Позже Долорес подвела свою тетушку ко мне познакомиться.

— Меня учили совсем другим танцам, — сказала я, все еще не оправившись от изумления.

Кармен повела полными плечами.

— Есть испанский танец, а есть фламенко.

— Фламенко? — переспросила я, наслаждаясь звучанием незнакомого слова. — Что это значит?

Она снова пожала плечами.

Насколько я поняла, фламенко — это особый стиль, особое отношение к жизни. Танец фламенко полон огня, он шумный, яркий, смелый. У него древние корни, и он исполнен гордости и чувства собственного достоинства^[33].

Кармен была суровой учительницей. Хотя я платила ей очень щедро, она ни на миг не позволяла забыть, что я получаю от нее ценнейший подарок. Пусть; я была на все согласна. Цыгане черпали свое искусство из какого-то природного источника, и я желала разобраться, как они это делают.

Кармен снова и снова заставляла меня повторять движения, а шумная малышня вбегала в пещеру и снова убегала, смеясь надо мной и передразнивая.

— Ты неплохо танцуешь, — сказала она как-то раз. — Но без *duende* у тебя есть лишь форма танца, пустая скорлупа.

— Что такое *duende*?

— Это — неясный звук, тайна. То, что в крови. Что пришло от дедов и прадедов. Чтобы танцевать с *duende*, тебе надо найти самую суть, сердцевину. Все лишнее нужно отбросить. А когда отыщешь то, что внутри, сырое, трепещущее, — тогда сможешь начать. — Кармен хлопнула в ладоши: — Давай снова.

Я сделала несколько первых шагов. Кармен качнула головой:

— В тебе слишком сильна английская кровь. Она не дает тебе двигаться.

— Я не англичанка! — возразила я.

Кармен обидно расхохоталась.

— Да ты вообще танцуешь, словно в жилах вода, а не кровь. Ну точь-в-точь старая корова на лугу. Будто у тебя в сердце не огонь, а толстая ленивая жаба. — Она снова хлопнула в ладоши: — Пошла!

Разъяренная обидными словами, я вихрем пустилась в пляс. Руки рвали воздух в клочья, пальцы были, словно ножи.

Отплясала; остановилась, тяжело дыша. Кармен зааплодировала.

— Так-то лучше, — сказала она довольно.

Каждый раз, как я отправлялась в пещеры к цыганам, Эллен меня сопровождала. Не то чтобы ей нравилось — она полагала это своим долгом.

— Понять не могу, что вас туда тянет? — говорила она. — Совершенно отвратительный народ. И еда у них прямо плавает в масле. К тому же они без зазрения совести вас обдирают.

— Эллен, если вам не хочется, не ходите.

— Отпускать вас одну?! Да с вами там бог весть что может случиться.

— Ладно; тогда пора отправляться.

По дороге к пещерам Эллен не умолкала:

— Ничего из этого не выйдет. Весь этот вой и топот — они такие грубые, никакого нет благородства. И в движениях ни тонкости, ни изящества. Это вообще назвать танцем нельзя.

— Возможно, оттого мне и нравится.

— Так ведь никто платить за такое зрелище не станет. Денег вам на нем никак не заработать.

— Посмотрим, — стояла я на своем.

Близилась весна, и одна из двоюродных сестер Долорес вышла замуж. Кармен пригласила меня на свадьбу; она же посоветовала, какой сделать подарок — конверт с деньгами, вложенный в ларец с серебряными ножами. К вечеру дошло дело до песен и танцев. Порой мужчина и женщина танцевали друг против друга, точно противники в смертельной схватке, а порой улыбались друг другу, смеялись.

Эллен с каменным лицом сидела в углу, словно чувствовала себя в одном из нижних кругов ада. Если ей предлагали вино или еду, она неизменно качала головой, отказываясь.

— Это очень невежливо, вы их напрасно обижаете, — указала ей я.

— Мне все равно!

За прошедшие несколько месяцев семейство Долорес начало воспринимать меня почти как свою. Думаю, их забавляло, что я хочу у них учиться. Одна лишь старая бабка не желала меня признавать.

То и дело разносили вино — густое, золотистое, которое огоньком растекалось внутри. Чем ближе к ночи, тем более дикими и страстными делались танцы.

После очередной здравицы молодоженам девушка по имени Имакулата пошла по кругу, кого-то или что-то высматривая; Черные глаза сверкали из-под сросшихся густых бровей. Кто-то указал на меня, но я решительно потрясла головой. Имакулату это не остановило: невзирая на мои возражения, она вытащила меня на середину пещеры.

Покачиваясь из стороны в сторону, руками сплетая в воздухе замысловатые узоры, Имакулата начала фанданго. Я повторяла ее движения, однако тело было неловким, точно заостеневшим. Имакулата с силой топала по земляному полу, так что взлетала пыль; дернув за подбородок, она заставила меня высоко поднять голову. Цыгане кругом оглушительно хлопали, Имакулата сердито закричала. Потом они заорали все разом, яростно топая ногами.

Вино и дружные хлопки сделали свое дело; от шума и жары у меня кругом пошла голова, а в тело вдруг влилась незнакомая прежде сила. Во мне проснулось нечто природное, первобытное — и больше уже не уснуло. Имакулата подталкивала меня, упрашивала, подзуживала; она отбивала ритм, ее руки давали танцу жизнь. И эта жизнь билась у меня в животе, в сердце, в горле. Пот заливал лоб, платье на спине и груди промокло насквозь.

После фанданго я исполнила танец *solea*. Грудь мне пронзала любовь, она порождала движения рук, от нее ожили и заговорили на собственном языке пальцы. Я изобразила зарождение любви, затем ее смерть. Показала глубокие тени и вспышки света. Розовый бутон на весенней ветке. Букет сухих лилий, оставленный у входа в склеп. Я станцевала робкий стук начавшегося дождя по сухой, изможденной, растрескавшейся земле. Брошенную возлюбленную. Я танцевала голые ветви дерева, некрещеного младенца, зарытого под корнями капока. Все свои горести и потери я танцевала там, в цыганской пещере. Прическа распалась, волосы рассыпались по плечам, платье оказалось порвано, пот лил с меня ручьем.

Затем Имакулата ободряюще похлопала меня по спине, Кармен промокнула мне лицо, убрала волосы с глаз, кто-то поднес стакан сладкого вина. В дальнем углу Эллен гадливо кривила губы.

На следующий день пришли два письма из Англии. В первом конверте лежал чек от графа Мальмсбери и несколько газетных вырезок. Второе письмо, из лондонской консистории, было переслано через миссис Ри. Согласно официальному уведомлению, Томас получил развод *a mensa et thoro*^[34]. На прошлой неделе Джордж согласился заплатить ему деньги за моральный ущерб. Дай я себе труд прочесть внимательно мелкий шрифт, я бы увидела, что развод наш — неполный, мы оба не имеем права на повторный брак. Лейтенант Джеймс и я остались навечно связаны друг с другом, нравилось нам это или нет. Дело о разводе было громким, отчеты печатались во многих газетах. В заключительной речи судья заявил, что я виновна в поведении, от которого содрогнулся бы и покраснел даже аллигатор. Газетные статьи полнились непристойными сплетнями и домыслами. Совершенно очевидно, что в театрах и светских гостиных об истории моей любви судачили, как о каком-то дешевом романе. Люди перешептывались, называя меня прелюбодейкой, потаскушкой. Ну и ладно, решила я; терять мне уже нечего.

— Значит, мы можем возвращаться домой? — спросила Эллен.

— Как только уляжется пыль, — кивнула я. — Подождем немного.

Пришла пора критически взглянуть на сложившуюся ситуацию. Эллен, разумеется, права: попытка станцевать фламенко в Лондоне обречена на провал. Меня просто-напросто под свист и хохот зала прогонят со сцены. Британский театрал желает получить аромат экзотического блюда, а вовсе не самую малосъедобную для него пищу. Ему нужна интерпретация; не Испания как таковая, а ее дух, тщательно отфильтрованный, разбавленный и подсушенный. Прекрасно, говорила я себе. Я создам некую фантазию на испанскую тему. В позолоченном и утонченном мире лондонского театра я представлю зрелище, которое повергнет зрителей в восторг и смятение, и они даже понять не смогут, бегут у них мурашки от радости или отвращения.

Я перестала ходить в пещеры к цыганам. Сшив три испанских бальных платья, сначала я исполняла небыстрые и полные величавого достоинства классические танцы, затем перешла к тем, что переняла у Кармен, стараясь исполнять их так, чтобы не бросало в пот. Я упростила движения, замедлила темп; научилась танцевать с кастаньетами, с веером, с шалью. Я пользовалась всем, чему научилась у Ситы, у мисс Келли, у сеньора Эспы: гибкие движения кистей рук, актерская игра, чувство театра — все это мне теперь пригодилось.

Цыгане из пещер Сакромонте поразились бы и огорчились, увидев, что я сотворила с их

искусством. Кармен восприняла бы это как настоящее предательство. Однако я полагала, что у меня получилась не злая пародия, не полное искажение танца. Ибо дух фламенко оставался со мной — он жил в моем сердце, и отбрасывать его вовсе я не собиралась.

Однажды ранним утром Эллен нашла снаружи на подоконнике розовый бутон. Следующим утром появился другой. Долорес каждый вечер молча ставила на подоконник хрустальный бокал с водой, и наутро в нем обнаруживался цветок. Эллен твердо вознамерилась вызнать, кто тот злодей, что приносит тайком розы, но как бы рано она ни вставала, ни разу ей не удалось застать таинственного незнакомца. Подбежав к окну, она всякий раз находила в бокале цветок, и ни следа человека, что его принес. Поначалу бутоны были белые, с нежнейшим оттенком розового, и плотно сомкнутые. Однако с течением дней лепестки становились все более раскрытыми, а цвет — насыщенным. На седьмой день мы обнаружили полностью распутившуюся розу с алыми бархатистыми лепестками. Все трое — Эллен, Долорес и я — по очереди насладились кружащим голову ароматом.

— У меня явно есть тайный поклонник, — заметила я.

Эллен с Долорес обменялись удивленными взглядами.

— Розу-то для меня поставили, — с жаром заявила Эллен.

Долорес тихо, застенчиво улыбнулась:

— А по-моему, для меня.

День отъезда близился, и я приобрела новый гардероб. Долорес объявила, что помолвлена и скоро выходит замуж. По моему настоянию Эллен передала ей одно из моих старых платьев.

— Неужто так надо? — пыталась она возражать, надеясь, что платье в конце концов достанется ей.

— Обязательно, — сказала я решительно, и платье отправилось к Долорес.

В мануфактурном магазине я купила роскошную мантилью из белого кружева; это был тончайший рисунок из роз и флердоранжа^[35]. Я говорила себе, что подарю мантилью Долорес — пусть наденет на свадьбу; но как-то само собой вышло, что этот подарок я ей не вручила. Когда прибыли новые платья, мантилью я убрала в саквояж вместе с ними, а старые наряды все отдала Эллен. Она долго не могла поверить, что ей привалило такое счастье.

— Вы уверены? — спрашивала она. — Не передумаете?

— Нет. Эти платья принадлежали Элизе Джеймс.

Как-то раз, перед самым отъездом, мы с ней сидели в кофейне, наблюдая за величавыми *damas*, что прогуливались по улице. Я была одета в один из недавно сшитых нарядов, Эллен — в перешедшее к ней платье.

Издаലെка наблюдая за краткой беседой великолепной *dama* и ее поклонника, я неожиданно осознала, что именно я вижу. В смятении, шепотом я поделилась своим открытием с Эллен.

— Так оно же яснее ясного, — фыркнула она.

— Но ведь они держат себя так скромно и достойно. — Слабое оправдание собственной недогадливости.

Эллен бросила на меня странный взгляд, и тут я, не сдержавшись, громко засмеялась. Великолепные *damas*, которых я взяла себе за образец, оказались куртизанками. Я поглядела на свой собственный новый наряд. Оставалось надеяться, что в Лондоне люди столь же

Наивны, как я.

Звонким морозным утром в апреле 1843 года в Саутгемптоне сошли на берег пассажиры, приплывшие из Кадиса. Среди них была молодая женщина с необычной броской внешностью; она дрожала от холода и куталась в кашемировую шаль. Сеньора Мария Долорес де Поррис Монтес — ибо, как истинная испанка, она предпочитала, чтобы ее называли полным именем — была из благородной семьи, обнищавшей во время недавних карлистских войн. Она была еще совсем молода и лишь недавно вышла замуж, однако в силу жестоких обстоятельств уже овдовела. С ног до головы одетая в траур, сеньора Поррис Монтес являла собой картину неутешного горя. Ее черные как смоль волосы были скототы высоким испанским гребнем, сквозь кружевную мантилью смотрели влажные глаза. Она не скрывала скорби, однако держалась прямо и с большим достоинством. В отличие от большинства испанцев — черноглазых или кареглазых — эта молодая сеньора была обладательницей удивительных лазурных очей.

Намеренно замешкавшись на берегу среди толпы, от волнения едва дыша, я наблюдала за тем, какое произвожу впечатление. Ни единая душа ни на миг не усомнилась в том, что я — чистокровная испанка. За спиной я слышала восхищенный шепот; конечно, я привлекала внимание, однако не вызывала подозрений. Вслед за мной шагала Эллен; я ей строго-настрого запретила открывать рот, и она послушно держала язык за зубами.

В Лондонском королевском театре готовились к торжественному показу «Севильского цирюльника»; в высшем свете это считалось событием года. Билеты на премьеру были уже проданы и перепроданы с большой наценкой, как вдруг объявили о выступлении новой звезды. Между действиями донна Лола Монтес, ведущая танцовщица театра «Реал» в Севилье, исполнит настоящий испанский танец — *El Oleano*^[36], олеано. По городу пошли слухи, и цены на билеты подскочили еще выше, потому что желающих попасть на «Севильский цирюльник» прибавилось. В день премьеры театр гудел от волнения. В королевской ложе престарелый король Ганновера сидел рядом со вдовствующей британской королевой. Внизу народ ломился в двери, умоляя продать билетик.

Пробу мне обеспечил граф Мальмсбери. Хотя он уже оставил мысль завоевать меня и перенес свое нежное внимание на юную честолюбивую актрису, он не пожелал упустить отличную возможность созорничать и от души повеселиться. Перед беседой с директором театра граф ознакомился со списком запланированных представлений и выбрал «Севильского цирюльника» в присутствии королевских особ.

— Это было бы весьма смело, — сказал директор. — Но вы уверены, что наша маленькая сеньорита не подведет?

Граф ухмыльнулся:

— Будет много шуму.

Перед началом представления я бродила среди зрителей, одетая в старое темное платье

и шляпку Эллен, с корзиной апельсинов. Несомненно, граф Мальмсбери потрудился на славу; в утреннем выпуске «Морнинг пост» был напечатан роскошный анонс моего выступления, и сегодняшний дебют обсуждали на званых вечерах и в лондонских кофейнях. С каждым повторением история обогащалась новыми цветистыми подробностями. Всюду — и в партере, и в ложах — люди гадали и рассуждали о таинственной Лоле Монтес. Навострив уши, я с наслаждением предавалась слуху.

В партере за креслами я набрела на двух не занятых в представлении актрис в гриме и в дерзких шляпках.

— По-моему, эта самая Лола слишком много себе позволяет, — заметила одна.

— И к тому же оголяется, — поддержала другая, насмешливо изогнув бровь.

— Не желаете ли апельсин? — предложила я, протягивая в руке яркое душистое «солнышко».

Измученная Эллен тихонько зашипела за спиной.

— Ну и здорово же играете! — похвалила она, когда я отошла. — Не больно-то легко разоблачить эдакий маскарад.

После антракта поднялся занавес, и в зал хлынула испанская мелодия. На заднике была изображена комната в мавританском стиле, с закрытой дверью в стене. Мелодия сделалась стремительнее, и дверь медленно отворилась. Я шагнула вперед, окутанная пышным облаком черных кружев. По залу пробежал шепот. Я замерла на несколько мгновений. Затем вдруг сорвала и отбросила мантилью, вскинула над головой руки и щелкнула кастаньетами. По залу прокатился одобрителный гул.

Это был мой звездный час, мой шедевр. Словно со стороны, я видела и слышала все: музыку, отношение зрителей, мой собственный танец. Блестящие волосы туго стянуты на затылке, в прическе пламенеют три алые камелии, на застывшем лице — выражение яростной сосредоточенности. Тонкая фигура в черном великолепно смотрится на фоне декораций, обнаженные руки и горло белее снега. Тугой бархатный корсаж подчеркивает тонкую талию и пышную грудь. Мерцающая юбка с алыми, лиловыми и синими воланами струится и колышется у щиколоток, а ноги бесстыдно обнажены — я не надела трико. Оркестр неожиданно смолк; под щелканье одних только кастаньет я вышла на середину сцены. Заиграла единственная скрипка; плавно поводя руками над головой, я начала свой блистательный танец.

Я сделала глубокий вдох — и внезапно испарились всякие остатки моего притворства. Отбивая кастаньетами ритм, я мерно дышала, воздух наполнял легкие и сердце. С первыми движениями олеано я стала Лолой Монтес, а она сделалась мной. Следуя за звуками скрипки, я двигалась по сцене — вправо, влево, пересекая ее легкими шагами, а руки танцевали в воздухе над головой. Кисти были то весело порхающими птицами, то падающими печальными листьями. Танец сам рождал во мне новую мощь; она волнами катилась по телу. За скрипкой вступили другие инструменты оркестра, и благодаря этой музыке я ощутила себя текучей, как вода, и легкой, как ветер. Я не шла по доскам сцены — я скользила по ним, я струилась водой, летела ветром. И где-то глубоко-глубоко зародилось и окрепло чувство, будто я всемогуща — я в силах сделать что угодно и стать чем пожелаю.

Передо мной сияла тысяча свечей — точно свет тысячи глаз. Тело мое колыбалось под порывами ветра, руки были словно гибкие прутья; пальцы, ладони, запястья изгибались и трепетали, выражая тоску и тревогу, а после — желание. Мелкие шажочки сменились

прыжками, затем — поворотами. Аплодисменты омыли меня, будто волны теплого сладкого моря. Я улыбнулась в душе и подняла голову выше.

И вдруг в зале я увидела знакомое лицо. Вне себя от изумления, не веря собственным глазам, на меня смотрел маркиз Солсбери, который в свое время пытался купить мою любовь фальшивыми бриллиантами. Я громко щелкнула кастаньетами. Пухлое лицо маркиза вдруг затряслось от возмущения, к щекам прилила кровь, черные пряди волос упали на лоб. Он опоздал: остановить меня уже было невозможно. Прошлое ушло безвозвратно. Я больше не брошенная матерью дочка, не потерявшая отца сирота, не опозоренная жена британского офицера. Я — совсем другой человек.

Что такое власть? Это не деньги, не земля, не королевства. Теперь я знала, что это такое. Зрители целиком и полностью были в моих руках. Мой танец на несколько минут явил им Испанию. У них мурашки бежали по коже. В руках у меня бешено щелкали кастаньеты, каблуки отбивали чечетку.

Маркиз вскочил с места, но никто не обратил внимания — все глядели только на меня. Он что-то закричал, однако его крик потонул в неистовых аплодисментах. Я торжествующе улыбнулась. Я — Лола Монтеc, и мир принадлежит мне. Женщины в зале скованы цепями условностей, которые я отбросила, от которых полностью освободилась. Эти уважаемые пленницы — на земле, я же парила высоко в небе.

Когда танец закончился, мужчины в зале пришли в неистовство. Юные девушки сидели бледные, прижимая руки к груди. Я исполнила олеано на бис. И на этот раз воля и мощь Лолы Монтеc сделались вдвое сильнее. Если я робела, Лола приподнимала юбки. Если я мешкала, она отбивала каблуками яростную чечетку. И я не сомневалась: Лола меня уже впредь не оставит.

А маркиз не унимался: он махал руками, кричал, и в конце концов, когда стало потише, его услышали.

— Это же миссис Элиза Джеймс! — разнеслось по залу.

Многие головы повернулись; я приостановилась на сцене. Затем, изобразив гнев и презрение, потрясла юбками. Мне вспомнились все терзавшие меня мужчины, их жадные руки, похотливые ласки. Я взмыла на гребне волны аплодисментов; подобно Венере, я была рождена в море — море поклонения и восторга. Однако в зале прозвучал крик человека, который однажды меня оскорбил, за ним завопил еще один, когда-то меня терзавший. Мои кастаньеты, словно крошечные крокодильчики, пожирали их крики. Я была столь же далека от своих бывших мучителей, как Солнце от Земли.

Я поклонилась в последний раз, зная, что победила. Посылая в зал воздушные поцелуи, я посылала их не только зрителям — всему миру.

На следующий день газеты напечатали восторженные отклики. Я торжествовала, полагая, что теперь мне подвластен весь мир и ничто уже меня не остановит. Однако же, к несчастью, мой некогда отвергнутый поклонник вознамерился отыгаться сполна. У маркиза были влиятельные друзья, и все вместе они обвинили театр в том, что на его сцене выступает мошенница и неверная жена. Граф Мальмсбери пытался опровергнуть эти обвинения, но без толку. Вскоре одна из газет занялась расследованием. Когда известный журналист пригрозил опубликовать сокрушительное разоблачение, директор театра отменил все мои запланированные выступления. Я клялась, что не повинна ни в каком мошенничестве и тем более прелюбодеянии и что я — Лола Монтеc, а не миссис Джеймс, однако директор не стал рисковать репутацией театра.

Лондон кишел мошенниками самого разного толка, но лично для меня Лола не была мошенницей. В тот миг, когда я ступила на сцену, Лола Монтес сделалась совершенно реальной. Впервые в жизни я была сама себе хозяйка, ни от кого не зависела и ни перед кем не отчитывалась. Уж если кто и пытался выдавать себя за другого, так то скорее была Элиза Гилберт. И уж тем более — жена Томаса Джеймса; вот уж точно — жалкое подобие какой-то другой женщины, куда более достойной и свободной. А Лола Монтес казалась мне гораздо более живой и настоящей, чем они. Помните бедную Элизу Гилберт? Ей достались материнское имя и любовник ее собственной матери. Своего у нее ничего не было. А еще когда-то была Розана, романтическая школьница, витающая в облаках и ничего не понимающая в земной жизни. Она пошла к алтарю с лейтенантом Джеймсом, и больше я ее не видела. А миссис Джеймс? Та, что была женой офицера. Она исчезла в облачке дыма, вместе со своими трогательными шляпками и скромными платьями в цветочек.

В Испании тореадор и танцовщица идут рука об руку. Оба они сражаются, бьются за жизнь и смерть, а Франсиско Монтес, отец Лолы, был храбрейшим из тореадоров Испании. Что до матери... Я родилась своими собственными усилиями — родилась в Гранаде, в цыганской пещере, из пыли, пота и огня. Сначала родилась, затем крестилась; мое имя, означающее скорбь Девы Марии, даже слишком мне подходило. Многие служанки в Испании отзовутся на имя Долорес, однако в объятиях возлюбленного Долорес всегда будет Лолой. Полное имя исполнено скорби, а уменьшительное — веселья и радости. Оно словно нарочно придумано для меня. Среди самого черного горя разве не бывают мгновения чистейшего наслаждения? Хотя я носила вдовий траур, единственной моей утратой была я сама — прежняя. Лола Монтес была существом диким, порывистым и свободным. Именно такой желала быть и я. Если ваше имя вам не подходит, возьмите себе другое. Если жизнь вас унижает и топчет, отбросьте ее и начните все заново!

После взлета — падение. После горького поражения звучит сигнал сбора. Если нельзя танцевать в Лондоне, уеду за границу. Свои будущие действия я распланировала, точно полководец — военную кампанию. Перед отъездом из Лондона я тщательнейшим образом изучила карту Европы и прочертила маршрут, куда входили все ее столицы. Я уже выступала перед королевскими особами; я сделаю это вновь. Мне живо представлялось, как распахиваются двери театров, как передо мной служители спешно расстилают красные ковры.

Разве что Эллен не пришла в восторг от моей затеи. Когда я попросила ее меня сопровождать, она потрясла головой.

— Надувайте народ без меня. Вам наскучит быть испанкой — и что потом? Дельную жизнь не построишь на прихотях и капризах. Хотите — верьте в свои собственные выдумки; а я боюсь даже думать, что с вами станется.

— Не смейте так со мной разговаривать! — возмутилась я.

— Как хочу, так и разговариваю, — огрызнулась Эллен.

Увы: правда была на ее стороне. До сих пор я от нее зависела больше, чем она — от меня, и мы обе это отлично понимали. Покусав губу, я сказала:

— Извините. Мне обидно, что вы отказываетесь, вот и все. Как же я без вас буду?

— Справитесь.

— Не передумаете?

— Нет: я собираюсь открыть магазин подержанного платья.

— Неужели? — Я засмеялась: — Уверена, что дела у вас пойдут превосходно. — Затем повернулась к карте, расстеленной на столе: — Я сколочу себе изрядное состояние, вот увидите.

— Не сомневаюсь, — ответила Эллен и с серьезным видом прибавила: — Только смотрите не очень-то отрывайтесь от земли. А деньги, знаете ли, — это еще не все.

Тут мы обе так и покатались со смеху.

— Хотя лишними никогда не бывают, — закончила Эллен.

— Иными словами, вы даете мне свое благословение?

— Считайте, что да. — И она тут же указала на платье нежного пастельного цвета: — Вон то платье вам ведь больше уже не понадобится, верно?

Накануне моего отъезда в Гамбург неожиданно явилась София.

— Хотела пожелать тебе удачи, — объяснила она свой приход.

— Кто сказал, что я уезжаю?

Она кивнула на Эллен, которая разбирала мой гардероб: в одну стопку складывала одежду, которую я забирала с собой, в другую — то, что отправится в ее новый магазин.

— С какой стати ты вообразила, будто все должна делать одна? — поинтересовалась моя подруга.

— Уж не думаешь ли ты отправиться со мной вместе?

Улыбнувшись, София пояснила:

— Я хочу сказать, что ты не одна на этом свете. Гордость тебя погубит.

— А что у меня есть, кроме гордости?

— Дружба.

— Ладно; я тебе напишу.

— Обещаешь?

Я кивнула.

— Еще поглядим, кто из нас первый остепенится, — заявила София.

Мы с ней одновременно указали друг на друга, затем рассмеялись, как девчонки.

— Не смешно! — заметила Эллен, не прекращая своего занятия.

— Конечно же, нет, — подтвердила я с широкой улыбкой.

— По-моему, я среди вас — единственный разумный человек. — Эллен похлопала по растущей стопке переходящих к ней платьев.

Глава 22

Сидя в уголке тесной уборной в Гамбурге, среди бутылочек и баночек с гримом, я решительно вела пальцем по карте Европы, прослеживая свой будущий маршрут. Мимо меня к зеркалу то и дело протискивались грудастые *фрейлейн* с соломенного цвета косами, рядом упражнялся в пении баритон, за костюмершей по пятам бегала противная шавка и беспрерывно тявкала.

Мне удалось обеспечить себе временный контракт на выступления в придворном театре, однако собственной уборной, увы, не было. Дожидаясь антракта, я снова и снова всматривалась в страницы своего карманного атласа, стараясь не обращать внимания на шум

и суету вокруг. Карты стран, где я никогда не бывала, казалось, беззвучно шептали: «Приезжай!» Обширные просторы России были обозначены зеленым, соседняя Пруссия — желтым. Под Пруссией находилась Германия — лоскутное одеяльце крошечных княжеств. В дневнике я записала намеченный путь: Дрезден, Берлин, Санкт-Петербург. Оглянулась. *Фрейлейн* густо пудрила лицо, баритон наливался кровью от усилий, песик-пустобрех задрал лапу на грудь брошенных на пол костюмов. Я укрепилась в своей решимости. Тут же обвела в кружок основные города, лежащие на пути в Петербург: Прага, Варшава, Рига. Под моими ногами великие города Европы превратятся в ступени лестницы, ведущей к успеху. Мне виделось, как я шагаю по земному шару: шар невелик, а я иду по нему, словно дочь великана.

В Ямбурге я танцевала тарантеллу, в Дрездене — сегидилью^[37] и болеро. Исчерпав репертуар, двинулась дальше, в Пруссию. Подложное рекомендательное письмо, написанное якобы дальним немецким родственником королевы Виктории, открыло для меня двери первого театра; за первым меня пригласили другие. После одного выступления было уже гораздо легче договориться об остальных. Я собирала рекомендательные письма, как игральные карты, и каждое новое обещало следующее письмо, более ценное.

Угнездившись на сиденье очередного экипажа, я расправила на плечах мохеровую шаль, прихлопнула шляпку, чтобы плотнее сидела на голове. Открыв потертое старое портмоне, я вынула свой талисман и крепко зажала в кулаке. Кольцо с большим рубином, которое отец когда-то с любовью подарил моей матери.

Навещая мистера Смолбоуна, ювелира, я часто брала с собой это кольцо и все же ни разу его не показала. Возможно, в глубине души я опасалась, что ювелир объявит кольцо дешевой подделкой, а для меня оно было бесценно. Что бы ни говорила моя мать, кольцо с рубином было весомым доказательством, что я — плод любви. К тому же это единственное, что у меня осталось в память об отце. Красный камень был точно капля крови, которая связывала нас друг с другом.

Постукивание колес убаюкивало тревогу и страхи. Мне нравилось движение; в дилижансах и каретах я чувствовала себя как дома, и путешествие из одного места в другое всегда доставляло большое удовольствие. В окно я видела проплывающий мимо новый мир. Чувство заброшенности, незащищенности и уязвимости принадлежало Элизе Гилберт, а вовсе не мне. Каждый раз, когда мне хотелось любить или мечтать, я вспоминала мать: как в Индии, в буйно цветущем саду возле дома, она заставляет меня отцепиться от ее подола. Элиза Гилберт — точно следы грязных пальцев на светло-зеленой юбке; она — жалкий сор, который надо поскорее вымести вон.

Покидая модные красивые бульвары, я попадала на узкие бедные улочки, где вонь кабаков смешивалась с ароматом свежего, только что испеченного хлеба. Я целенаправленно шагала, пропуская мимо ушей насмешки уличных мальчишек, торговавших булавками, не глядя на проститутку в розовых чулках, что неспешно прохаживались по тротуарам. Возле дешевой гостиницы, где я остановилась, торговала шоколадом женщина с гнилыми зубами; я наблюдала за ней, а она — за мной. Я превосходно понимала, чем именно она торгует, а она, скорее всего, то же самое думала обо мне. На каждом шагу — нищета, повсюду — падшие женщины.

Видя, что я одна, без спутника или спутницы, мужчины нередко воспринимали это как откровенное приглашение к действию. Чего только я не натерпелась! В Гамбурге как-то раз

меня окружили дети и принялись распевать непристойную песенку. В Лейпциге какой-то пьяный затащил меня на темную улочку и полез под юбки; я едва вырвалась. В Дрездене, Потсдаме и Берлине — повсюду ко мне приставали и лапали. Со временем я научилась отвечать приставалам и ради собственной безопасности вооружилась — обзавелась маленьким пистолетом, кинжалом и хлыстом из сыромятной кожи.

Я находилась в Берлине, когда получила целую кипу писем, пересланных моей теткой миссис Ри. Среди них было одно, которое поначалу чрезвычайно меня озадачило: карточка с траурной рамкой — сообщение о смерти миссис Элизы Джеймс, урожденной Гилберт, дочери миссис Крейги, проживающей в Калькутте. Я разглядывала карточку, ничего не понимая. Тут явно какая-то ошибка. Меня так давно не называли миссис Джеймс — а уж свою девичью фамилию я и сама едва не позабыла, — что я с трудом сообразила: речь-то идет обо мне. Тут сказано, что это я умерла! Меня передернуло. Нет, никогда уже нам с матерью не примириться. Ну что за женщина могла разослать официальные уведомления о смерти своей единственной — живой и здоровой! — дочери?

Сестра моего покойного отчима тоже прислала письмо. «Твоя мать очень переживала, получив известие, что ты выступаешь на сцене», — писала она среди прочего.

Ах, бедная мамочка! Может, надо ее пожалеть? Она так стремилась занять достойное место в обществе! А тут вдруг — скандал и полный крах. Слухи, будто почтенная миссис Крейги в прошлом была танцовщицей, внезапно обратились правдой о том, что ее собственная дочь бесстыдно пляшет на сцене. Ужасно. Немыслимо. Я живо представила, как мать затаилась в доме, не смея носа наружу высунуть. Что ж, если я — бессердечная и неблагодарная дочь, то ведь и она большего не заслуживает. Мать готова была пожертвовать моим будущим счастьем в угоду собственному честолюбию. А я, вместо того чтобы воплотить ее сладчайшие мечты, сделалась воплощением всех ее страхов.

Миссис Ри также вложила в конверт письмо покойного майора Крейги. Оно было датировано ноябрем 1841 года; должно быть, мой отчим написал его примерно за месяц до смерти.

Я прижала листок к сердцу; посидела так, справилась с волнением и заставила себя прочесть.

Майор писал: «Теперь ей уже ничем не поможешь. Моя милая крошка Элиза очертя голову бросилась в жизненный круговорот. Скажи ей, что, хотя мать на нее все еще сердится, это в основном из-за меня. Она страшно беспокоится, не повредит ли что-нибудь моей карьере. Конечно, действия Элизы достойны сожаления, однако мы всегда будем ее любить. Она с детства была очень упряма, этим она в свою мать. Да поможет ей Бог!»

В конце письма миссис Ри предлагала похлопотать за меня перед матерью. «Разумеется, нет на свете связи крепче, чем материнская и дочерняя любовь», — писала моя добрая тетушка.

В душе я горько посмеялась: я слишком хорошо знала собственную мать, чтобы надеяться на примирение. Однако на сей раз пришлось с ней согласиться. Я еще раз внимательно рассмотрела сообщение о моей смерти. Да, мама, ты права: Элиза Гилберт воистину умерла.

В день, когда в Берлине должен был состояться большой военный парад, я вызвала к себе в номер швею, чтобы она прямо на мне ушила костюм для верховой езды. Костюм должен был сидеть, идеально облекая формы.

— Сделайте ту же; еще ту же, — шептала я, пока очертаниями не начала походить на вырезанную из темного дерева фигуру на носу корабля.

Парад завершал государственный визит царя Николая I, и в Пруссии его полагали самым значительным событием года. Я специально ради него задержалась в Берлине. Собираясь на парад, я старалась гнать сомнения прочь, однако они вновь и вновь возвращались. Один прусский дипломат обещал провести меня за ограждение, где предстояло находиться королевским особам, и я от всей души надеялась, что дипломат не спохватился и не пожалел о своем обещании. Государственные деятели охотно общались с танцовщицами после наступления темноты, однако при свете дня да среди высшего общества — это уже совсем другое дело.

Мой путь из Гамбурга в Санкт-Петербург лежал через театры, где я выступала, однако я часто оказывалась без гроша в кармане, а туфли быстро протирались. Если бы русский царь лично пригласил меня выступить при дворе, театры охотнее открывали бы передо мной двери, да и кошелек бы, несомненно, пополнился. То, что Николай I равнодушен к танцовщицам, было хорошо известно. Однажды на приеме он поразил гостей необыкновенным кушаньем: балетные туфли Мари Тальони^[38] были поданы на серебряном блюде, в винном соусе. (Могу себе представить, как переглядывались смущенные гости! По счастью, им было предложено отведать лишь соус.)

Большой военный парад был моей последней возможностью произвести на царя впечатление. С самого раннего утра я места себе не находила, металась по гостиничному номеру в ожидании прусского дипломата. К одиннадцати часам я поняла, что он отступился от обещания. К половине двенадцатого осознала, что, если желаю присутствовать на параде, придется отправляться одной, без спутника.

В полдень я выехала из конюшни при гостинице на холеном вороном жеребце по имени Ярый; имя чудесно ему подходило. Костюм из лилового бархата с отделкой из мягчайшей замши сидел на мне как влитой; под блестящей черной шкурой коня играли могучие мускулы. Я дружески похлопала его по бокам, и Ярый охотно понес меня по Унтер-ден-Линден.

Было ясное октябрьское утро, желтые облетающие липы сияли под солнцем. Мимо нас с грохотом прокатилось начищенное до блеска оружие, легкий ветерок шевелил вывешенные флаги. Я направлялась к Фридрихфельд, и вместе со мной туда же валом валили горожане — пешком, верхом, в каретах, на старых телегах; казалось, берлинцы все как один двинулись вон из города. Я обгоняла стайки служанок с набеленными лицами — девушки шли под руку и не умолкая щебетали и смеялись. За тележкой молочника выступали, громко стуча подкованными каблуками, пять шлюх; яркие безвкусные платья с низким вырезом открывали взорам их бледные, от осеннего холода покрывшиеся гусиной кожей прелести. Когда Ярый их обгонял, одна из девиц подмигнула мне и потеряла кончики пальцев, словно шелестела банкнотами.

Я заторопила коня, стремясь поскорее оторваться от сомнительной компании: не дай бог и обо мне заодно подумают скверное. Рьяные прусские жандармы уже не раз меня останавливали и проверяли документы.

Ближе к Фридрихфельд людей было уже целое море — мне показалось, не меньше ста

тысяч. Семьи держались плотными группками; у меня защемило сердце, когда я увидела молодую мать, которая дыханием согревала замерзшие ручонки своему крохе. Я крепко сжимала поводья; Ярый ступал, высоко поднимая ноги, подковы звонко цокали, люди торопились дать нам дорогу.

И вот наконец парад. Строем шли тридцать тысяч солдат: сначала пехота, затем кавалерия, потом конная артиллерия. Прусские военные мундиры — черные с малиновым и золотым — виднелись всюду, насколько хватало глаз. Толпа неистовствовала, приветственные крики не смолкали. Неожиданно наперерез идущим полкам выехали двое верховых; опередив их, со всех ног помчалась стайка орущих мальчишек. Безупречный строй нарушился, ряды марширующих солдат искривились, затем порвались. Взволнованная толпа напирала, полиция пыталась ее сдержать.

На поле для королевских особ была построена специальная платформа; рядом с ней находились прочие знатные гости, и всю эту территорию окружала плотная цепь полицейских. Я двинулась вокруг, внимательно присматриваясь. Сквозь заградительную цепь уже начали пробиваться отдельные всадники и экипажи. Прусский офицер с седыми бакенбардами махал плетью, стараясь удержать народ на расстоянии от знати. Грохнул артиллерийский салют, и я, словно это был особый знак, двинула Ярого напрямик к королевской платформе. Мы миновали полицейских, пройдя сквозь цепь, как нож сквозь масло. Высматривая знакомое лицо, я лавировала среди высшей знати, словно здесь было мое законное место. Внезапно меня нагнал тот офицер с седыми бакенбардами и крепко ухватил уздечку Ярого. Я напряглась всем телом.

Чуть дальше, на платформе, стоял русский царь, я его уже отчетливо видела. Заветная цель! Я смерила взглядом офицера, который мешал ее достичь. У него было худое, властное лицо и жесткие холодные глаза. Однако я была намерена во что бы то ни стало добиться своего, нравится это военным или нет.

— А ну пусти! — прошипела я.

Офицер лишь крепче сжал уздечку. Он тоже был намерен настоять на своем. Я щелкнула хлыстом. В долю мгновения перед мысленным взором промелькнули два образа: вот я пытаюсь отбиться от нелюбимого мужа, а вот я, еще маленькая, в страхе съежилась перед суровым настоятелем кафедрального собора. У офицера на верхней губе выступили блестки пота — совсем как у настоятеля Крейги, когда он меня порол, «дисциплинируя», — и от этого меня захлестнуло тошнотворное чувство страха и унижения.

Ярый, которому не нравилась чужая рука на уздечке, взвился на дыбы; копыта мелькнули в воздухе. Потеряв голову, я занесла хлыст.

Покинув Англию, я бесконечно терпела оскорбления и обиды; этот прусский офицер просто-напросто оказался той последней каплей, что переполняет чашу терпения. И, в одном ударе выплеснув накопившуюся обиду и боль, я хлестнула его по лицу.

Офицер отшатнулся.

Я — тоже.

Толкущийся позади народ охнул. Знатные гости возле королевской платформы отвели взгляды.

У офицера на шее и щеке налились красные полосы от удара, затем выступили капельки крови. Хлыст располосовал кожу, словно бритва.

— Вы дорого за это заплатите, сударыня, — проговорил офицер.

Я открыла рот — и закрыла, не произнеся ни слова. Затем все же заставила себя

ответить.

— Будьте любезны отпустить уздечку, — прошептала я, и эти едва слышные слова дались с таким трудом, словно я ворочала огромные камни.

Тем временем пешие и всадники прорвались сквозь кордон полицейских, точно бешеный речной поток — сквозь ненадежную плотину. Офицер бросил взгляд на спешащий мимо народ, а я смотрела на него, стараясь сохранять хладнокровие. Ладно: он может не пустить меня — а как он сладит с этой могучей толпой? Офицер выругался и наконец выпустил уздечку Ярого.

Двинув коня к королевской платформе, я похлопала жеребца по шее, бормоча что-то утешительное. У меня самой сердце так и колотилось, громом отдаваясь в ушах; щеки горели огнем. Возле платформы какой-то русский адъютант предложил занять место возле него; я вымучила благодарную улыбку, однако перед глазами неотступно стояло: мой хлыст впивается офицеру в лицо, на коже наливаются красные бисеринки. Не выполнивший свое обещание прусский дипломат заметил меня, однако тут же отвел взгляд, словно мы не были знакомы. Празднично украшенная платформа находилась совсем рядом, однако мне туда путь был закрыт. Окруженный непреодолимым кордоном гвардейцев, русский царь подавил зевок.

На следующий день мне предъявили обвинение в оскорблении действием офицера прусской армии.

Конечно же, я совершенно напрасно пустила в ход хлыст. Я пожалела об этом, едва увидев кровь на лице своего противника. Снова и снова я мысленно проигрывала эту сцену, как будто таким образом могла сыграть ее иначе, изменив реальный ход событий. Сознывая, что пересекла невидимую грань и вторглась на неведомую и крайне опасную территорию, я не знала, как вернуться обратно. Больше полутора месяцев потребовалось, чтобы шум утих и обвинения с меня потихоньку сняли. Мне позволили покинуть Берлин, однако шлейф некрасивой истории отныне тянулся за мной повсюду. Куда бы я ни приехала, всюду немедленно становилось известно, как я отстегала прусского офицера. А уж когда эту историю подхватили зарубежные издания, происшествие разрослось в событие мирового масштаба. В газетах печатались карикатуры — целые полки в ужасе бежали при виде моего занесенного хлыста, а в публичных домах мужчины выстраивались в длиннющие очереди, желая получить удар *плетью от Лолы Монтеc*. Где бы я ни выступала, журналисты вновь и вновь вытаскивали на поверхность и смаковали эту историю.

Глава 24

Унылым ноябрьским вечером я прибыла в Варшаву; меня там уже ожидали.

Порой я ощущала себя Минервой, которая вышла полностью зрелой из головы Юпитера, своего отца. Некоторые люди спешили убраться прочь, едва услышав мое имя; незнакомцы остерегались докучать, страстные поклонники позволяли себе меньше вольностей. Директора театров больше уже не уклонялись от прямого ответа насчет моих гонораров, а сразу соглашались выплатить половину кассового сбора. Порой я сама себе казалась бессмертной. Подчас начинала думать, будто и в самом деле могу позволить себе вытворять что вздумается: в газетах печаталось множество искаженных и до нелепости раздутых историй, и публика уже чуть ли не ожидала от меня новых эскапад.

Возле отеля, где я намеревалась остановиться, меня поджидали журналисты. В черных плащах с капюшонами они напоминали стаю воронья, слетевшуюся на падаль. Великодушно улыбаясь, я миновала их, не вымолвив ни слова.

Варшава напомнила мне Дублин; здесь точно так же на городских улицах чувствовался сельский дух. Меж величественными зданиями в классическом стиле ютились многочисленные ветхие лачуги. По булыжным мостовым грохотали подводы. Девушки в завязанных на груди крест-накрест платках орудовали метлами из прутьев, сметая груды желтых листьев. На перекрестках уличные мальчишки и девчонки продавали грубо расписанную оловянную посуду.

Высшее общество в Варшаве отчетливо делилось на два лагеря. Если русские завоеватели держались ближе к двери, то поляки собирались ближе к камину, и наоборот. Ко мне русские относились с некоторым подозрением, поляки были настроены более дружески; с ними я мгновенно ощутила некое родство, душевную близость и теплоту. На первом же званом вечере меня представили Петру Штейнкеллеру, богатому польскому промышленнику, который обожал свою страну и театр. Едва познакомившись, мы уже вдвоем наблюдали за перемещением русских и поляков по комнате, составляя замечательные планы моих выступлений.

Директор Большого театра — русский — погладил свои военного вида бакенбарды, и затем его губы медленно расплзлись в похотливой улыбке. Едва глянув на мои рекомендательные письма, он небрежно их отбросил на край стола.

— Вижу, что вы танцевали в Шауспильхаус. Мне этого достаточно. Мы с вами станем лучшими, очень близкими друзьями.

Я вопросительно приподняла бровь.

Полковник Игнасий Абрамович был высокий, худощавый человек немного старше пятидесяти. Руки у него были худые, костлявые и очень длинные, и оттого он напоминал огромного доисторического паука.

Быстро обговорив даты и условия моих выступлений, полковник вдруг крепко взял меня за руку выше запястья и заявил, что непременно желает отвезти меня в гостиницу в собственной карете. Я согласилась.

В карете он буквально ощупал меня проницательным взглядом и неожиданно сообщил:

— Я — глаза и уши Варшавы.

— Надеюсь, мои танцы совершенно безобидны, — ответила я.

Полковник засмеялся и положил руку мне на колено.

— Вы очаровательны. Какой вред может быть от такой милой маленькой танцовщицы?

На первом моем выступлении в театре был аншлаг. Как только я вышла на сцену и щелкнула кастаньетами, зал взорвался аплодисментами, мне под ноги полетели цветы. Аплодисменты не смолкали до самого конца.

После выступления я настежь распахнула дверь своей уборной, ожидая, что поклонники хлынут лавиной. Однако за дверью оказался лишь один крошечный морщинистый старичок в генеральском мундире, с букетом лилий в руках.

— А вы кто такой? — сорвалось у меня совершенно невежливо.

Вслед за морщинистым гномиком из коридора явился полковник Абрамович и представил нас друг другу.

Услышав имя гостя, я вздрогнула, затем присела в реверансе. Старичок склонился поцеловать мне руку — и облобызал ее всю до плеча. Его сухие губы уже тыкались мне в плечо возле шеи, когда я сумела-таки высвободиться и отступить. Мой новый, нелепый с виду, но весьма грозный поклонник оказался князем Иваном Пашкевичем, царским наместником.

На протяжении последних двенадцати лет князь Пашкевич вместе с полковником Абрамовичем правили Польшей, и страна корчилась, зажатая в их железном кулаке. После того как в 1831 году было жестоко подавлено восстание сторонников польской независимости, Пашкевич стал князем Варшавским, а Игнасий Абрамович возглавил тайную полицию. За всеми в Польше теперь следили молчаливые внимательные глаза российского государства. Из страны уехали десять тысяч активистов восстания и ученых. Поэты и писатели томились в тюремных камерах либо были высланы в Сибирь, откуда о них уже не доходило никаких вестей. Самые страшные казематы, по слухам, находились прямо под бальным залом во дворце наместника.

Не прошло и нескольких дней, как оба мои почитателя себя проявили. Полковник Абрамович пригласил меня прокатиться в его обитой бархатом карете — предложил показать красивейший парк, — и я не смогла отказаться, отлично понимая, что от этого зависит мой контракт с театром. По пути в парк я благосклонно внимала комплиентам полковника. Снаружи дул сильный ветер, срывая с деревьев последние листья. Мы въезжали в парк через огромные кованые ворота, когда небо вдруг резко потемнело, хлынул дождь и забарабанил по крыше кареты. Абрамович, словно то был сигнал к действию, вдруг сгреб меня в объятия и впился своими тонкими холодными губами в шею. Я тщетно пыталась его оттолкнуть; полковника это лишь раззадоривало. Однако он принялся сражаться с моими юбками, и тут я укусила его за щеку.

Полковник отпрянул, схватившись за лицо.

— Мадам, — проговорил он, — вы за это дорого поплатитесь!

— Заблуждаетесь, сударь. Если о сегодняшнем происшествии узнает князь Пашкевич, то поплатитесь вы, а не я.

Абрамович занес руку, как будто готовый вlepить мне пощечину, затем одумался, кашлянул и извинился. Я оправила юбки. Всю дорогу, что мы ехали обратно к гостинице, карета сотрясалась под порывами осеннего ветра.

В тот вечер, вкушая сладкое вино и чудесное польское печенье, я поведала эту историю своим друзьям-полякам, не отказав себе в удовольствии слегка ее приукрасить: дескать, я не просто отбилась от настырного полковника, но еще и выбросила его из кареты под проливной дождь. Когда история дошла до Абрамовича, который тщательно пытался скрыть след от укуса на щеке, полковник замыслил страшную месть.

Разделавшись с одним преследователем, я вообразила, будто и второй мне нипочем. Несколькими днями позже, когда я у себя в номере принимала гостей, внезапно, без приглашения и доклада, явился князь Пашкевич. Делать нечего — мой званый ужин продолжался с князем. Когда этот морщинистый гном говорил, во рту у него блестела золотая пластина под нёбом.

После того, как гости начали расходиться, князь посмотрелся в зеркало и пригладил усы. Затем чуть приметно кивнул — и оставшиеся гости под разными предлогами тут же

меня покинули.

Князь Пашкевич придвинулся ближе. Я прикинула расстояние до двери — успею ли добежать. Когда он вытянул руку по спинке дивана, я отпрянула; он притворился, будто не заметил.

Закурив сигарету, я выпустила ему в лицо облачко синего дыма, затем еще одно. Впрочем, его пыл ничто не могло остудить. Объясняясь в любви, он схватил мою руку своими шишковатыми пальцами; провалившиеся глаза буквально впились в мой бюст. С каждым моим вздохом — когда столь привлекательный для князя бюст поднимался и опускался — Пашкевич предлагал что-нибудь еще: меха, бриллианты, загородное поместье.

В запале отвратительный гном прижался к моему бедру; не выдержав, я вскочила с дивана и решительно указала на дверь.

— Если вам угодно приобрести живую игрушку для забавы, ваше высочество, купите лучше попугая. Обещайте мне хоть все семь чудес света — я все равно не приму ваших старческих ласк.

Прежде чем уйти, князь Пашкевич надменно выпрямился во весь свой жалкий рост.

— Вы пожалеете, мадам!

— Так всегда говорят, — ответила я, не испугавшись.

В свое четвертое выступление в Большом театре я должна была танцевать сарагосу и олеано в антрактах комической оперы Обера «Фра-Дьяволо». Мои почитатели подготовили «наступление крупными силами», привлекая к делу собственных сотрудников и рабочих. Мой добрый друг Петр Штейнkelлер заплатил десятку наборщиков из своей типографии, чтобы они подстегивали энтузиазм публики, и рассадил в зале еще несколько десятков рабочих с других фабрик.

Полковник Абрамович тоже не терял времени даром. Агенты тайной полиции в штатском были рассажены по рядам, и, когда я начала свой танец, агенты принялись меня освистывать, как им было приказано.

Мои поклонники поднялись с мест; агенты стали свистеть громче. Вскоре насмешки, свист и крики «Браво!» смешались в общий шум. Я приостановилась, затем двинулась в танце дальше по сцене. Стук кастаньет повторял стук моих каблуков. Зная, как эффектно смотрятся моя широкие волнующиеся юбки, я продвигалась шаг за шагом. Аплодисменты становились все громче, глумливые выкрики — тоже; за шумом уже было не слышно оркестра. Зрители, которые были ни при чем и не участвовали в противостоянии, лишь растерянно переглядывались.

А я танцевала — яростно отбивая чечетку, зло сощутив глаза. Закончив выступление, я с вызовом поклонилась залу. К тому времени, когда упал занавес, в партере уже началась потасовка.

Кипя негодованием, я ринулась к зрителям. Проскочила между сомкнувшимися полотнищами занавеса и подскочила к рампе. Свист и крики стихли, все взгляды обратились на меня.

Набрав полную грудь воздуха, я ткнула пальцем в сторону Абрамовича, который сидел в директорской ложе.

— *Messieurs et Mesdames!* — закричала я по-французски. — Господа и дамы, этим недостойным оскорблением я обязана вон тому господину! Вот сидит негодяй, который таким образом пытается отомстить бедной слабой женщине! Сначала он бомбардирует меня

непристойными и гнусными предложениями. Затем, когда я отказываюсь уступить домогательствам, он пытается сорвать мое выступление! *Messieurs et Mesdames*, это уже слишком!

Несколько мгновений зал ошеломленно молчал. И вдруг захлопал один человек, затем — другой, и вскоре большинство уже кричали:

— Бис! Бис!

— Браво, Лола, браво!

Полковник Абрамович с ужасом смотрел на зрителей; агенты тайной полиции тайком переглядывались. Двенадцать унижительных лет поражения внезапно вылились в шквал всеобщего возмущения. Молодые поляки подпрыгивали на месте, и даже дамы потрясали кулаками и кричали. Немногочисленные русские зрители поспешили убраться подобру-поздорову. Слегка смутившись от такой суматохи в зале, я отступила за занавес. Шум и сумятица нарастали; Абрамович отменил второе действие и вызвал полицию, чтобы очистить зал.

Весть о том, что я обвиняла полковника Абрамовича, быстро разошлась по городу. Спустя несколько часов в Варшаве начались беспорядки. Во дворец царского наместника через окно кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью. На улицах поляки опрокидывали принадлежащие русским экипажи, сотни людей были арестованы. Под утро в городе появились тайно отпечатанные листовки, в которых говорилось, будто я обратила к обидчикам свой *derriere*^[39] и выкрикивала: «Все народы имеют право на свободу!» К утру я сделалась героиней польского освобождения.

Меня тут же посадили под домашний арест. Когда стоящий в карауле офицер не выпустил меня из номера, я влепила ему оплеуху и с грохотом захлопнула дверь. Затем осела в номере на пол, привалившись спиной к двери со своей стороны. Не могут же они сделать так, что я просто-напросто исчезну? В мыслях мне уже представлялся кошмар: я заперта в казематах под бальным залом князя Пашкевича, скорчилась в темноте; вдали побрякивают цепи других узников, а сверху доносятся звуки музыки и танцев.

Когда прибыл полковник с приказом о моей высылке из страны, я забаррикадировалась, придвинув к двери мебель, и кричала, что пристрелю любого, кто посмеет сунуться в номер.

Возле гостиницы собрались поляки. Они старались особо не привлекать к себе внимание, но было ясно, что малейшая стычка в номерах может привести к взрыву.

Сначала из-за двери ко мне обращался полковник Абрамович — грозил и требовал подчиниться; затем я услышала голос Петра Штейнкеллера.

Я сейчас же оттащила прочь мебель, и мой польский друг шагнул через порог под прицелом винтовки. Петр повалился в кресло; лицо у него было пепельно-серое. Он пригласил меня отправиться в его загородное поместье; таким образом, мне предложили выход из ловушки, в которой я оказалась. Я постаралась говорить спокойно, не выдавая собственный испуг:

— Меня не бросят в тюрьму?

— К счастью для вас, вы не полька, — ответил он печально.

Не прошло и часа, как я уложила вещи и спустилась на улицу к ожидавшей карете. Петр помог мне забраться внутрь; я крепко сжала его руки.

— Я не могу просто так вас тут оставить, — шепнула я и снова принялась бормотать извинения за все, что из-за меня случилось.

Молодые поляки выстроились вокруг почетным караулом. Подбежал уличный

мальчишка и сунул мне расписную деревянную тарелку; я приняла ее с благодарностью, а потом нахлобучила ему на голову собственную меховую шапочку. Мы двинулись по улицам Варшавы. На каждом углу я видела русских солдат; от собранных в кучи мокрых листьев поднимались клубы белого дыма.

Глава 25

Мое турне по Европе завершилось симфонией закрытых дверей. В Санкт-Петербурге обычный способ действий не дал желаемого результата, рекомендательные письма не производили должного впечатления. Директора театров мне отказывали; в коридорах гостиницы, где остановилась, я то и дело замечала каких-то посторонних людей; зато газетчики не проявляли ровно никакого интереса. За мной следили, но мои визитные карточки оставались без внимания.

Когда я в гневе указала редактору одной из газет, что меня сравнивали с великой Мари Тальони, редактор рассмеялся мне в лицо.

— Я прекрасно осведомлен, — сказал он, вытаскивая берлинскую газету. — О Тальони говорят, что эта великая балерина пишет историю ногами; а о донне Монтеc можно сказать: она всем своим телом пишет мемуары Казановы.

Я с огромным удовольствием влепила бы ему пощечину за наглость, однако у меня в России было так мало друзей, что я не рискнула нажать себе очередного врага. Поэтому я постаралась уверенно улыбнуться:

— Не такое уж скверное сравнение. С моей точки зрения, «Мемуары» Казановы не лишены достоинств. По ним были поставлены несколько опер; что же плохого в танце?

— Здесь, в России, мы не поощряем распушенность.

— Похоже, у вас тут в России ничего не поощряют, — не удержалась я.

— Мадам, я бы вам посоветовал быть осторожнее. Испанский паспорт — не слишком надежная защита.

— Но я ведь выступала перед царем, — взмолилась я.

— А мы получили указания именно от Его Величества.

За целых пять дней я ничего не добилась. Пришлось смириться с тем, что моей мечте танцевать в российской столице сбыться не суждено. К тому же вести из Польши ухудшили дело. Как прямое следствие моего пребывания в Варшаве, были арестованы триста человек, включая Петра Штейнклера. В газетах писали, что Большой театр закрылся на целый месяц, пока составляются новые правила цензуры. Любое выступление тщательнейшим образом взвешивалось, самую безобидную из балерин могли посчитать опасной для существующего режима. Снова укладывая в саквояж сценические костюмы, я как могла пыталась себя утешить. Пусть даже я потерпела неудачу, по крайней мере, это случилось на фоне больших событий.

Всю следующую неделю я без остановки ехала — днем и ночью — по территории России, затем через Прибалтику, к Восточной Пруссии. Погода была ужасной; дикие звери в поисках еды забредали в деревни. Вокруг бесконечно тянулся голый унылый пейзаж — снег и лед, лед и снег. Изредка виднелся одинокий деревянный дом, над которым курился дымок; еще реже встречались заброшенные замки с обвалившимися башнями. Даже днем, когда солнце ненадолго поднималось над горизонтом, в небе висела унылая луна. Казалось, что

сверкающее нетронутой белизной снежное покрывало окутало весь мир. Съежившись в промерзшем насквозь экипаже, я чувствовала себя одинокой и несчастной, решительно никому не нужной. Кожаная папка, обычно полная рекомендательных писем, на сей раз была пуста. По-прежнему очень хотелось попытаться счастья в Париже, однако нужных связей у меня не было, а без них надеяться на успех не приходилось.

В детстве, не зная, как поступить, я старалась отыскать какой-нибудь знак свыше. В те времена меня поддерживали мелкие, на сторонний взгляд — совершенно незначительные, предметы и события. Например, мысль о том, что однажды откроется заколоченное и забранное решеткой оконце в башне и оттуда вылетит красивая птица; а еще — письма отчима из Индии; подаренный Софией вышитый платок. И сейчас я решила снова довериться судьбе. Но в какую страну податься? И с какого города начать?

На прусской границе возница остановился, чтобы сменить лошадей; я зашла в здание почтовой станции погреться и заказать кофе с коньяком. Под внимательными взглядами других посетителей я свернула и закурила самокрутку, а затем подобрала газету, оставленную на столике. Кто-то поспешил увести из зала жену и дочь, кто-то перебрался в другой конец зала, владелец заведения откровенно поморщился.

Глубоко затянувшись, я выпустила струйку синего дыма, пригубила коньяк. Во рту сделалось тепло; мне припомнились упреки раздраженной матери и снисходительная улыбка Томаса, когда однажды мне в руки попала газета. На ее страницах находился целый огромный мир — и никакие поражающие юное воображение мужчины (и матери тоже!) не пытались этот мир присвоить. Помню, я тогда отняла газету у горничной, не позволив выбросить, и с жадностью прочла ее от первой страницы до последней, вплоть до частных объявлений.

Развернув оставшуюся на столике газету, я пробежала глазами заголовки. На одной из страниц обнаружила статью о романтическом композиторе Ференце Листе, который вот-вот должен был выступить с новой программой сольных концертов. До сих пор, где бы я ни выступала, знаменитый пианист успевал побывать там до меня: в Штеттине, Данциге, Кенигсберге, в Тильзите, в Риге... Среди моих польских друзей Лист, сторонник независимости Венгрии, был особенно популярен. Он посетил Варшаву за полгода до меня; в Санкт-Петербурге я видела его портреты на афишах: особенно меня поразили горящие темные глаза. Оказывается, я уже несколько месяцев следую за ним по пятам. А что будет, если мы вдруг окажемся вместе в одном городе?

Проехав с концертами по Германии, пианист-виртуоз должен был возвратиться в Париж. Я так и загорелась. Не придумать лучшего рекомендательного письма для директора парижского театра, чем письмо от самого Ференца Листа. Изучив назначенные даты и места его выступлений, я обвела в кружок название одного из городов в Южной Германии.

Глава 26

Стояла середина февраля, дороги раскисли и превратили любое путешествие в сущее мучение: глубокие лужи, летящая из-под колес и лошадиных копыт жидкая грязь, вылезшие из земли корни деревьев. В карете меня беспрерывно трясло и кидало из стороны в сторону. Завернув ноги в плед из шиншиллы, я низко натянула на уши каракулеву шапку, сунула руки в муфту. К тому времени, когда я прибыла в Верхнюю Саксонию, тело мое, казалось,

превратилось в мешок с брякающими друг о дружку костями, нос посинел, а руки и ноги едва шевелились. Даже заняв свое место в концертном зале, я все еще не могла согреться. В животе урчало от голода, и я с тоской вспоминала теплый плащ и муфту, которые остались в гардеробе. Стараясь поменьше дрожать, я растирала руки, пока синие от холода пальцы не приобрели свой обычный цвет.

Примчавшись сюда из России за рекордный срок, в пути я потратила последние деньги; и было-то их немного, а теперь совсем ничего не осталось. Грустно... Лишь только когда Ференц Лист наконец вышел на сцену, я вспомнила, зачем же, собственно, я сюда так спешила. В свободной белой блузе, с развевающейся шевелюрой и глубоко посаженными глазами, Лист в самом деле выглядел как герой какого-нибудь лирического сонета. Он сел к фортепьяно, и внезапно ожили и засияли тысячи моих впечатлений и воспоминаний. Лист поднял руки над клавиатурой, застыл — и вдруг заиграл. Да как заиграл! Казалось, он одержим бесами. Лицо искажено, волосы спутались, руки летают над клавишами, сплетая в воздухе невысказанный узор. Чудилось: на фортепьяно играет не один человек, а трое. Зал слушал, затаив дыхание. Одна женщина упала в обморок, другие плакали.

Когда концерт закончился, я чуть ли не бегом побежала к сцене. Однако замешкалась, увидев, какая там собирается толпа. Дамы неистовствовали: две сражались за платок композитора, третья целовала ему руки, четвертая убегала с его перчатками. Лист поднял взгляд, и его глаза встретились с моими. Среди прочих дам, одетых в платья нежных тонов, я единственная была в черном. Бархатная юбка, украшенная тесьмой курточка болеро в испанском стиле; волосы сколоты на затылке высоким резным гребнем из слоновой кости. Любой, кто читал газеты, узнал бы Лолу Монтез.

Лист с улыбкой поклонился; я слегка наклонила голову в ответ. Прежде чем уехать из театра, я послала ему записку с приглашением навестить меня в гостинице.

Вернувшись в номер, я заказала целую тарелку бутербродов, после чего осушила добрый бокал коньяку, чтобы успокоить нервы.

Перед тем как ехать на концерт Листа, я предложила вознице щедрую плату, если только он согласится подождать, пока не доберемся до Парижа; он отказался наотрез, требуя плату пусть меньшую, но прямо сейчас. Видимо, хитрый мужик почуял, что я близка к отчаянию. Протянув мне открытую ладонь, он упрямо ждал. Делать нечего: я вынула бумажник и рассталась с горсткой банкнот разных стран. Посчитав деньги, возница снова протянул ладонь. Пришлось отдать жемчужные серьги и серебряную подвеску в придачу, и лишь тогда он оставил меня в покое. Поставив все на успех в Петербурге, я осталась почти ни с чем: денег хватило только на дорогу. Если мне вздумается поесть в ресторане или оплатить гостиничный счет, утром придется искать ломбард. Да и драгоценности мои, говоря по совести, уже подходили к концу, скоро будет нечего закладывать и продавать.

Я придирчиво оглядела номер. Бог мой, он же совершенно не годится! О чем только я думала? Да с какой стати Лист возьмется мне помогать? О-о, где была моя голова?!

— Спокойнее. Не твусь, — шепнула я сама себе и принялась за дело.

Я быстро переставила мебель и снова огляделась, оценивая результат своих трудов. Между тяжелыми малиновыми шторами выглядывает снежно-белое кружево легкой занавески. Два кресла поставлены по обе стороны от камина; к одному креслу прислонена гитара, на другое наброшена вышитая испанская шаль. Лампы притушены, в камине переливаются жаркие угли. На шифоньерке стоит початый графин с коньяком, рядом — два

хрустальных бокала с золочеными ободками.

Превосходно.

Тарелка с недоеденными бутербродами отправилась в спальню, а с ней вместе — лишняя мебель из гостиной.

В десять часов, когда я тихонько наигрывала на гитаре печальную мелодию, раздался негромкий стук в дверь. Прежде чем открыть, я глубоко вздохнула и еще раз глотнула коньяку.

Лист оказался слегка навеселе. Он с нескрываемым удовольствием рухнул в кресло у камина, вольготно раскинулся. При этом его лайковые перчатки упали на пол. Во плоти Лист как будто источал теплый золотистый свет; глаза под густыми бровями живо блестели; в непокорной шевелюре поблескивали золотые искорки.

Мы оба одновременно потянулись за перчатками.

Я подавила улыбку.

— Ваши поклонницы заплатили бы за них кучу денег, — заметила я, положив перчатки на подлокотник его кресла.

— Я их теряю по три пары в неделю, — ответил Лист. — Редко какая пара продержится дольше трех дней.

Налив ему коньяку, я сообщила:

— А я теряю искусственные камелии. Это куда дешевле.

Лист усмехнулся, затем чокнулся со мной.

Не прошло и получаса, как мы уже рассказывали друг другу историю за историей. Он поведал мне о мадьярских цыганах в Венгрии, я ему — о цыганских пещерах в Гранаде.

— Я — полуцыган-полуфранцисканец! — вскричал Лист.

— А я — полуцыганка-полукоролева!

Время летело стремительно; мы рассказывали, то и дело перебивая один другого.

— Ну дайте же мне досказать, — просила я.

— Нет, сначала я вам должен поведать, — настаивал он.

Потом, когда мы сидели, близко склонившись, как лучшие друзья, я взяла в руки его ладонь, рассмотрела. Кожа была нежная, а кончики пальцев — плоские и широкие.

— Вам холодно, — сказал Лист. — Позвольте, я вас согрею.

Взяв мои руки в свои, он принялся согревать мне пальцы собственным дыханием. Всяческие мысли о покровительстве, о рекомендательных письмах (и даже о крайне насущном вопросе — о плате за гостиничный номер) мигом вылетели у меня из головы. Последние три года я столь яростно отгоняла излишне пылких почитателей, что мои собственные желания почти уснули. Вся моя чувственность выплескивалась в танце, страсть выражалась на сцене. А сейчас по телу пробежала невольная дрожь; жар от горячего дыхания Листа растекался по пальцам.

— Как по-вашему: кто я? — спросила я у него. — Существо, подчиненное разуму или желаниям?

При взгляде на его нежные, почти девичьи, губы мне хотелось поцеловать их, попробовать каждую на вкус, кончиком языка провести по зубам. В камине догорали угли; часы на каминной полке пробили три.

Лист поднес мою руку к губам.

— На этот вопрос есть лишь один ответ, однако выбор за вами.

Он подсыпал в камин угля, а я расстелила на полу плед из шиншиллы. Он целовал мне

уши. Я кончиками пальцев перебирала его волосы. Он расстегнул мне платье; я стащила с него блузу. На горле я ощущала его дыхание; под пальцами билась кровь в его жилах. Я тихонько коснулась губами его губ; он провел кончиком языка мне по губам, заставил их приоткрыть. Очутившись в его объятиях, я как будто погрузилась в озеро жидкого света. Мы ввалились в спальню, то и дело натываясь на мебель, которую я в спешке перетаскала туда из гостиной.

На следующее утро мы уехали в Лейпциг, а оттуда — в Дрезден. Поскольку Лист оплачивал счета, я на время перестала тревожиться о деньгах — и быстро договорилась о выступлениях во всех ведущих театрах. Драгоценности в шкатулке остались целы, и я начала копить средства для поездки в Париж. (Тут вся хитрость в том, чтобы создать впечатление, будто в деньгах вовсе не нуждаешься. Потому что стоит лишь окружающим почуять твое отчаяние — и все, можешь ложиться помирать в придорожную канаву.)

Каждое утро мы с Ференцем просыпались в номере роскошного отеля, на кровати с балдахинном; простыни были смяты, мы и во сне обнимали друг друга. Каждый вечер он играл для восторженного зала, а я танцевала в придворном театре. Днем, когда Ференц упражнялся в игре, я укладывалась под фортепьяно и подолгу лежала, укутанная звуками музыки. Порой я сама пела ему испанскую народную песню или наигрывала на гитаре какой-нибудь танец. Влюбленные, порывистые, полные творческих идей, вдохновленные собственной любовью — мы как будто сошли со страниц одной книги; Ференц был моим *companero*^[40], моим братом, моим близнецом. Не прошло и недели, как он уже твердо вознамерился побывать в Испании. Ференц сочинял бесчисленные вариации испанских песен, а я принялась составлять маршрут путешествия, желая непременно посетить свои любимые места.

Впрочем, через полмесяца мой восторг стал потихоньку выдыхаться. Хоть и гениальный композитор, Лист был человеком слабым. Искры, порождавшие страсть и вдохновение, проскакивали между нами очень недолго — и вскоре начали затухать. Те самые качества, которые поначалу казались нам привлекательными друг в друге, стали вызывать раздражение. А золотистый свет, который источал Лист, легко можно было принять за обыкновенное самодовольство.

Однажды я прервала его игру на фортепьяно, и он в раздражении велел мне уйти из комнаты.

— Я не потерплю тиранию! — вскричала я.

А он в ответ рассмеялся и вытолкнул меня за дверь.

— Я требую, чтобы со мной обращались как с равной, — заявила я. — В ином случае я лучше останусь одна сама по себе.

— Мне равна только музыка, — ответил он.

В гневе, я с грохотом захлопнула дверь и выбежала из гостиницы.

Лист начал проводить за игрой долгие часы, с утра до самого вечера, и я чувствовала себя глубоко обиженной. Порой я становилась рядом в изящной позе, облокотившись о фортепьяно, и пыталась соблазнить еще недавно пылко влюбленного Листа. Но как-то раз я прошла через комнату нагая, а он даже не заметил. И я поняла, что настала пора с ним расстаться.

Лист провел в Дрездене пять недель, и его программа концертов была исчерпана;

теперь его ждали в Северной Пруссии. Я же направлялась в Париж. Бумажник мой опять приятно и обнадеживающе раздулся, и я посчитала, что средств хватит до поры, пока я не устроюсь в театр и начну получать регулярное жалованье.

В последнее утро, что провели вместе, мы заказали завтрак в постель. Смакуя кофе с маковым пирогом, мы обменялись подарками. Я вручила Листу сборник испанских песен и нарисованную от руки карту Испании; в ответ получила набор серебряных струн для гитары и несколько писем к влиятельным парижанам.

Среди писем, адресованных критикам и журналистам, я нашла один незаклеенный конверт, на котором значилось имя сочинителя Александра Дюма. Лист улыбнулся:

— Потом прочтешь.

Снова сделавшись центром своей собственной вселенной, я ощутила невероятное облегчение. Карета со стуком катилась по мощеным улицам, а я принялась раскладывать вещи на сиденьях и в конце концов заняла ими все свободное место. На окраине Дрездена я увидела худенькую девчущку в разваливающихся деревянных сабо, которая продавала палочки из солодового сахара. Мне вспомнилась другая девчонка в Бате — такая же худенькая, со слезящимися глазами, — которая якобы продавала крошечные букетики цветов, а на самом деле торговала совсем другим. Велев кучеру остановиться, я купила одну сладкую палочку, а затем высыпала в грязную ладошку горсть серебряных талеров. Уезжая, я оглянулась. Глаза у девчущки сияли от изумления и радости. Быть может, это доброе дело мне зачтется? Посасывая липкую оранжевую палочку, я размышляла о будущем. После Санкт-Петербурга Париж был второй культурной столицей Европы. С рекомендательными письмами от Ференца Листа я твердо рассчитывала на успех.

Карета выехала из города, и я наконец открыла конверт, адресованный Александру Дюма.

Глава 27

Рядом со зданием Гранд-опера в Париже на каштанах лопнули первые почки. В самом театре, возле сцены, находился люк, ведущий к мрачному подземному озерцу. Волнуясь перед выступлением, в своей уборной я трепетала, как едва оперившийся птенец на высокой ветке. Все мое будущее зависело от одного-единственного танца: я могла взмыть к небесам на волне успеха, а могла с треском провалиться (оказаться на дне пропасти?). Я поглядела на облупленные, крашенные желтой краской стены, на старое зеркало с осыпающейся амальгамой, на грязный пол в разноцветных пятнах. А ведь я могу сейчас уйти — вот просто подняться и выйти за дверь. За крошечным оконцем виднелись распускающиеся почки на каштановой ветке, ярко зеленели показавшиеся кончики листьев; прямо под ногами — я буквально чувствовала это кожей — сквозь пол поднималась сырость от стылой черной воды подземного озера.

В самый первый день, когда я пришла в театр репетировать выступление, сторож показал мне люк у сцены и позвенел связкой ключей.

— Много лет назад здесь утопилась прима-балерина. Я теперь очень слежу за ключом.

— Бедняжка! — вскричала я. — Господи, зачем она это сделала?

— Потому что поняла: ей никогда не стать воистину великой. — Сторож скорбно покачал головой. — Ну, известно же, что за народ эти танцовщицы.

Сейчас, глядя на себя в старое зеркало, я в тысячный раз поправила костюм. Парижская Гранд-опера — не просто театр, а главный театр мира. Здесь выступала Мари Тальони; на его сцене Фанни Эльслер исполняла свою знаменитую качучу. «Смелее!» — сказала я себе. В театре сегодня аншлаг: даже в проходах поставлены дополнительные стулья.

Когда подняли занавес, зал взорвался восторженными аплодисментами. Я недвижно застыла на середине сцены — пышные серебристые юбки, узкий корсет, кружевная мантилья ниспадает с высокого гребня в волосах. Заиграла скрипка, и я вскинула над головой руки. Защелкали кастаньеты, затем, вторя им, — ритмичные каблуки. Я тихонько закачалась всем телом, представляя себе теплые солнечные лучи, ласкающие кожу, и волшебный аромат цветущих апельсиновых деревьев. Я была женщиной, что танцует для любимого мужа. Я была алой розой, что распускает на заре лепестки. Тело мое изгибалось, руки танцевали, рассекая воздух. В сердце вспыхнул огонь, по жилам покатила волна желания. Три смелых шага — и я оказалась у самой рампы. Сверкая глазами, положив ладони на покачивающиеся бедра, я бесстрашно скользила по сцене.

Первоначальное радостное волнение зала угасло, зрители сначала притихли, затем начали ерзать в креслах, перешептываться все громче. Расслышав этот невнятный шумок, я сбилась с настроения, встревожилась.

И вдруг с ноги слетела шелковая туфля. Я остановилась, не закончив пируэт. По залу прокатились смешки. Окинув пылающим взглядом партер и ложи, я стремительно нагнулась, подобрала злосчастную туфлю и швырнула ее молодому офицеру, сидевшему в одной из лож. Зал пораженно смолк. С пылающим лицом, не желая сдаваться, я сбросила с ноги вторую туфлю и дотанцевала босиком — шелестя развевающимися юбками, яростно кружа по сцене. Человек десять с отвращением покинули зал. Несколько зрителей поднялись на ноги с криками «Бис!». В эффектном финале я крутанула кистями, взмахнула босой ногой — и поклонилась залу. На сцену упали три жалкие розы, раздались жидкие аплодисменты.

На следующий день пошли всяческие кривотолки. Одна газета писала, что я швырнула офицеру подвязку, другая — что я разделась на сцене догола. Покатила молва, что мне больше уже никогда не выступать в Гранд-опера. Я, разумеется, возражала; но слухи, как известно, не переспоришь.

Свое огорчение я излила, отправившись в тир с новым другом, Александром Дюма. Еще в Индии один британский сержант научил меня управляться с пистолетом, и стрелок из меня вышел отменный. Стреляя быстро, почти не целясь, я пулями изрешетила центр мишени. Дюма был поражен. На следующий день о моем подвиге написала газета «Ла Пресс», а еще через неделю о нем уже знала вся Европа.

Итак, провал моего выступления в Гранд-опера — не мелкая досадная неудача, а полное фиаско. Вслух яростно это отрицая, в душе я признавала, что именно так оно и есть. Дело в том, что я — не Эльслер и не Тальони, и ничего с этим не поделаешь. Да разве могу я сравниться с великими балеринами, которые обучались своему искусству с самого раннего детства? И хотя я настойчиво твердила, что мои танцы исполнены истинно испанского духа, я ни за что не рискнула бы выступать перед настоящей испанской аудиторией. Что ж: я метила слишком высоко — придется подыскать себе площадку пониже.

Осенью я обратила внимание на молодого человека с серо-зелеными глазами —

Александра Дюжарье, близкого друга Дюма. Он был порывист, стремителен в движениях, остроумен, улыбчив и недурен собой. В свои двадцать лет он уже являлся владельцем «Ла Пресс», самой читаемой парижской газеты. Высокий, худой, темноволосый, с густыми бровями и мужественным подбородком, в салонах французской столицы он был весьма замечен.

Мы с ним были схожи: оба мы, каждый по-своему, сами лепили свою судьбу. В первый раз оказавшись наедине, мы подняли друг за дружку бокалы с шампанским.

— Вы — карьеристка, — улыбнулся Александр.

— А вы — парвеню^[41]! — засмеялась я.

Среди прочих многочисленных поклонников Александр выделялся тем, что ухаживал чрезвычайно нежно. Если другие забрасывали меня букетами роскошных роз, то он дарил букетик трогательных фиалок. Однажды он принес одну-единственную маргаритку, в другой раз — лист, от которого осталось лишь тонкое кружево прожилок. Спустя несколько недель после нашего знакомства я переехала в квартиру, соседнюю с квартирой Александра.

Романист Дюма не одобрил поведение друга.

— Разумно ли это? Зачем заводить любовницу, а потом держать ее под боком, точно жену?

В доме 39 по улице Лафит у нас с Александром началась новая жизнь. Мы с ним отлично дополняли друг друга: где я была напориста, он медлил; когда я волновалась, он оставался спокоен. Мне с ним было так хорошо, что впервые за последние полтора года я утратила бдительность и перестала следить за тем, чтобы неизменно оставаться благородной испанкой — донной Монтес. Когда в результате моей беспечности выплыла неприглядная правда, Александр только весело посмеялся. В тот день мы были у меня, отдыхая после обеда; шторы были задернуты, в камине пылал огонь, два бокала мадеры в свете лампы казались полны жидкого янтаря.

— На самом деле я не вдова, — призналась я, — а разведенная жена.

— Да будь у тебя хоть десять мужей, мне было бы все равно, — объявил Александр.

— А в Пруссии меня обвинили в оскорблении действием офицера.

Он широко улыбнулся:

— *Ma chere*^[42], ты этим прославилась.

Я прикусила губу. Затем продолжила:

— Но меня к тому же называют прелюбодейкой и мошенницей.

— Ты — женщина из плоти и крови. Какое же в этом мошенничество?

— Ты знаешь, что меня выгнали из Польши.

Александр схватил меня в объятия и пылко поцеловал в шею.

— Мы печатали об этом статью в «Ла Пресс». Ну, что тут скажешь? Их потеря — моя находка.

Я упорствовала в саморазоблачениях:

— Мой муж — британский капитан и служит в Индии, а вовсе не герой Испании.

— Тогда ничего удивительного, что ты от него ушла.

— Ты не принимаешь меня всерьез! — вспыхнула я. — Тебе вообще на меня наплевать!

В ответ Александр прижал меня к себе, целуя глаза, кончик носа.

Хотя я рассказала ему все, он поклялся, что его любовь безгранична. Александра даже ничуть не расстроило, что я оказалась не благородной испанкой, а наполовину ирландкой.

— Я люблю тебя, а не страну, где ты родилась.

Я перестала мечтать о будущем; теперь я наслаждалась настоящим — каждым днем, каждым часом. Мне нравилось смотреть на Александра, когда он спал; его длинные темные ресницы лежали на щеках. Я обожала наблюдать, как он — высокий, длинноногий — ловко пробирается в толпе. Когда он, еще полусонный, пил с утра кофе, у меня от нежности щемило сердце. А когда он в кафе, с чувством жестикулируя, рассуждал о политике, мне хотелось протянуть руку и погладить его узкие худые пальцы.

Однажды вновь собравшись в тир, я полагала само собой разумеющимся, что Александр захочет меня сопровождать. Однако он недоуменно спросил:

— С какой стати женщине братья за пистолет и стрелять?

Тут уже в свою очередь удивилась я.

— Я могу за себя постоять; а ты?

— Я не умею стрелять. И надеюсь, мне в жизни не придется это делать.

Взволновавшись, я принялась настаивать, что он непременно должен отправиться со мной в тир. Дуэли в то время случались нередко, особенно среди представителей «четвертого сословия». Я не сомневалась, что рано или поздно владельца популярной газеты вызовут на дуэль.

Когда мы прибыли, народ в тире расступился, пропуская нас. Незадолго до того шел сильный дождь, на земле стояли лужи, и все еще моросило. Пока господа целились, слуги держали над ними большие черные зонты. У одних стрелков были ружья, у других — пистолеты. В большом белом шатре двое сражались на шпагах. В воздухе висели густые клубы порохового дыма, и пахло мокрыми опилками; красно-белые мишени были испещрены следами пуль.

Александр не лгал, говоря, что совсем не умеет стрелять. Если каждый мой выстрел был точен, то Александр попадал в цель один раз из семи, да и то если мишень была в человеческий рост.

— Давай я тебя научу, — предложила я.

Он покачал головой.

— Хотя бы научись фехтовать, — попросила я, не на шутку встревоженная.

Он пожал плечами.

— Если меня вызовут, так тому и быть. Я готов принять неизбежное.

В ту зиму в Париж приехала София — за покупками. Мы с Александром отобедали в ресторане с ней и герцогом Аргильским, который оказался совладельцем двух каких-то газет. За обедом мужчины много рассуждали об опасностях коммунизма — новой радикальной теории, которая оказывала немалое влияние на умы и в Лондоне, и в Париже. Я с изрядной долей самодовольства улыбнулась сидящей напротив Софии, которая выглядела такой ухоженной и красивой в своем льдисто-голубом шелковом платье с горностаевой оторочкой. У нее дернулся нос — а потом губы расплзлись в неудержимой широкой улыбке.

На следующее утро она приехала в гости, и мы поздравили себя с тем, как ладно у нас складывается жизнь. Мы обе покинули рамки почтенного общества, однако же, вопреки всем зловещим предсказаниям, ничего страшного с нами не случилось. В среде художников, писателей и журналистов, с которыми мы общались, не слишком пеклись о нравственности.

Мы с моей милой подругой были молоды, желанны и не обременены заботами. О чем еще нам было мечтать?

Расположившись в будуаре, мы с Софией чокнулись бокалами с шампанским. Время было раннее — часы едва пробили полдень, однако нас это не смущало, а шампанское так радостно играло в хрустале.

— Ну, и вот мы в Париже! — объявила София.

— В школе мы это себе представляли иначе. Как ты думаешь, сойдет?

— Более чем, — заверила моя подруга.

— Обе мисс Олдридж гордились бы, услышав, как великолепно мы тут говорим по-французски.

Я шутила, однако София вдруг спросила меня совершенно серьезно:

— Разве ты порой не чувствуешь себя несколько неуверенно?

— Уж не собралась ли ты замуж? — встрепелась я.

— Об этом, конечно, речь не идет. У Чарльза уже есть жена. Однако замужество — один из способов обеспечить себе будущее. Ты-то как — не собираешься?

— Мне нравится думать, что когда-нибудь мы с Александром, возможно, поженимся.

София удивилась:

— Разве он не католик?

Я пожала плечами.

— В сущности, мы с ним об этом не говорили. Но я уверена, что Александр женился бы на мне, если б мог.

— Вряд ли мать ему бы позволила.

— Это мелочи, — от души улыбнулась я и вновь наполнила бокалы шампанским: — Давай выпьем за чудесное настоящее. За каждое бесценное мгновение!

Наши бокалы зазвенели, соприкоснувшись; София улыбнулась, однако в глазах таилась грусть.

Когда она ушла, я перебрала в памяти то, что мы сказали друг другу. Ну да, конечно, я могла бы спросить Александра насчет женитьбы прямо сейчас. Только зачем? Едва ли эта тема добавит нам радости; а мы и так совершенно счастливы, сказала я себе и решила не портить дело.

Следующей весной меня пригласили в труппу театра «Порт Сен-Мартен». На своей премьере я исполнила жизнерадостную польку, затем — роскошную чувственную мазурку. Зрители пришли в неистовство — они бешено аплодировали, кричали и топали. Сцену завалили цветами; ступить было некуда. Не напрасно я целый год брала уроки у крайне требовательного балетмейстера. Теперь я танцевала с большей четкостью, легкостью и грацией. Зрители оценили это сполна.

После выступления, в уборной, я послала воздушный поцелуй своему отражению в зеркале. Жизнь прекрасна! Вчера мы с Александром отметили устрицами и шампанским наши первые полгода, проведенные вместе. Поскольку я принята в труппу «Порт Сен-Мартен», могу рассчитывать на постоянный заработок. Мне уже вполне осязаемо представлялась долгая счастливая жизнь — словно разматывалась бесконечная шелковая лента, розовая и блестящая.

После окончания спектакля ко мне пришел Александр, желая поздравить с успехом. Я встретила его широкой улыбкой:

— Как мы это дело отметим?

— Извини, — огорошил он, — у меня встреча в «Трех прованских братьях». Деловая. Моя улыбка померкла, однако я нашлась:

— Тогда я поеду с тобой.

Александр решительно помотал головой.

— Почему это вдруг нет?

— Я запрещаю, — ответил он, чем сильно меня озадачил.

— Если ты можешь встречаться с такой компанией, то и я, разумеется, тоже.

— Ты — выше их всех. Это в последний раз. Обещаю, что больше не оставлю тебя одну.

Делать нечего; пришлось его отпустить. Я понимала, что Александр имел в виду. Пусть репутация у меня скандальная, вовсе ни к чему вдобавок пятнать ее встречей с дамами полусвета. Усевшись к туалетному столику, я задумалась. Вот уже несколько недель подряд Александр какой-то не такой — напряженный, взвинченный, нервный. Что с ним, хотелось бы знать.

На следующий вечер за ужином у Александра так дрожали руки, что он с трудом держал вилку и нож. Я пыталась выпросить, в чем дело, однако он уклонялся от прямых ответов. Обычно он с удовольствием и очень забавно рассказывал о том, как провел без меня время, однако на сей раз был молчалив и мрачен. Когда я в конце концов сама догадалась, что стряслось, он не нашел в себе сил отрицать.

— Я же знала: надо было ехать с тобой! — вскричала я.

Александр налил себе новый бокал коньяку.

— Рано или поздно это все равно бы случилось.

— Ради бога, скажи, кто тебя вызвал, — взмолилась я. — Я не допущу дуэли.

Он насмешливо фыркнул:

— Это каким же образом, позволь спросить?

— Я сама стала бы драться за тебя, если б ты позволил!

Александр потянулся ко мне и обнял.

— Знаю: стала бы. Но этому крещению я должен подвергнуться сам.

Я принялась расспрашивать о подробностях — где должна состояться дуэль, каким оружием будут драться, — и тут он вспыхнул:

— Оставь меня в покое! Поговорим об этом с утра.

Привстав на цыпочки, я поцеловала его, желая спокойной ночи. Страшно не хотелось его отпускать. Он прижал меня к себе, погладил по волосам.

— Поверь: тут не о чем беспокоиться.

Наутро я проснулась в шесть часов. В семь я послала ему записку. В ожидании ответа подошла к окну. Ночью обильно сыпал снег, укутав землю чистейшим белым покрывалом. Мир казался неподвижным, спокойным. Несколько снежинок опустились, кружась, с неба, неслышно легли на подоконник. Наконец в дверь постучали. Я кинулась в коридор, ожидая увидеть Александра; однако мне вручил письмо его камердинер.

Вскрыв печать, я вдруг услышала шум снаружи и снова кинулась к окну. По улице уезжала прочь карета моего любимого. На девственно-белом снегу остались темные следы колес и конских копыт.

Я пробежала глазами письмо. Рука, писавшая его, несомненно дрожала, скупые строчки

на листе шли вкривь и вкось. «Я еду драться на пистолетах, — писал Александр. — В десять часов все закончится, и я примчусь тебя обнять, если только не...» Письмо выпало у меня из рук.

— Боже, помоги ему!

Я заметалась по городу, стучась во все двери, однако никто из знакомых не знал, где должна состояться дуэль. Дюма, близкий друг моего Александра, и тот покачал головой.

— Во имя милосердия, скажите! — умоляла я.

— Такие дела должны идти естественным чередом, — упорствовал он.

— Хотя бы скажите, кто его противник.

Дюма не желал говорить. Однако я не уехала, пока не добилась хотя бы имени. Оказалось, что это некто Боваллон, театральный критик из «Глоб». В ту ночь, когда Александр поехал без меня в «Три прованских брата», они поссорились из-за карточного долга. Боваллон, известный своей меткостью в стрельбе из пистолета, бросил Александру вызов.

— Господи, — вскричала я в полном отчаянии, — Александр пропал!

В доме 39 по улице Лафит я вновь и вновь перечитывала его письмо. Когда церковные колокола прозвонили десять часов — в это время Александр с Боваллоном должны были стреляться, — я схватилась за сердце. Одиннадцать часов, затем двенадцать. Никаких известий. Я не находила себе места, бесконечно металась по комнатам. Я буквально видела, как противники поворачиваются друг к другу лицом, как один поднимает руку с пистолетом, затем другой. Один остается стоять неподвижно, другой падает на землю. Я отчетливо все это видела; слишком отчетливо. Я зажимала ладонями уши, зажмуривала глаза, но страшное видение не отступало.

В половине первого на улице послышался цокот копыт. Карета въехала во двор, а я сбежала по лестнице вниз и распахнула дверцу. Безжизненное тело Александра повалилось мне на руки; пальто было мокрым от растаявшего снега. Глянув на его лицо, я завывала в голос. Из рта текла кровь: пуля вошла в щеку, оставив рваную кровавую дыру. Я прижалась лбом к его лбу; он был очень холодный. Я не желала отпускать Александра; его друзья силой оторвали меня от него.

Я так и осталась посреди двора, безнадежно и бесполезно вытянув перед собой руки. Платье было в крови, по щекам неудержимо текли слезы. Единственный мужчина, кого я по-настоящему любила, был мертв...

Я позволила увести себя наверх, в квартиру, но когда горничная стала уговаривать меня раздеться, я вцепилась в окровавленное платье. Потом начала кричать, рвать одежду, и она послала за врачом. Он заставил меня выпить опийной настойки, и спустя несколько минут я просто-напросто рухнула на пол. Не прошло и часа, как явились следователи по делу об убийстве Александра Дюжарье.

— Он мертв, мертв! — плакала я.

В церкви, во время заупокойной службы, ни мать Александра, ни его сестры даже не взглянули в мою сторону. Когда служба закончилась, Дюма попросил меня — ради семьи Александра — не присутствовать на похоронах. Стоя на ступенях лестницы, я беспомощно смотрела, как четыре белых коня увозят гроб.

Боваллона судили, и меня вызвали в суд как свидетеля. Я прятала лицо за черной вуалью

и куталась в длинную черную шаль. Когда меня стали спрашивать об обстоятельствах, приведших к дуэли, я закричала:

— Я бы заняла его место!

Публика нервно засмеялась, однако смех быстро утих: я имела в виду именно то, что сказала, и все это поняли. Я кивнула на Боваллона:

— Если бы стреляла я, этот господин был бы мертв.

Я глядела на него в упор, и в конце концов Боваллон отвел взгляд. Пока не дошло до дуэли, он в течение нескольких месяцев пытался склонить меня к тому, чтобы я с ним переспала, и полагал, что рано или поздно непременно добьется своего. Я же попросту над ним смеялась. И Александру не стала рассказывать, боясь, как бы он не вообразил, будто я сама подала Боваллону надежду. А теперь, из-за того что я не приняла этого мерзавца всерьез, Александр был мертв.

Пуля Боваллона не только убила моего любимого — она чуть не погубила мою карьеру. Разве могла я танцевать, когда вся, казалось, состояла из тяжелых, едко-соленых слез? Через десять дней после похорон меня уволили из театра. Александр оставил мне семнадцать акций в каком-то предприятии, но на жизнь этого никак не хватало. Переехав в дешевую гостиницу, я пыталась избегать встреч со своими кредиторами и все больше зависела от доброты и участия друзей, которых становилось все меньше.

Среди тех, кто от меня отвернулся, был и Александр Дюма. Горюя о погибшем друге, он пустил в обиход новое выражение — «роковая женщина», утверждая, что дуэль произошла именно из-за меня. Я отчаянно нуждалась в деньгах. Когда один из почитателей предложил мне поездку по курортам с минеральными водами — сначала в Бельгии, затем в Германии, — я согласилась.

В день отъезда из Парижа я приехала на кладбище. Стояло чудесное весеннее утро, воздух был чист и свеж. Стоя у могилы Александра, я вспоминала наш с ним последний вечер, его дрожащие руки, его фатализм и то, как он прижимал меня к себе, прощаясь. Мы пробыли вместе чуть больше полугода — шесть месяцев со времени нашей первой встречи, первого робкого поцелуя. Я вспомнила, как впервые проснулась рядом с Александром, как смотрела на него, сладко спящего. Неужели все хорошее должно быть отобрано, разрушено, убито? Пожалуй, Дюма прав: моя любовь несет в себе проклятие. Я положила на могильную плиту белую розу. А потом, с сухими глазами и сердцем, готовым рассыпаться на мелкие осколки, я распрощалась с Парижем.

Глава 28

После гибели Александра я непрерывно куда-то ехала, меняя спутников почти столь же часто, как экипажи. Рекомендательные письма мне больше не требовались; часто даже не приходилось называть свое имя. Меня узнавали по черной мантилье и трем красным камелиям в волосах. Я по-прежнему называла себя танцовщицей, однако нередко отменяла выступления, а то и вовсе разрывала контракт. Я стала похожа на озерцо, которое вычерпали до дна, не оставив ни капли прозрачной живой воды. Я как будто вообще разучилась танцевать — сердце билось медленно и вяло, руки и ноги одеревенели, пальцы превратились в нелепые придатки, которые с трудом шевелились. Ну как тут воспевать радость жизни,

восторг любви? Едва вкусив недолгого счастья, я потеряла его из-за страшной в своей нелепости дуэли. Да, я могла бы исполнять танец скорби — умирая на сцене от горя и бессильной ярости, да только кто стал бы платить за такое зрелище деньги?

Из Остенде я поехала в Гейдельберг, затем — в Гамбург. Из Штутгарта двинулась через Баварию; вдалеке сияли снежными вершинами Альпы. Глядя на них, я вспоминала индийские Гималаи. Шесть лет назад я уехала от мужа, не имея ни малейшего представления о том, что меня ждет впереди. Я попыталась вспомнить, какая я была в то время, однако не сумела, а в памяти живо вставала бедная Эвелина: она плакала в своей гостиной, а мальчишка-индус как ни в чем не бывало приводил в движение опахала под потолком, и ветер разносил бумаги по всей комнате. Пожалуй, если вкус к актерству не присущ мне от рождения, а был благоприобретен, то произошло это в Северной Индии. Когда за мной постоянно наблюдали слуги в доме, легче было изображать человека, которого все хотели видеть. Эвелина была честно, искренне и трогательно сама собой; пытаясь воскресить в памяти миссис Элизу Джеймс, я видела лишь пустую оболочку, а не живого человека. Не удивительно, что я сбежала.

В первый день своего пребывания в Мюнхене я неторопливо прогуливалась по улице со своей крохотной белой собачкой по имени Зампа. Стоял октябрь, дул резкий ветер, от которого зябли пальцы. Кругом, куда ни глянь, черные одежды священников и монахов; чуть не на каждом углу — церковь, монастырь или церковная школа. Не успела я выйти из своей гостиницы, как люди начали меня узнавать. Две дамы демонстративно перешли на другую сторону улицы, стайка мальчишек выкрикивала мне вслед непристойности, какой-то мужчина схватил меня за руку, другой громко прошептал мое имя, сообщая его спутнику.

Я рассердилась, затем принялась нарочито покачивать бедрами на ходу.

— Ну что, как Мюнхен пахнет — лучше, чем выглядит? — поинтересовалась я у Зампы, которая обнюхала дерево, столб, еще один столб. — Может, нам лучше попытаться счастья в Австрии? Говорят, Вена — вторая столица Европы.

За спиной я услышала торопливые шаги.

— Фрейлейн Монтес! — окликнул запыхавшийся мужчина. — Я хотел бы с вами поговорить.

Вокруг меня вечно вились журналисты. Стоило приехать в город, как тут же газеты живописали мою биографию. Во время суда над Боваллоном было зачитано письмо Александра, из которого явно следовало, что мы с ним были любовниками; затем оно широко цитировалось по всей Европе. В газетных статьях мною либо восхищались, либо жестоко клеймили. Поклонники уверяли, что охвачены страстью, обожены моим прикосновением, растоптаны шелковыми туфлями. Женщины с упоением читали о моих подвигах, вслух при этом громко возмущаясь. Авторы не самых глупых статей вопрошали: что станет с миром, если женский пол начнет поступать согласно своим порывам и желаниям? Что до меня самой, то внимание прессы меня поддерживало, питало и вдохновляло.

— С какой целью вы прибыли в Мюнхен? — спросил догнавший меня журналист.

— Чтобы наделать шума, — ответила я с улыбкой.

— Вы будете танцевать?

— Только если на этом будет настаивать сам король!

Я вырезала из газет все посвященные мне статьи — как хвалебные, так и ругательные — и хранила их в двух красивых альбомах, обтянутых красной и синей замшей. Когда на душе становилось тоскливо, я листала эти альбомы, чтобы подбодрить себя либо подготовиться к борьбе с окружающим миром.

Журналист ухмыльнулся.

— Говорят, Дюжарье погиб, тщетно пытаясь защитить вашу честь. А сколько еще человек из-за вас погибло?

Подхватив на руки Зампу, я развернулась на каблуках.

— Верно ли, что ваша любовь несет проклятие? — крикнул он мне вслед.

Вот уже полтора года я одевалась исключительно в черное, отдав предпочтение высокому воротнику и простым рукавам в средневековом стиле. В конце концов боль утраты притупилась настолько, что я смогла оценить, как идет мне траур. И устыдилась. В свое время я оделась во вдовий траур, чтобы выдать себя за благородную испанку, а жизнь как будто в насмешку повернулась так, что я потеряла любимого. Вспомнилось, как мать, вся в черном, стояла над могилой отца и разглядывала офицеров его полка, что стояли по другую сторону могилы. Пусть я уехала от матери за тридевять земель, однако ее влияние сказывалось. В последнее время я подчас ловила себя на том, что прежние мечты кажутся пустыми и глупыми, а в душе все чаще шелестит ворчливый голосок: ты должна быть практичной, должна позаботиться о будущем. И не избавиться было от непрошенных мыслей иначе, кроме как переезжая из города в город, из театра в театр.

Порой казалось, что я бесконечно кружусь на карусели. Хотелось закричать: «Остановите! Хватит!» Однако остановить мою карусель было некому. Ночью часто снилось, будто я проваливаюсь в сырой подвал, лечу в мрачную бездонную бездну, падаю в глубокий заброшенный колодец. Мне было необходимо снова танцевать. Мне требовалась сцена, огни рампы. Только в танце я ощущала себя настоящей, была поистине сама собой.

Когда я неторопливо обходила площадь перед королевским дворцом, сверху, кружась, опустилось крылатое семечко платана и легло к моим ногам. Не удержавшись, я наклонилась и подобрала его. По воле случая из такого вот семечка может вырасти огромное дерево. Возможно, и моя судьба вот-вот переменится? Быть может, разойдутся мрачные тучи над головой? С того самого дня, как уехала из Парижа, я ждала, что появится в моей жизни новая цель либо жизнь повернется и пойдет по-иному. Я оглянулась на королевский дворец; под светлым октябрьским солнцем его здания белели, как новая фата на стареющей невесте.

Сцена седьмая

Темно-синий бархат

Глава 29

Вообразите себе великолепную алую розу за садовой оградой. Нежные лепестки полностью раскрылись; ближе к серединке они бледно-розовые, а по краям — густокарминовые. Мимо ограды может пройти молоденькая девушка, с наслаждением вдохнет чудесный аромат; другая протянет руку и тихонько погладит бархатистые лепестки, вздохнет от удовольствия. Восхищенный поэт сложит стихотворение, художник напишет картину, композитор — симфонию. Делец же не задумываясь срежет розу и назначит цену. Другой делец может высушить цветок либо извлечь драгоценное розовое масло. Молодой щеголь бросит розу на сцену под ноги танцовщице, а садовник срежет с куста черенок. Селекционер, желая вывести новый сорт, привьет черенок на другой куст и получит гибрид, совсем новую розу.

Король Людвиг I ведал в Баварии всем: от программы театрального сезона до цвета праздничных гирлянд. Чтобы получить возможность выступать в придворном театре Мюнхена, я должна была заручиться его личным разрешением. Явившись в королевские покои на прием, я окинула взглядом роскошный интерьер в итальянском стиле, с огромными зеркалами и позолотой, и лишь потом обратила внимание на немолодого то ли писаря, то ли секретаря, который шелестел бумагами, сидя за монументальным — королю бы за таким работать! — столом. Я уже собралась спросить, где могу найти короля, когда заметила у «секретаря» на пальце кольцо с королевской печатью. Этот невзрачный с виду человек в потрепанном домашнем халате и был сам баварский монарх. Приветствуя меня, он поднялся — и оказался на удивление внушительным, как подобает венценосцу, несмотря на изрытую оспинами кожу и неприятную шишку прямо в центре лба.

— Я — один из последних в Европе настоящих королей, — объявил он. — Я — самодержец, автократ. Моя власть абсолютна, мое слово — закон для подданных.

Скрывая замешательство, я сделала почтительный реверанс. Однако глаза сами собой расширились от изумления, а верхняя губа неудержимо подергивалась. Тем не менее я с достоинством представилась:

— Я — испанская танцовщица и прибыла сюда с желанием исполнить танцы своей страны на вашей великолепной сцене.

Людвиг буквально ощупал меня взглядом своих серых глаз.

— *Encantado*^[43], — изрек он.

— *Hablo espanol?*^[44] — изумилась я.

Людвиг расцвел в улыбке.

— *Muy bien*^[45]. — Он подписал нужные бумаги. — Можете танцевать между действиями. Да не забудьте надеть испанский костюм.

Во время моего первого выступления в придворном театре Людвиг не спускал с меня глаз, следил за каждым движением. Когда я уже не в театре, а во дворце танцевала болеро,

он пожирал меня глазами, как изголодавшийся человек издали глядит на роскошные яства. После чего рассыпался в громких похвалах, на все лады повторяя на ломаном испанском языке, что обожает все испанское. К концу вечера Людвиг изъявил желание, чтобы придворный художник написал мой портрет. Вскоре король уже лично являлся в мой гостиничный номер, порой дважды в день. А когда я начала позировать художнику, Людвиг стал приходить в студию.

Баварский король каждый год заказывал портрет какой-нибудь красавицы; в один год, особо плодотворный, он заказал целых три. В его «Галерее красавиц», что помещалась в северном крыле дворца, имелись портреты англичанки, гречанки, жены торговца птицей и дочери городского глашатая. Людвиг желал, чтобы это собрание стало памятником тому, как высоко он ценит искусство и женскую красоту. И горько обижался, когда его коллекцию называли «королевским гаремом». Да, восхищение красотой порой находило плотское выражение, однако, по его утверждению, это было абсолютно несущественным.

В студии придворного художника было холодно и гуляли сквозняки. Среди колонн в неоклассическом стиле и заляпанных масляными красками тряпок я сидела на пыльном диванчике красного бархата и грела руки над маленькой жаровней. Художник бросил на меня сердитый взгляд, затем вытер руки о фартук. Зажмурился одним глазом, он примерился, держа кисть в воздухе.

Рядом со мной Людвиг громко декламировал собственные стихи на испанскую тему. Насколько я понимала, за бессмертие приходилось платить ноющей шеей, головной болью и занемевшими ногами. Прочитав одно стихотворение, король переходил к другому. Застывшая улыбка на лице давалась мне со все большим трудом.

— Не шевелитесь, — сделал замечание художник.

В студии были простые беленые стены, тут и там ступени вели куда-то в темные углы и закоулки. Предметы старины сгрудились бок о бок с когда-то прибитыми к берегу древесными стволами и обкатанными морским прибоем камешками. Запах льняного семени и скипидара смешивался с благовониями и горящим в жаровне углем. Куда ни посмотришь, всюду — живописные полотна в разной степени завершенности, от грубых набросков до картин, которые уже были закончены, но почему-то не понравились, и художник перечеркнул холсты крест-накрест черной краской.

Среди всего этого беспорядка мы с Людвигом восхищенно взирали друг на друга. Под внимательным взглядом придворного живописца мы общались шепотом и взглядами украдкой. С самого начала мы с королем говорили только на испанском — и это был наш собственный, возвышенный и исполненный чувства, хоть и не совсем грамматически правильный язык.

— *Serenissimus*, — обратилась я к нему, как положено простой смертной обращаться к королю.

— Зовите меня Луисом, — тут же предложил он.

— Что вы, это никак не возможно, — возразила я.

Он сжал мои руки.

— *Me extrano?* Вы без меня скучали?

Мне было и приятно, и одновременно смешно.

— *Mas que puedo decir.* Даже и сказать не могу, как скучала.

Возможно, Людвиг оттого так низко склонялся перед идеалом красоты, что его собственная внешность совершенно не соответствовала тому, как он сам себя воспринимал. На карикатурах его изображали с огромной слуховой трубкой в ухе и с длинной мордой хорька, однако сам Людвиг почитал себя за страстного человека с душой поэта. Газетные карикатуры его глубоко обижали, и король все пытался их запретить. А искусство давало возможность достичь совершенства — в чем ему было отказано с точки зрения физической. Например, если картина не отвечала его строгим понятиям о красоте, Людвиг мог просто-напросто заказать другую.

Когда работа над моим портретом приблизилась к завершению, художник выставил полотно на мольберте в «Галерее красавиц», чтобы Его Величество смог оценить работу. Людвиг долго с восхищением созерцал портрет, затем повернулся ко мне:

— Не покидайте меня. *Queda en Munchen. Queda con me*^[46].

Художник смущенно кашлянул, почтительно извинился и поспешил уйти.

Я пыталась сосредоточиться на незаконченном портрете, однако взгляд притягивали десятки полотен на стенах галереи. На них были изображены самые разные женщины — и зрелые, и совсем молоденькие, и умудренные опытом, роскошные светские львицы. Смуглые и белокожие, пышнотелые и хрупкие, одухотворенные и совершенно земные, добродушные и несомненно злые. Я с трудом отвела взгляд от королевского «гарема» и внимательно рассмотрела собственный портрет. Очень недурно. И позировала-то всего несколько раз — а вон какой шедевр, яркий контраст черного и красного. Правда, подбородок несколько заострен, зато в глазах чудесное мечтательное выражение.

— *Bien?*^[47] — спросил Людвиг.

— Не знаю.

А впрочем, почему бы не остаться? С того самого дня, как уехала из Парижа, я бесконечно переезжала из города в город, из театра в театр, но без всякой цели, без желания чего-то достичь своим танцем — лишь ради того, чтобы двигаться и зарабатывать на жизнь. Возможно, пора что-то поменять? Но что именно Людвиг от меня хочет? Снова бросив взгляд на коллекцию портретов, я вспомнила развешанные по стенам охотничьи трофеи в офицерской столовой в Карнапе — головы тигра, слона и оленя. Возможно, эти несчастные звери и сейчас еще глядят со стен стеклянными глазами. Если мне приходилось встречаться в том зале с Томасом, я всякий раз старалась на них не смотреть.

Портреты в галерее чрезвычайно походили на выставку трофеев — независимо от того, покорила их баварский монарх или нет. Хотелось бы знать, как далеко простираются королевские права. И сколько из этих женщин попросту подчинились и исполняли каждое желание Людвига, прежде чем он их отпустил или отбросил, как надоевшую вещицу?

Я отрицательно покачала головой и повторила:

— Не знаю.

Помогая себе выразительными жестами, я обрисовала свои планы дальнейшего путешествия до самой Вены; по пути я предполагала выступать в крупных городах.

— Как по-вашему, где лучше это делать? В Зальцбурге или, может быть, в Линце?

— *Queda*, — прошептал Людвиг.

Внезапно я заметила, что мой портрет — не статичен, в нем явно присутствует ощущение движения: словно я готова сорваться с места и бежать прочь.

Когда я позировала в последний раз, Людвиг ворвался в студию и бросил мне на колени три богато переплетенных тома — издание собственных стихов.

— *Yo te quiero*^[48], — объявил он.

Сидя на диванчике красного бархата, я листала нарядные томики, взвешивая свои возможности. Людвиг твердо верит в силу платонической любви. Он женат, имеет восемь детей, и лет ему почти шестьдесят. Мне же едва исполнилось двадцать шесть, причем я разыгрываю из себя наивную простушку двадцати одного года от роду. Людвиг заказал первые портреты в свою «Галерею красавиц», когда я еще даже на свет не родилась.

— Мне нужно думать о своей репутации, — наконец проговорила я.

— Я вас люблю отеческой любовью, — возразил монарх. — Позвольте мне о вас заботиться.

«Отчего же не остаться?» — шепнул вкрадчивый голосок здравого смысла. И в самом деле: я смогу пожить спокойно, отдохнуть. Свить собственное уютное гнездышко. Наконец, можно некоторое время не выступать на сцене. Забыть обо всех треволнениях и передрыгах; хоть ненадолго.

— Да, мне будет нелегко вас покинуть, — изрекла я.

Людвиг воспрянул духом.

— Я никогда не испытывал ничего подобного! Любовь, что вспыхнула в моей душе, чиста и свята. Я чувствую себя заново рожденным.

В «Галерее красавиц» для моего портрета уже освободили место, готовясь повесить его на самом видном месте. Людвиг твердил: «Вы совершенно не такая, как прочие женщины, вы — особенная!» Однако сорок портретов молчаливо напоминали: я — всего лишь одна из королевских муз, до меня было сорок таких же «особенных».

— Я не отпущу вас, — проговорил он шепотом.

Сложив три томика стихов аккуратной стопкой, я обратила все свое внимание на Его Величество.

— Не стану отрицать, что за прошедшие несколько недель я бесконечно к вам привязалась.

У него дрогнул голос:

— Без вас мое сердце мертво.

Я поглядела ему в глаза, после чего нежно провела рукой по щеке. Проворковала:

— Я бы с готовностью отдала ради вас все на свете, *carino*^[49]; но как я буду жить?

Людвиг обещал дом, титул, карету с лошадьми и ежегодное содержание. Стоило мне упомянуть свою карьеру танцовщицы, как он удваивал обещанную сумму. Когда дошло до десяти тысяч флоринов, мне пришлось сунуть руки под себя и прикусить губу, чтобы не выдать чувств. Десять тысяч флоринов в год! Мало кто из знати мог похвастать таким богатством. Коли монарх сдержит свое обещание, мне больше никогда в жизни не придется заботиться о деньгах.

Художник у мольберта накладывал последние мазки — стремительными, сердитыми движениями.

— Так вы останетесь? — спросил Людвиг.

— Мы заключили договор, мой Луисито, — ответила я и поцеловала его в обе щеки.

Спустя три месяца я сидела в собственной театральной ложе, на ярусе, отведенном для знати. Что-то изменилось в моем сознании — равно как и в моем гардеробе. Взглянув на себя богоданными монаршими глазами и сумев разглядеть то, что желал видеть Людвиг, я от души принялась играть свою новую возвышенную роль. Много времени отнимал особнячок в центре Мюнхена: я каждый день вчитывалась в каталоги, всматривалась в представленные архитектором чертежи. Однако сейчас я с ностальгической тоской глядела на сцену. Давали «Сильфиду»; аккуратно сложив на коленях перчатки, я подавила желание скинуть туфли. Хотя бы внешне я теперь принадлежала к сливкам баварского общества.

В антракте в ложу пришел Людвиг. Я не встала с места и не сделала реверанс, и по залу прокатился возмущенный шепоток:

— Что она о себе думает? Неужто вообразила себя равной королю?

Людвиг кашлянул и шевельнул рукой, напоминая, что мне следует подняться. Я едва расслышала слова, с которыми он ко мне обратился:

— Какие краны заказать для ванной? Золотые из Парижа или мозаичные из Вены?

Когда подаренный монархом особняк на Барерштрассе был полностью отделан, я вставила тяжелый ключ в замочную скважину и с замиранием сердца отперла замок. Мгновение помедлила, предвкушая все то, что увижу, и наконец отворила дверь. Последние тревоги я постаралась отогнать. Ведь у меня никогда не было ничего своего, кроме багажа, который я возила с собой; а тут — целый дом!

Фасад особняка был выполнен в неоклассическом стиле; солнечный свет щедро лился в комнаты сквозь высокие окна. Едва шагнув через порог, я преисполнилась детского восторга. «Мой дом, мой дом, мой дом», — шептала я, осматриваясь. Стены в гостиной были украшены фресками в древнеримском стиле; во внутреннем дворике красовался фонтан с четырьмя фигурами дельфинов; на второй этаж, к будуару, вела лестница, сделанная из хрусталя. Если дом — отражение его владельца, этим особняком должна владеть прекрасная принцесса из чудесной сказки. Переходя из комнаты в комнату, я упивалась каждой подробностью, каждой деталью внутреннего убранства. Я поглаживала дверные ручки, проводила пальцем по белому мрамору каминов. Здесь все было тщательнейшим образом продумано и мастерски выполнено. В ванной комнате окна были застеклены розовым стеклом, а сама ванна, высеченная из цельного куска мрамора, была доставлена из Рима и в древности принадлежала, очевидно, какой-нибудь знатной римской патрицианке. Венецианские зеркала, позолоченная мебель. Единственным, что слегка заслоняло свет и нарушало общий чувственный облик дома, были тяжелые чугунные ставни. Такие ставни куда уместнее смотрелись бы в военной крепости, а не на окнах дворца.

Осмотрев все, я уселась в гостиной у окна, радуясь тяжести массивного ключа на ладони. У ног вытянулась на ковре Зампа, греясь на солнышке. И вдруг раздался звон стекла, посыпались осколки — в окно влетел брошенный камень. Моя крошечная собачка залилась сердитым лаем.

Положение любовницы ненадежно; оно зависит от уз обязательств, если подводят узы страсти. Однако я была не любовницей, а музой, богиней, живым творением Искусства с большой буквы. В тот вечер я повела Людвигу на экскурсию по дому. А в гостиной с фресками вручила ему красиво завернутый подарок.

— Закройте глаза, — велела я.

Людвиг вслепую долго возился с золотым шнуром, алым шелком и тончайшей бумагой, прежде чем наконец открыл глаза — и обомлел. На столе перед ним стояла алебастровая статуэтка — моя босая нога. У монарха перехватило дыхание. Он прижал гипсовую ногу к губам, покрывая ее поцелуями — подъем, ступню, пальцы, стоящие на маленьком пьедестале из желтого мрамора.

— Вкусно? — спросила я по-испански.

— Ваша нога несравненна, — объявил король. — Прямо-таки античный идеал.

Статуэтку он использовал как пресс-папье: на королевском письменном столе под ней лежали бумаги государственной важности. Увидев это впервые, я не сдержала улыбку. Сам того не подозревая, Людвиг уже каждое свое решение принимал с моим участием.

Недолго, но счастливо мы жили в заколдованном мире испанских баллад и любовных романов. Стояла холодная баварская зима, а мы обитали в мире жаркого солнца, джакаранды, длинных теней на закате и серенад под гитару.

— Я ощущаю себя Везувием! — восклицал Людвиг. — Все вокруг полагали, что я уже выгорел и угас, но только посмотрите на меня теперь! Я снова живу великолепной полной жизнью; это поистине извержение проснувшегося вулкана. Я полон сил, как двадцатилетний юноша!

В стране было беспокойно, то и дело вспыхивали мятежи, а мы с королем учили наизусть строки испанских поэтов. В парке мы гуляли среди унылых голых деревьев, читая стихи о тяжелых гроздьях винограда и о цыганских королевах. Когда правительство ушло в отставку, не пожелав предоставить мне баварское гражданство, Людвиг просто-напросто назначил других министров. Да, пожалуй, у абсолютной монархии были свои несомненные достоинства. Впервые после отъезда из Парижа я крепко спала по ночам.

Пришла весна, и деревья начали оживать, на ветвях набухли зеленые почки. Несмотря на все свои торжественные заверения в исключительно платонической любви, Людвиг возжелал большего, нежели моя дочерняя привязанность. Пробудившийся вулкан оказался сластолюбцем. В тщетной попытке сдержать страсть король заказывал художнику мой портрет за портретом. Таким образом он мог обладать мной хотя бы на холсте, если не во плоти. И когда Людвиг в конце концов облек свои желания в слова, заговорил он об искусстве. Разве нагое тело не было в Античности идеалом красоты? Разве не могу я позволить ему хоть мельком увидеть мои чудесные икры, роскошные бедра, неподобную грудь?

— Что?! — вскричала я, едва это услышав. — Вы готовы выставить меня обнаженной перед миром?! Я знаю: ваши подданные ни в грош меня не ставят; теперь ясно, что и вы тоже.

— Но ведь вы могли бы сбросить одежды для меня одного, — взмолился он. — Вы стали бы изысканной живой скульптурой, ласкающей взор короля — и больше ничей.

Я швырнула в него туфлю. И после этого, как могла, тянула время, размышляя, что предпринять. Пока Людвиг меня идеализировал, он вызывал у меня ответную нежность. Но стоило ему потребовать того же, чего желали все прочие мужчины, как он сделался мне противен. Его поцелуи становились все более пылки, а я — все более холодна. Однако же я ему позволяла время от времени поцеловать то лодыжку, то коленку. Однажды, принимая ванну, я даже разрешила потереть мочалкой мне спину. Сама себе в том не признаваясь, я

оказывала монарху мимолетные милости, которые сильно его возбуждали, а дальше ему приходилось справляться одному, без меня.

Через два дня после того, как королева покинула на лето Мюнхен, Людвиг потребовал, чтобы мы стали близки. Поскольку я уже прежде истощила весь свой запас отговорок, сейчас не нашла что возразить. Глубоко вздохнув, я повела короля к хрустальной лестнице. Ее ступени сверкали, вспыхивали миллионом разноцветных искр, отражались в зеркалах. Мы как будто поднимались по лестнице, созданной из мерцающего света, из тысяч крошечных радуг. Я взглянула на дряблое морщинистое лицо короля, на его слезящиеся глаза, на руки в старческих пятнах. Горестно вздохнув, прошла последние несколько ступенек.

В гардеробной я медленно разделась; руки и грудь покрылись гусиной кожей. Облачившись в скромную белую рубашку с белой же вышивкой, я пришла в спальню и легла в постель, где уже ждал сгорающий от нетерпения Людвиг. Откинулась на подушки и закрыла глаза. Все произошло очень быстро и бестолково; Людвиг суетился и оправдывался. А я подумала об Александре и едва не заплакала. Потом я уверила монарха в своей нежнейшей привязанности и притворилась, будто уснула. Лежа с закрытыми глазами и стараясь ровно дышать, я с горечью думала: «Король — знаток своего дела. Он приобрел меня, как чистокровную лошадь или редкостную старинную книгу. А я-то — последняя дура! Пыталась играть в его игры. И разумеется, проиграла».

Каких-то шесть месяцев потребовалось, чтобы монарший идеал платонической любви рухнул и так некрасиво разбился. Однако я — не картина, не редкая орхидея или роза. Пусть Людвиг проник в мою спальню, он не в силах вселиться мне в душу.

Глава 30

На втором этаже, в дальнем конце коридора, за непритязательной дверью была скромная комнатка, отделанная в кремовых и белых тонах. Моя спальня — единственное место в доме, которое было предназначено лишь для меня одной, больше ни для кого. Я могла уйти туда, закрыть дверь и забыть о том, что надо угождать Людвигу, завоевывать признание его подданных, что будущее мое по-прежнему неопределенно и тревожно. В спальне я могла отдохнуть, побыть с собой наедине, ни о чем не заботясь. Это было мое личное пространство, мое убежище, мой приют; и никому не дозволялось в него вторгаться. Стены обтянуты снежно-белым шелком, шторы — из кремовой муаровой тафты, а когда их раздвигали, дневной свет лился сквозь тончайшую прозрачную ткань с отделкой из сицилийского кружева. В отличие от всех прочих комнат в спальне не было ни одного зеркала и очень мало мебели. Небольшая кровать с резными птицами, розами и завитушками — точь-в-точь моя детская кроватка в Индии — была накрыта молочно-белым покрывалом с вышивкой на индийский лад, золотыми нитями. В углу стоял письменный стол розового дерева; в нем я держала стопку писчей бумаги, несколько старых любовных писем и свои дневники, обклеенные кусками ткани, что остались от любимых платьев. Нередко мы с Зампой вдвоем укладывались на постель; собачка спала, а я читала роман. Или, если была в настроении, сочиняла письмо к Софии, а порой списывала страницу-другую в дневнике.

Людвиг засыпал меня любовными стихами, исполненными уже отнюдь не платонической любви, а откровенного сладострастия. А мне становилось все горше, все тоскливее. Не так-то легко было погасить этот некстати пробудившийся Везувий.

Требования Людвига росли, и я отступала все дальше в глубь дома. Но куда бы я ни пыталась спрятаться, король упорно следовал за мной. Какие бы уступки я ни делала, он желал большего. И когда он взошел по хрустальной лестнице, отступать уже стало некуда; не сохранилось ни единого уголка где я могла бы побыть в полном одиночестве. Порой казалось, что моя собственная жизнь просачивается между пальцев и странным образом исчезает. В доме пропадали всякие мелочи; безделушки и украшения почему-то оказывались не там, где, как я отлично помнила недавно были. Не раз мне приходило в голову, что меня обворовывает кто-то из слуг.

Спустя месяц после того, как я переспала с Людвигом, моя чудесная спальня превратилась в больничную палату, где стоял отвратительный дух уже знакомого, увы, недуга. Я лежала на сырых простынях, беспомощная, как младенец, в липком поту; на столике возле кровати теснились синие пузырьки с лекарствами, стопкой были сложены влажные полотенца.

Когда наставали трудные времена, тут же возвращалась малярия, которой я впервые заболела в Индии. В бреду ко мне приходила Сита, а потом — Джасвиндер; она заботливо промокала лоб, а затем принималась меня пороть. «Простите!» — кричала я, а больше ничего поделать не могла. Джасвиндер не уходила, стояла возле кровати, и на ее красивом лице читались разочарование и смирение. Я бессильно откидывалась на подушки, глубоко вздыхала; моя крошка Зампа лаяла в испуге и смятении, не в силах понять, отчего хозяйка не поднимается с постели и не идет гулять. Между неплотно задернутыми занавесками виднелась полоска яркого летнего неба. Прошел июнь, закончился июль, а я все болела и болела. И горько спрашивала сама себя: что же я натворила? Во что же я превратилась?

Куда бы я ни взглянула, всюду виделся след Людвига — казалось, он ухитрился прикоснуться ко всему, что только было в доме, все испачкать и испортить. Вот поправлюсь — займусь переделками, даже если придется самой обдирать со стен белый шелк. В памяти бесконечно всплывало лицо баварского монарха, когда он трудился, навалившись на меня сверху. Каждая вмятинка и любой бугорок напоминали о Людвиге, и не было возможности изгнать отсюда эти воспоминания. Да я вообще могла бы превратить свою белую целомудренную спальню в будуар шлюхи — оклеила бы стены алыми обоями, увешала бы зеркалами в позолоченных рамах. Уж точно, не было бы хуже, чем теперь. Будь он проклят, думала я; и будь проклята я сама! Каждый день я просила свою горничную Сусанну менять постельное белье, надеясь, что рано или поздно воспоминание о той ночи потускнеет.

Людвиг являлся каждое утро, однако я неизменно отказывалась его принять. Сусанна приносила начертанные королевской рукой записки, полные слов тревоги и любви, и монаршие свежайшие стихи, но я не желала их читать. Мысль, что Людвиг готов дать все, о чем я ни попрошу, лишь усиливала мое чувство безысходности. Надо уезжать из Мюнхена — вот только куда? В Лондон, Париж, Берлин? В любом из этих городов я уже побывала, в каждом случился какой-нибудь скандал. Когда-то давно я сама себе обещала, что в жизни не буду возвращаться по собственным следам, но куда же мне идти? А что, если я оказалась в ловушке и придется остаться в Мюнхене навсегда? Думая об этом, я неизменно приходила в ужас. Денег у меня сейчас было больше, чем когда-либо, однако на душе становилось все хуже и хуже.

Чуть только я пошла на поправку, Людвиг уже был тут как тут. В щенячьем восторге, он не желал расставаться со мной ни на миг. Если я не запирала дверь у него перед носом, он

следовал за мной в гардеробную и даже в ванную комнату. Пытаясь удержать его на расстоянии — или хотя бы за дверью спальни, — я ссылалась на хрупкость собственного здоровья. Это не помогало; тогда я принялась толковать Людвигу о последствиях малярии, которая, несомненно, меня сильно ослабила, о страхе забеременеть, о возможных пагубных последствиях любых физических нагрузок.

— Пожалуйста, больше не заставляйте меня об этом говорить, — попросила я, роясь в тумбочке с туфлями.

— Драгоценная моя Лолита, — изрек король, — ты должна рассказать мне все как есть.

После чего он, со свойственной ему дотошностью, начал отслеживать мой менструальный цикл и пригласил лекаря, который был призван поправить мое здоровье диетой и отварами трав.

Как-то раз Людвиг прибыл ко мне после официального обеда и прямоком двинулся в гардеробную, где я сидела у зеркала, не спеша снимая и складывая в шкатулку драгоценности. Мне не хватило духу попросить короля уйти и увидеть, как разочарованно вытянется его лицо. Он остался, а я продолжала заниматься своим делом. Без всякой задней мысли я скинула туфли; у Людвига расширились глаза, на щеках проступили два ярко-розовых пятнышка. Я с любопытством наблюдала; он не отводил взгляд от моих обтянутых шелком ступней. И я уже совсем собралась было захихикать и пощекотать ему нос, как вдруг физически, всей кожей ощутила его взгляд. Людвиг буквально пожирал мои ноги глазами. А они у меня были сильные, мускулистые, почти мужские — я ведь не один год уже танцевала. Гибкие, ловкие ноги — но вовсе не женственные и не красивые. Я вытянула носки, пошевелила пальцами. Людвиг не отводил взгляд. Напряжение в комнате сгущалось — казалось, его уже можно черпать ложкой, как суп. Мне пришло в голову, что такие, совершенно не привлекательные, ноги помогут обуздать монарший пыл. Поэтому я приподняла юбки и принялась снимать чулки. Однако руки отчего-то плохо слушались, пальцы стали неловкими, как деревяшки. Закрыв глаза, я сосредоточилась, вся ушла в борьбу с чулками. А когда наконец их сняла, Людвиг вдруг рухнул на пол и кинулся лобызать мне ноги, кончиком горячего языка щекотать между пальцами.

Ежась от этих ласк, я пыталась сохранить трезвую голову. Хотелось закричать: «Неужто у тебя нет ни капли чувства собственного достоинства? Как ты можешь называть себя королем, наместником Бога на земле, и при этом молиться у моих ног? Ведь ты — идолопоклонник, если не хуже!»

Я толкнула Людвигу пяткой в грудь; он бы свалился, не успею я его подхватить.

— Ох, — вырвалось у меня невольно.

Вид у короля сделался обиженный и смущенный.

Засмеявшись, я обняла его и поцеловала в щеку.

— Неужели мой милый старый Луис в самом деле столь ненасытен? — осведомилась я с нежнейшей улыбкой. — Должно быть, нелегко нести на своих плечах бремя королевской власти. Но когда мы остаемся вдвоем, почему бы вам не отвести душу, не рассказать о своих тревогах и заботах? Я буду свято хранить ваши тайны.

Так сильно однажды унизившись, Людвиг очевидно наслаждался своим унижением, словно обрел какую-то странную свободу. Меня поражало, до каких глубин он готов пасть. Баварский король начал выдавать мне кусочки мягкой фланели, чтобы я носила их под одеждой.

— Сама понимаешь, в каком месте, — заявил он.

А потом, когда я возвращала ему влажные лоскутки, он с упоением их нюхал. Чуть позже я придумала сбрызгивать их мускусом или цибетином. Людвиг даже не заметил разницы. В душе я негодовала. Отчего он не может любить меня той чудесной платонической любовью, которую обещал? Почему наша дружба — ну, пусть не дружба, а хотя бы ее видимость, — почему она сведена к отвратительному рассматриванию испачканных тряпиц и шарящим по моему телу пальцам? Отчего он не может держать себя с достоинством, подобающим королевской особе?

Не успела я оправиться от одного приступа малярии, как вскоре начался другой. В редкие минуты, когда прояснялось сознание, я с горечью признавала, что выстроила свою империю на зыбучих песках. Каждый поцелуй или прикосновение к Людвигу я ощущала как маленькое предательство, от любого нежного слова по коже мороз продирает. Меня преследовал один и тот же гадкий сон: по животу и груди ползут улитки, оставляя влажный липкий след. Все, что прежде казалось высоким и чистым, было растоптано и замарано; меня не отпускали ужас и отвращение.

Часто вспоминались отрывки разговоров с Эллен, моей лондонской горничной. Особенно одна ее фраза: «У всякой женщины своя цена». Помнится, тогда я возразила: «Ты говоришь, совсем как моя мать!»

Малярия не отпускала; я никак не могла поправиться. Всю свою вторую зиму в Баварии я не покидала собственной спальни. Мюнхен был завален снегом, а я лежала в жару. Часто снился кошмар: Людвиг отворяет мне грудь, будто дверцы шкафа, а под ребрами — пустота. Где должно быть сердце, его нет. Или еще: будто бы я снова в Индии, а мать желает выдать меня замуж за Томаса, о котором я даже думать не хочу; я тайком сбегая с Джорджем — и вдруг он превращается в того самого Томаса, от которого я пыталась удрать.

Однажды утром я очнулась после особенно тяжелого приступа и обнаружила возле себя на постели недописанное письмо. Я рассматривала его с искренним недоумением. Почерк был нетвердый, многое было зачеркнуто и переписано, но все же я несомненно узнала руку. Немало часов я провела, по настоянию мисс Олдридж номер один либо два, трудясь над листами бумаги. Женственный, аккуратный, летящий, с мелкими завитушками почерк явно был моим собственным. Хотя я совершенно не помнила, как сочиняла это послание.

Оно было адресовано моей матери. Я прочла письмо раз, потом другой, третий — так трудно оказалось понять, что же, собственно, я хотела сказать.

*Дорогая моя мамочка
Дорогая моя миссис Крейги
Дорогая миссис Крейги!*

~~Почти пять лет~~ Уже прошло некоторое время с тех пор, как мы виделись в последний раз. Я понимаю, что расстались мы не очень хорошо, и не сомневаюсь, что у вас есть все причины на меня сердиться, однако сейчас мы обе одиноки, мы с вами — единственные родные друг другу люди, и мне кажется, нам следует ~~попытаться~~ примириться. Возможно, мы могли бы стать друзьями. Я ~~очень по вам скучаю~~. В конце концов, вы моя мать. Когда я оставила Томаса, разве могла я знать, что готовит мне будущее? Чуть только джинн был выпущен из бутылки, моя жизнь пошла независимо от меня. Разве я и ~~впрямь~~ такая

~~скверная, как пишут? В газетах пишут небывицы. Разве не найдется в вашем сердце прощения? Это не моя вина. Ведь мы все-таки чем-то похожи. Вспомните: когда-то у вас была шляпка с крошечным суденышком, а потом другая, с заморскими фруктами. Разве вы не узнаете в себе меня, хотя бы чуть-чуть? Конечно, вы — честолюбивая женщина. Моя способность танцевать передалась от вас. Разве может такое быть, что вы предпочтете считать меня скорее мертвой, чем собственной дочерью? Что вы от меня хотите? Извинений? Думать об уважении общества уже слишком поздно. Неужели я совсем ничего не могу изменить? Подумайте обо мне хоть немного. Напишите хоть несколько строчек. Несколько слов.~~

Письмо было незакончено, на последней странице строчки поползли в разные стороны, как будто даже в жару я осознала, что писать бесполезно. Читая собственное творение, я прямо-таки слышала, как отвратителен этот униженный, просительный тон. Бог мой, неужто у меня вовсе нет гордости? Слезы обожгли глаза. Скомкав письмо в кулаке, я в изнеможении вновь упала на подушки.

Я не желала себе в том признаваться, однако в последнее время все чаще вспоминала мать. Каждый раз, поймав себя на том, что размышляю о наших с ней отношениях, я старалась прогнать эти мысли прочь. Порой я во сне пыталась ее отыскать, однако находила лишь зеркало в чудесно украшенной раме, в котором, однако, ничто не отражалось. Порой казалось, что малейший пустяк может каким-то чудом поправить дело. Как хотелось протянуть к ней руку, коснуться, еще один раз — самый-самый последний! — попросить... Расправив смятое письмо, я всматривалась в него, пока не ослепла от выступивших слез. В груди щемило; если бы мать позволила себе хоть немного меня любить, возможно, моя жизнь сложилась бы иначе.

Стой, одернула я себя. Ишь расчувствовалась! Вспомни: всего несколько раз тебе нужна была ее любовь, но мать неизменно тебя отталкивала. Она так же презирает слабость, как и ты. Вспомни, что она ответила, когда ты вышла за Томаса замуж и просила о помощи. Мать написала: «Ты сама заварила эту кашу, теперь и расхлебывай. А если она тебе не по вкусу и слишком солонa, так ты сама в том повинна, никто другой».

Тряхнув головой, я тщательнейшим образом разорвала письмо на мелкие клочки. Они усеяли покрывало, как дешевое конфетти, и я твердо решила даже и не помышлять о том, чтобы снова писать матери.

Прошло полчаса, и я по памяти восстановила письмо. Быть может, я все-таки его отошлю? Ну какой от него будет вред? Во мне опять проснулась надежда. Кто знает, как оно повернется? Возможно, мы все-таки будем хоть изредка переписываться. Отчего же нет? Правда, нет смысла ожидать большего. Да, конечно: надо трезво смотреть на жизнь и не надеяться на несбыточное.

Месяц спустя я поднялась наконец с постели, сильно ослабевшая, буквально выпитая болезнью до дна. Кости болели; выглядела я скверно — бледная, исхудавшая. Оставшись одна, я тут же впадала в уныние; порой меня охватывали приступы необъяснимой слепой ярости. Пуще всего я ненавидела Людвига — за то, что он вообразил, будто может меня купить, и себя — за то, что назвала цену. Как всегда, мать оказалась права: заварив в Баварии гадкую кашу, я теперь вынуждена ее хлебать. Мне было семнадцать, когда мать попыталась выдать меня за старика. Желая спастись, я убежала за тысячи километров — и

на тебе, оказалась в этом же самом положении! Только на сей раз я позволяю себя лапать стороннему человеку, даже не мужу. Вот мать бы в душе надо мной посмеялась! Мне отчетливо виделось, как ее аккуратное личико на миг освещает улыбка горького торжества. Возможно, я воистину ее дочь. И я научусь, как держать в узде баварского монарха. А тем временем нужно позаботиться о собственных интересах и упрочить свое положение. Нужно проявить практичность; необходимо думать о будущем. Так я себе говорила.

Глава 31

Во внутреннем дворике, затерянном в лабиринтах дворца, находилась оранжерея с коллекцией орхидей, которые Людвиг холил и лелеял лично, не доверяя это дело садовникам. Мы часто проводили там время днем, празднично сидя на парчовом диванчике среди кактусов, пальм и резных трепещущих папоротников. Когда мысли Людвиг были заняты государственными делами, он принимался ухаживать за орхидеями, а я наблюдала, как он проверяет уровень влажности или опрыскивает семена, упавшие в землю вокруг материнского растения. В его коллекции был редкий фиолетово-красный экземпляр с Суматры с крошечным утолщением в серединке, формой похожим на человеческий череп, чисто-белый гибрид из восточных районов Африки и удивительная огненная орхидея с волнистыми, словно гофрированными лепестками и длинными загнутыми чашелистиками, напоминающими экзотическую бабочку.

Когда Людвиг, оторвавшись от орхидей, обращал свое внимание на меня, я охотно его услаждала — пока королевские чувства оставались более или менее платоническими. При первых же признаках более приземленной, физической страсти я немедленно меняла линию поведения. Стареющий мужчина, будь он хоть трижды король, чрезвычайно уязвим и обидчив; я видела это по его глазам.

— Как сильно ты меня любишь? — поддразнивала я его, покусывая мочку уха, касаясь носа кончиком языка.

Намеренно касаясь грудью его рук, я снимала воображаемые пушинки ему с плеч. А если объятия Людвиг становились чересчур пылки, стоило только заговорить о политике, как он тут же подавался прочь. Один раз он даже оттолкнул меня с такой силой, что я едва не скатилась с диванчика. Порой, на протяжении нескольких мгновений, мне чудилось, будто я могу из Людвиг веревки вить и заставить сделать все, что захочу. А еще часто вспоминалось происшествие в Берлине; перед моим внутренним взором чудесный хлыст из сыромятной кожи вновь и вновь рассекал воздух. Но только сейчас он не впивался в лицо офицеру, а обвивался вокруг лодыжки баварского монарха и Людвиг тяжело падал на колени, прямо передо мной.

— Ну скажи: как сильно ты меня любишь? — поддразнивала я наяву.

Когда в газетах меня стали называть самой могущественной женщиной Баварии, Людвиг ввел в стране жесткую цензуру. Часто газеты выходили с большими зачерненными пятнами на страницах, а на рассвете полиция рыскала по улицам и срывала свежерасклеенные листовки. Хотя большинство баварцев оставались благонадежными гражданами — католиками и консерваторами, — активное меньшинство призывало к переменам. Когда стало известно, что я имею большое влияние на короля, ко мне пошли толпы студентов и радикалов; одни просили помощи и защиты, другие толковали о заговорах. В Ирландии, Индии и оккупированной Польше люди с пеной у рта обсуждали

механизмы власти; в Париже разговоры вертелись вокруг либерализма и демократии; однако в Баварии церковь и государство по-прежнему оставались едины, почти как в Средние века. Людвиг единолично правил на протяжении двадцати одного года. Желание вмешаться становилось неодолимым.

И вот, во время наших тихих занятий в оранжерее, я начала понемногу кое-что предлагать. Если бы церковь не так крепко держала за горло правительство, рассуждала я, то народ Баварии, возможно, воспринимал бы меня более благосклонно. Людвиг на эти рассуждения не отзывался, продолжая опрыскивать орхидеи, обрезая высохшие корни.

В другой раз, когда он обдумывал новые назначения в правительстве, я вытащила свой собственный список кандидатов.

— Есть люди, которые ставят под сомнение божественные права монарха, — произнесла я кротко.

Людвиг крепче сжал в руке лупу и с решительным видом перешел к янтарно-фиолетовой орхидее, привезенной из Бразилии. Затем его глаза недобро сузились.

— Это измена, — проговорил он, рассматривая внутренность цветка. Рука заметно дрожала.

Я откинулась на спинку дивана.

— Быть может, стоит ввести наполеоновский кодекс?

Людвиг отшвырнул лупу, орхидея так и затряслась на тонком длинном стебле.

— В Баварии — никогда!

Я хихикнула.

— Позволишь простонародью голосовать?

Людвиг обернулся ко мне, лицо подергивалось.

— Женщине не дано разбираться в подобных вещах. Я не желаю это больше обсуждать. Если не возражаешь, я займусь орхидеями.

Вскочив с диванчика, я взъерошила ему волосы.

— Бедняжка, — сказала я, в шутку надув губы. — Ты же знаешь: я с тобой всего лишь играю.

На двадцать семь лет Людвиг подарил мне титул, и я официально стала зваться Мария, графиня Лансфельдская. Из соображений безопасности я стала появляться на людях в сопровождении двух лакеев в ливреях, будто королева или наследница престола. А если знатные дамы отказывались со мной здороваться, я приветствовала их отборными фразами на французском просторечии.

В конце декабря ко мне в дом явилась неожиданная гостья. Когда Сусанна принесла визитку, я едва поверила собственным глазам. Затем бросилась в прихожую встречать, и мы тепло обнялись. Отступив на шаг, мы оглядели друг друга, затем широко улыбнулись.

— Я так рада тебя видеть! — искренне сказала я, направляясь в гостиную.

А когда мы уселись, я вдруг смутилась.

— Наверное, ты пришла на меня поглазеть?

Новоиспеченная герцогиня Корнуольская серьезно поглядела своими серыми глазами мне в глаза, дабы я не усомнилась в ее искренности.

— Я ни единой душе не сказала, что еду к тебе; даже мужу. И вернувшись в Лондон, тоже никому не скажу. Поверь: я не собираюсь подливать масла в огонь гадких сплетен.

Превратившись из герцогской любовницы в герцогиню, София смотрелась великолепно.

И чувствовала себя соответственно; что бы я ни говорила, это не могло ее обескуражить. Отношения с герцогом Аргилльским сошли на нет вскоре после того, как герцог приезжал с ней в Париж, однако София не замедлила привлечь нового обожателя. Она была замужем без году неделя, но в ней уже чувствовалась куда большая уверенность, чем прежде. Казалось, она рождена, чтобы повелевать людьми; при этом уверенность и благополучие смягчили то выражение горькой умудренности, которое я видела в ней прежде. Очень дорогой темно-серый костюм, плащ и отороченная бархатом шляпка делали Софию невероятно элегантной и респектабельной дамой.

Как выяснилось, она совершает с мужем большую поездку по Европе и решила навестить меня по пути в Вену.

— Итак, мы обе очень недурно устроились, — заметила я.

Она улыбнулась:

— Я слышала, ты теперь графиня.

Я улыбнулась в ответ:

— Ты меня даже здесь обскакала. Что-то никак не припомню: должна ли немецкая графиня приседать в реверансе перед английской герцогиней?

— Моя дорогая Розана... — сказала она, неожиданно посерьезнев. — Я могу тебя так называть?

Я согласно кивнула.

— Я не могла не приехать, — продолжала София. — В газетах пишут такое, что мне за тебя тревожно.

— Что же тебя беспокоит?

— Ты наверняка понимаешь, что ведешь крайне опасную игру.

— А я-то думала: ты как раз меня одобришь.

— Нет, ты, похоже, не понимаешь. Твоя жизнь может оказаться в опасности. По всей Европе положение очень напряженное; народ может восстать.

— Не драматизируй, — усмехнулась я. — Меня любит и защищает сам король. Оглянись. Чего еще я могу пожелать?

— А как же счастье?

— Счастье! — У меня дрогнул голос. — Прямо не верится, что ты о нем говоришь!

— Ты понимаешь, о чем я, — настаивала София.

— Я уже попробовала счастья, помнишь? В сущности, дважды попробовала. Первая попытка лишила меня возможности вести нормальную почтенную жизнь. А вторая закончилась дуэлью в Париже. Вероятно, ты читала в газетах.

София печально кивнула:

— Я очень огорчилась, узнав о гибели Александра. Вы с ним так любили друг друга. Душа радовалась смотреть.

— Так, значит, ты в конце концов заимела мужа, — проговорила я негромко.

— Милейший герцог пожелал, чтобы я принадлежала только ему одному, — отозвалась моя подруга, самодовольно улыбнувшись.

— Я очень за тебя рада. Очень. Но такая жизнь совершенно не для меня. Когда мы жили с Александром в Париже, я порой мечтала, что однажды мы поженимся. Но то были всего лишь глупые мечты. Наверное, в глубине души я с самого начала это знала.

София помолчала, словно в нерешительности, потом снова заговорила:

— Мне бы очень хотелось, чтобы ты ко мне прислушалась. В Европе вовсе не так

безопасно, как тебе, похоже, думается. Стоит только взглянуть на то, что творится в мелких княжествах.

Я позвонила, вызывая Сусанну, и попросила:

— Пожалуйста, давай сменим тему.

Потом мы пили чай, чувствуя себя неловко и не зная, о чем еще говорить. Звякали фарфоровые чашки, позванивали серебряные ложечки, а мы с Софией молчали. Наконец она поднялась, чтобы уходить. В дверях гостиной моя милая подруга обернулась:

— Будь осторожна, я прошу!

— Да вовсе не из-за чего обо мне беспокоиться, — заверила я, однако не сумела изобразить беспечную улыбку.

Мы попрощались, обнявшись, и я с трудом выпустила ее из объятий. Вернувшись в гостиную, прислушалась к стуку колес ее экипажа по мостовой. Внезапно меня захлестнула волна раздражения. Пусть София и стала герцогиней по браку — это не дает ей ровно никакого права учить меня жить. С какой стати она явилась сюда с разговорами и непрошеной заботой? Только сеет сомнения и нерешительность в моей душе.

В канун Нового года, вместо того чтобы попросту дожидаться, когда Людвиг улизнет с семейного празднества во дворец, мне вздумалось самой хорошенько отпраздновать. Украсив дом отрезами шотландки и венками из ветвей остролиста и омелы, я позвала гостей — нескольких влюбленных в меня юных студентов. Угостила их обедом, подняла тост за счастливый Новый год. Затем мы перешли в гостиную, и тут они завели речь о моих выступлениях на сцене, начали поддразнивать. Глядя на их раскрасневшиеся лица и загоревшиеся глаза, я скинула туфли.

В приступе безудержного веселья я показала им фанданго в его настоящем, исходном виде. Мощь этого великолепного танца пронизала все мое тело, разочарования уходящего года зажигали каждый шаг. Я с силой мотнула головой, и прическа неожиданно рассыпалась, волосы хлынули на плечи, на спину. Я подобрала юбки. Пальцы мои стали поющими птицами, затем — удивительными цветами, нимбом окружившими мне голову. Я прикрыла глаза. На несколько драгоценных мгновений я вновь оказалась в Испании, в цыганской пещере, и будущее опять представилось в розовом свете. Снова у меня голова пошла кругом от взорвавшихся аплодисментов.

Студенты в восторге громко кричали и топали, затем подхватили меня, вскинули на плечи и торжественно понесли по гостиной. И тут я прямоком угодила головой в хрустальную люстру под потолком. Очнулась я на полу, с разламывающейся головой, с рассеченного лба текла кровь. Очень скоро история эта разлетелась по Мюнхену; говорили, будто моя одежда была растрепана, а студенты — вообще без штанов.

На следующей неделе я появилась в театре в новом платье темно-синего бархата, которое великолепно оттеняло мои новые роскошные бриллианты — на шее, на запястьях, в волосах. При малейшем движении я рассыпала сверкающие брызги света. Сидя в собственной ложе, я видела, как недовольна публика в зале.

Проведя в Мюнхене два года, я ощущала себя птицей в золоченой клетке. Куда бы я ни пошла, всюду на меня глазели и насмехались. А я замечала каждый взгляд, каждую ядовитую насмешку. «Пока страсть пылка, собирайте драгоценности», — то и дело всплывали в памяти поучения бывшей горничной Эллен, и я каждый раз с досадой гнала их прочь. Еще

вспоминались куртизанки в итальянской опере, в Лондоне. Какими светскими дамами они казались, как глухи были к насмешкам и пересудам.

Из своей обитой бархатом ложи на верхнем ярусе я оглядела поднятые лица зрителей, их шевелящиеся губы, отлично зная, что именно говорят в зале. Я — вавилонская блудница в их почтенном обществе. Я — ведьма, околдовавшая их обожаемого короля. Празднование Нового года в моем доме и впрямь вышло шумноватым, однако впоследствии эту историю раздули невероятно. На сцену никто не смотрел, хотя балет был неплох. Пожав плечами, я бросила взгляд на королевскую ложу. Увы; даже мне самой пришлось признать: не осталось никакой надежды на то, что меня когда-нибудь примут при дворе. Я пощупала бриллиантовое ожерелье. По крайней мере, Людвиг меня не покинул. Золотые оправы были изготовлены в Париже, сами бриллианты — из Индии.

Поворачивая голову, я ощущала тяжесть сверкающих камней в роскошной диадеме. В зале шептались о том, какую уйму денег король потратил, чтобы мне угодить, а я безуспешно пыталась подавить улыбку. В королевской ложе, сидя рядом со своей венценосной супругой, Людвиг изо всех сил старался сохранить хладнокровие.

В тот замечательный вечер я ненадолго ощутила себя всемогущей. Глядя на поднятые лица в зале, я едва сдерживала смех. Раз уж мюнхенский архиепископ вздумал наградить меня титулом богини любви, я с радостью его принимаю. «В Мюнхене более нет Девы Марии, ее место заняла Венера», — так он говорил, а я искренне гордилась собой, и гневные слова архиепископа кружились над моей головой, будто нимб. Весь зал глядел на меня; все зрители думали и шептались обо мне. И впрямь: если ваш Богом данный король склоняется у моих ног, то кто же тогда я такая? Пусть рухнет прежний порядок, погибнет сговор королей, пусть дворянский титул перестанет что-либо значить!

Перед моим мысленным взором этот вечер уже был запечатлен в вечности. Я видела свои портреты в газетах, отпечатанных в типографиях по всей Европе; репродукции, продаваемые на газетных лотках. Мое изображение дарил посетителям концертных залов волшебный фонарь. Дрожащим светящимся миражом я парила над ночными столицами. Мой портрет был шедевром, написанным в стиле французского романтика Эжена Делакруа — исполненным в полный рост, маслом и темперой, источающим непреходящий свет. Через сто лет я буду украшать стены частного дома, и темно-синий бархат платья будет великолепно смотреться на фоне пурпурной обивки театральной ложи. За спиной сияет огромная люстра, и в ее свете прекрасное лицо, шея и горло остаются молодыми и гладкими, белыми как алебастр, и каждый бриллиант сверкает тысячью крошечных огоньков... Сегодняшний вечер будет длиться целую жизнь, летящее мгновение растянется в вечность. И что бы ни случилось после, куда бы я ни отправилась, я буду вновь и вновь его вспоминать.

Конец первого акта

ИНТЕРЛЮДИЯ

С приходом весны в Европе зарокотали первые признаки революции. В каждом городе, большом и малом, громче становился шепот недовольных. По всей Баварии зрели заговоры, то и дело вспыхивали мятежи. В кофейнях и пивных люди схватывались в яростных спорах. Стоило кому-то повысить голос, как вспыхивала потасовка, и тлеющее недовольство то и дело выливалось в грабежи и поджоги.

Сцена восьмая

Сине-фиолетовый кашемир

(порванный, забрызганный кровью, заляпанный грязью и навозом)

Глава 32

Ясным морозным утром в феврале 1848 года случилась перебранка на базаре, и мало-помалу вокруг ссорящихся торговцев собралась толпа народу. На другом конце города, где стоял на Барерштрассе красивый, похожий на маленький дворец особняк, служанка открыла дверь кухни, из которой наружу вырвалось целое облако пара, и через порог выскользнула непоседливая белая собачка по имени Зампа.

В гостиной, завешанной драпировками из зеленого «мокрого» шелка, сидела женщина, занятая делом. Она вырезала статьи из газет; стопка на столе постепенно худела. В пепельнице дымилась недокуренная черная самокрутка. У ног дамы лежали распотрошенные газеты — лондонские, парижские, берлинские.

Издадека — сквозь высокие окна с металлическими решетками, из-за кованых чугунных ворот с двумя стражниками в мундирах, из-за обсаженной тополями Барерштрассе — доносился едва слышный гомон далекой толпы.

Взяв затухающую самокрутку и затаившись, я неожиданно устыдилась. Только что я представляла себя как героиню некой пьесы. Отчего-то вдруг слишком легко стало переноситься в вымышленный мир, смешивать вымысел с реальностью, верить тому, что пишут в газетах.

Я задумчиво оглядела газетные вырезки, сложенные на коленях.

— Ну, и кем же я буду сегодня?

В огромном венецианском зеркале, что висело над камином, я увидела собственное отражение. Спутанные темные кудри и густые, почти что мужские брови обрамляли бледное осунувшееся лицо. Пожалуй, если те самые люди, что шумят на улицах города, вдруг ворвутся сюда, их ждет большое разочарование... По зеркалу неожиданно поплыли темные облачка, отражение затуманилось, и я вспомнила молодую женщину с заплаканными глазами, с синяками на теле. В ушах прозвучал голос моей матери: «Ну а что же ты ожидала?» В зеркале Лола — или Элиза, или Мария — отшатнулась, словно от пощечины.

— Я — Мария, графиня фон Лансфельд, не забывай, — объявила я, однако эти слова вернулись глумливым эхом.

Открыв на чистой странице альбом в алом переплете, я потянулась за баночкой клея. Все утро я старалась не обращать внимания на доносящийся снаружи шум, однако он становился все громче, пробиваясь в сознание и действуя на нервы. Пусть Людвиг одарил меня титулом и богатством, не в его силах рассеять враждебность, которую испытывали ко мне жители Мюнхена.

Уже три дня я не могла выйти из дома, сидела в нем, как в заточении.

Я наклеивала последние вырезки, когда в гостиную ворвалась Сусанна, восклицая:

— Собака! Зампа опять убежала! *Ach nein*^[50], мадам! Вам никак нельзя выходить.

Глава 33

Я всегда с радостью встречала перемены — будь то повороты в моей собственной судьбе, гроза или даже страшный лесной пожар, однако результат неизменно заставлял меня врасплох. Вот и сейчас: в тот самый миг, когда я пыталась примириться с давшей трещину реальностью, это хрупкое здание неожиданно рухнуло. В течение одной-единственной недели все повернулось на сто восемьдесят градусов: лишь недавно я взидала на театральную публику из обитой бархатом ложи — а сейчас лежала беспомощно на земле, а меня рвала на части и топтала ногами озверелая толпа.

Конечно, я понимала, что мне нельзя и носу высунуть из дома. Сусанна умоляла меня остаться. Однако стоило мне услышать, что Зампа исчезла, я уже просто не могла сидеть сложа руки. На моей крошечной белой собачке был надет украшенный алмазами ошейник, и на серебряной пластинке выгравировано мое имя. Страшно подумать, что станет с бедняжкой, если она попадется взбудораженной толпе. Нет-нет, невозможно оставить ее на произвол судьбы! Вот уже неделю в городе беспорядки, все утро вдалеке слышны шум и крики. Низкий зловещий рев толпы, которая порой вдруг начинает петь, не предвещает ничего хорошего даже укрытому за стенами собственного дома человеку; что уж говорить о незащитной собаке!

Вздрогнув, я открыла глаза, вскинула сжатые кулаки, готовая отбиваться и встретить ударом любого, кто осмелится напасть. В смятении огляделась. В камине догорали угли, на полу валялся гребень из слоновой кости. Сообразив, что нахожусь в собственной гостиной, я с облегчением откинулась на спинку кресла. Никаких сил нет... Что случилось? Сусанна брызгала мне в лицо лавандовой водой. В затылке болезненно стучало — как будто молоток бил по деревяшке. Шевельнувшись, я обнаружила, что голова тяжелая, будто налита свинцом. В ушах звенело. Внезапно я перепугалась: разве я не была снаружи? На Барерштрассе? Ведь надо было там что-то искать! Кожа покрылась липким потом, я едва могла вдохнуть.

Зампа! Я ведь разыскивала Зампу! Бежала по улицам со всех ног, звала, срывая голос, а сердце бешено колотилось, я задыхалась, я глохла...

— Зампа? — шепнула я.

Мокрый шершавый язык лизнул в щеку. Зампа, целая и невредимая, сидела в кресле возле меня, подняв уши, виляя хвостом; ее белая шерстка была чистой, как свежий снег. Подхватив собачку на руки, я вдруг заметила в зеркале грязную и жалкую фигуру — одежда разорвана в клочья, босые ноги в грязи. Это еще кто?!

И тут я увидела ее глаза — круглые от ужаса и отвращения. «Что вылупилась?!» — чуть не заорала я, прежде чем до меня дошло. Несколько раз сглотнув, я поборолла желание заплакать. Это же я там, в зеркале. Жалкое существо, которое едва-едва унесло ноги, спасая собственную жизнь. Чумакая нищенка, убогая побирушка, которую любой приличный человек обойдет стороной. В спутанных волосах — грязная солома и, по-моему, комья навоза. Платье порвано и отвратительно воняет, один рукав разорван на плече, второго нет вовсе. Изорванные нижние юбки черны от грязи. На щеке наливаются кровоподтеки. А где туфли, чулки, моя замечательная кашемировая шаль?

Начали вспоминаться кошмарные видения: вздыбившаяся лошадь, хватающие меня руки, град сыплющихся ударов, сжатые кулаки, обнаженные в злобном оскале зубы, пробивающийся сквозь толпу конный жандарм. Я захлебнулась страхом. На улице рядом с домом раздавались крики, там дрались.

Взгляд стремительно обежал комнату: где ворвавшиеся враги? Задыхаясь, я с хрипом втягивала в легкие воздух. Дом был насквозь пропитан отзвуками царящей снаружи сумятицы, однако в гостиной был идеальный порядок, как будто здесь время вообще остановилось. Все вещи на своих местах, всё как положено. В дверях неловко мялась Сусанна, комкала фартук; от нее исходили тревога и волнение настолько сильные, что их, казалось, можно ощутить физически. Перед глазами появилось лицо Людвига; оно то виделось отчетливо, то расплывалось.

Баварский монарх схватил меня за руки, его губы шевелились быстро-быстро, и поначалу я не могла разобрать ни слова. Он весь дрожал и хватал воздух ртом, словно рыба на высыхающем речном дне. Морщины на его лице углубились, выглядел он каким-то высохшим и бледным, как покойник. Казалось, дотронься до него — и он окажется холодным, будто труп.

— Бог мой, они тебя чуть не убили! — восклицал Людвиг снова и снова.

Потом он что-то лепетал о республиканских заговорах, о министрах, подрывающих его власть, но смысл слов до меня едва доходил. Его пальцы цепко хватали меня за руку выше локтя, глаза тревожно всматривались в лицо. «Хоть бы они все ушли! — думала я. — Оставили бы меня в покое». Обняв Зампу, я зарылась лицом в ее шелковистую шерстку, а она принялась лизать меня в нос. Закрыв глаза я слушала как бьется ее крошечное сердечко. Если как следует сосредоточиться, вдруг удастся сделать так, что Людвиг исчезнет вместе со своей бесконечной болтовней.

Ночью я спала урывками, то и дело просыпаясь, а утром меня разбудили громкие вопли под самыми окнами, как будто за стенами особняка рыскал какой-то громадный прожорливый зверь. Огонь в камине погас, шторы были задернуты. Я позвонила, однако никто не явился на зов. Меня окатило холодом: а что, если я осталась совсем одна, и меня куда-то несет в чужом, враждебном мире? Я натянула платье, а избитое тело стонало каждой мышцей и косточкой. Шагая по пустым коридорам, я сама себе казалась привидением на покинутом корабле. Окна были закрыты, шторы плотно задернуты, однако рев толпы проникал в дом, эхом гулял по коридорам. Зампа бегала из комнаты в комнату, виляла хвостом и звонко лаяла. Напряжение и тревога стискивали мне грудь и горло, мешая дышать. На втором этаже я осторожно выглянула в окно — и тут же поклялась себе, что больше этого делать не стану. Барерштрассе бурлила, забитая народом; вокруг моего дома стоял полицейский кордон, однако толпа неотвратимо напирала. Ясно было, что кордон долго не продержится.

В гостиной я обнаружила записку от Людвига: он сообщал, что, к сожалению, вынужден вернуться во дворец. В кухне я нашла горстку оставшихся в доме слуг. Они сгрудились у печки; когда я попыталась отдать какие-то распоряжения, они лишь тупо на меня глядели, явно не понимая, чего от них хотят.

— Не беспокойтесь, — пробормотала я, поняв, что толку не добиться. — Я могу и сама это сделать.

Каждый час прибывал посланец с новостями. Людвиг распустил правительство,

отправил в отставку всех министров. Студентов университета, которые не являются постоянными жителями Мюнхена, выселяют; им дано сорок восемь часов на то, чтобы покинуть город. Солдаты патрулируют улицы; вооруженная полиция охраняет королевский дворец.

Время растянулось, затем странным образом сжалось. Пришла ночь, следом наступило утро. День застал меня в гостиной, за плотно закрытыми шторами, в слабом островке желтого света от единственной масляной лампы. Я не знала, сколько часов так вот сижу, понятия не имела, сколько дней не покидала дом. Болели каждая мышца и косточка, даже кожа как будто была содрана, и все тело казалось сплошной ссадиной. К тому же его покрывали бог весть откуда взявшиеся синяки; на щеке тоже разлился лиловатый кровоподтек. Когда я последний раз ходила искать кого-нибудь из слуг, то обнаружила, что все они исчезли, я в доме одна, а вокруг вздымаются стены необитаемых и как будто бесконечных комнат.

На столе передо мной стоял пузырек синего стекла. Порой я брала его в руки, а затем, подержав, ставила обратно. Сквозь толстое стекло внутри дразняще поблескивала густая тягучая жидкость — настойка опия. Доза эта была смертельна. Я приобрела пузырек в Париже, после того как Александра убили на дуэли. С той самой поры синяя бутылочка так и ездила со мной с места на место. А сейчас я с самого раннего утра сидела у стола, размышляя.

Когда угасли последние лучи дневного света и сгустились ранние зимние сумерки, я в очередной раз поглядела на синий пузырек. Теперь это уже вопрос времени. Последний гонец, который принес новости, ввалился в дом с кровавой раной на голове. Королевская семья — пленники во дворце; полиция утратила контроль над городом; тысячи людей перекрыли всякое движение на улицах. У меня в доме из еды осталось немного: тарелка с марципанами, жареная утиная ножка и полупустая бутылка шампанского. Все это стояло рядом на подносе, однако я к еде не притрагивалась.

Без особой охоты я потянулась за марципаном, однако стоило лишь попытаться откусить твердый сладкий кусочек, как челюсть пронзило болью. Тогда я положила на пол утиную ножку и стала смотреть, как голодная Зампа отрывает от нее кусок за куском. Если толпа до меня доберется, порвет на части с точно таким же жадным удовольствием. Поднеся к губам бутылку, я сделала осторожный глоточек. Шампанское давно степлилось и выдохлось, а больная челюсть тут же снова дала себя знать.

Снаружи крики сделались еще громче, что-то тяжело ударило во входную дверь. Я взяла пузырек с опиумом, вынула пробку.

Пусть ворвутся и найдут меня мертвой.

Густой дух морфия поплыл в воздухе, соблазняя: «Выпей!» Глубоко вдохнув, я представила себе, как засыпаю вечным, беспробудным сном. Да и кто, в конце-то концов, обо мне пожалеет? Людвиг, мать, миссис Ри? Для каждого из них, несомненно, горе будет подкрашено чувством облегчения. Те двое мужчин — единственные, кто по-настоящему меня любил, — Александр и майор Крейги, уже мертвы. Я подумала обо всех тех, кто печально или с неодобрением покачает головой и скажет, что я уже много лет назад сама выбрала свою судьбу: Томас, Джордж, Эллен. Ференц Лист мог бы поднять в мою честь кособокий бокал. Одна школьная подруга — София — пролила бы искреннюю слезу.

Зампа вдруг залаяла, ухватила зубами подол и настойчиво потянула. Снаружи в окна летели камни. Я посмотрела на свою крошечную, нежно любимую собачку, с ее длинной шелковистой шерстью и доверчиво глядящими глазами. Она приехала сюда со мной из самого Парижа; я не могла бросить ее на произвол судьбы. Аккуратно заткнув пробкой синий пузырек с опиумом, я сунула бутылочку в карман платья и вслед за Зампой двинулась вверх по лестнице.

На втором этаже я открыла стеклянные двери и вышла на балкон. Передо мной лежала запруженная народом Барерштрассе. Глядя вниз, на поднятые лица, я ощутила, как что-то внутри меня покачнулось, заскользило — и хрустнуло, сломавшись. Если очень-очень хорошо сосредоточиться, то рев толпы я превращу в аплодисменты. В ту минуту я стала маленькой девчушкой, которая танцевала для Ситы, моей индийской няни. Я стала школьницей, разучивающей вдвоем с Софией вальс. Затем — танцовщицей на сцене, перед полным залом. Наверное, так чувствует себя королева, глядя сверху вниз на своих подданных, подумалось мне. Мир вокруг заколыхался, поплыл; ревущая людская толпа качнулась вперед, охраняющие дом полицейские принялись отталкивать народ обратно, а у меня возникло совершенно нереальное чувство, будто я присутствую на каком-то турнире или маскарадном шествии, что устроено исключительно в мою честь. Сунув руку в карман, я нащупала бутылочку с опиумом; стекло холодило кожу. Другой рукой я подняла пустой бокал в печальном приветствии, затем насмешливо поклонилась толпе.

Народ осатанел. Грянул такой мощный вопль, что меня буквально отбросило с балкона, я ударились спиной в стеклянные двери.

— *Raus mit Lola!*^[52] — орали внизу. — Да здравствует республика, долой шлюху!

Крепче сжав флакончик в кармане, я поглядела в раскинувшееся над городом темно-синее вечернее небо. Далеко-далеко внизу люди сновали, будто крошечные кукольные фигурки на доске; мятежники пытались прорваться в ворота, полицейские отбивались птыками. Затем солдаты открыли огонь, в воздухе поплыл пороховой дым. На неверных ногах я ушла в дом, затворив стеклянные двери; в них тут же что-то ударились, дождем посыпались осколки. Спустя час пришло последнее известие от Людвига: он просил меня срочно бежать из страны.

На следующий день я очнулась от какого-то странного забытья и обнаружила, что нахожусь в незнакомой убогой комнатенке на чердаке. Я сидела, забившись в угол, скорчившись, прижав колени к подбородку, а в груди громко бухало сердце. В полутьме я огляделась. Голые доски пола, узенькая кровать под линиялым покрывалом, на стенке — крючок, на котором висит черное платье Сусанны и ее белый фартук. На полу почему-то валяется мой лакированный веер, привезенный из Испании. Шум и крики на улице были так сильны, что могло показаться: я угодила в пасть к какому-то огромному чудовищу, которое беспрерывно ревет. Между полом и плотно задернутыми занавесками просачивались тонкие ниточки дневного света. С великой осторожностью выглянув в окно, я увидела, что на улице идет пальба, есть раненые, какую-то девушку ненароком зашибли камнем, и она упала прямо под ноги толпе. На чугунные кованые ворота взобрался угольщик, потряс в воздухе веревочной петлей, и толпа одобрительно взвыла. Отшатнувшись, я тяжело осела на пол.

На шее у меня и так уже виднелось кольцо лилово-желтых синяков — память о поисках Зампы, когда я в последний раз решила покинуть свой особняк. Тело опухло, кожа

натянулась, и я болезненно вздрагивала от малейшего прикосновения.

Однажды мне довелось видеть, как вешали преступника. Когда он закачался в петле, его кишечник и мочевой пузырь опорожнились, а язык вывалился изо рта — огромный, вздувшийся, темный.

Одной рукой поглаживая горло, другой я потянулась к пистолету, который лежал рядом на полу. Оглушительный шум снаружи отзывался в доме, точно рев урагана, даже стены дрожали. В животе что-то сжалось в тугий комок; я была не в силах шевельнуться. От страха онемели пальцы рук и ног, потом вдруг отчаянно зачесались уши, затем — нос. Я не могла оторвать взгляд от досок пола. Я прислушивалась, пытаюсь уловить какие-нибудь звуки в доме — стон лестничных ступеней под тяжелыми шагами, скрип открываемой двери. Перепуганная Зампа жалась к ногам и скулила.

Раз, два, три, четыре; раз, два, три, четыре. Две пары босых, не слишком чистых ног шагали по голым доскам чердачной комнатки: одна пара — большая, другая — совсем крохотная. Брайди учила меня ходить. *Раз, два, три, четыре; раз, два, три, четыре.* Четыре босые ноги шлепали по полу, от одной стены нашей комнатенки до другой, затем обратно. Я очень старалась не упасть. Большая теплая ладонь Брайди крепко сжимала мою ладошку; только она меня и держала. Стоило Брайди выпустить мою руку, как я шаталась и падала. *Раз, два, три, четыре; раз, два, три, четыре.* Сквозь рев толпы и выстрелы, сквозь плач Зампы мне чудился топоток босых ног, и я невольно скользила взглядом по полу от стены к стене, а затем обратно.

Повести вроде моей всегда оканчиваются трагически; печальные исходы можно встретить в дешевом романе или в душещипательной газетной статье. Мне послышался звук разлетающейся в щепы двери, потом я услышала свой собственный истерический смех. Безумие какое-то! И вдруг, совершенно неожиданно, я поняла, что надо делать. И впрямь: что мне терять? Жизнь, дом, драгоценности? Какое они имеют значение? Какое значение имеет хоть что-нибудь?!

Едва ступив за порог, я с жадностью глотнула свежего морозного воздуха. Было утро, легкая туманная дымка поблескивала в первых осторожных лучах солнца. Вдалеке виднелись снежные вершины гор, кольцом окружавших Мюнхен. За воротами толкали друг дружку, пытаюсь пробиться ближе, благородные господа, ломовые извозчики и кузнецы. На каменных плитах виднелись лужицы запекшейся крови. Куда ни глянь, всюду — злые лица, разинутые в крике рты, вскинутые над головой кулаки.

Из-за ограды полетели вывернутые из мостовой булыжники. Мальчишки полезли через ограду.

— *Raus mit Lola!* — хором орали в толпе.

— Смерть испанке! Смерть шлюхе!

С пистолетом в руке я прошла от входных дверей к фонтану во дворе, поднялась по его мраморным ступенькам.

— Вот я. Убейте, коли посмеете!

Толпа чуть притихла, уставилась на меня. Я с вызовом глядела на них. Бросила с насмешкой:

— Ну, давайте зверствуйте!

Море лиц, искаженных ревностью, отвращением, яростью.

— Чего ждете?! — завопила я пронзительно.

Полетел один камень, затем другой. Мимо.

— Промазали!

Следующий камень попал в плечо; еще один царапнул щеку. Вскинув пистолет, я прицелилась в угольщика, который сжимал веревку с петлей на конце. Он стоял так близко, что я отчетливо видела, как он дышит. А еще я видела нацеленные дула мушкетов, зажатые в кулаках булыжники, качающуюся петлю. Значит, вот как окончится моя жизнь: бьющие в лицо камни, чьи-то руки, рвущие на мне юбки, сотня топчущих меня ног...

Я тщательнее прицелилась, в последний раз глубоко вздохнула и спустила курок. И в тот же миг меня что-то ударило, я опрокинулась назад, пуля ушла в воздух. Я ощутила, что падаю в чернильную мглу. Попыталась вырваться, однако меня что-то душило, невозможно было вздохнуть. Сверху навалились густые черные тени, и я почти с облегчением подумала: скоро это закончится. Больше уже ничто не причинит боль. Борьба наконец завершится. Меня окутала темнота, накрыла тяжелым плащом, не давая шевелиться, не позволяя дышать.

Глава 34

К тому времени, когда я наконец выпуталась из вонючей конской попоны, в которую меня плотно завернули, решение уже было принято — не мной, а за меня. Военные офицеры похитили меня на глазах у толпы на Барерштрассе и кинули в ожидающий экипаж. Когда мы мчались прочь из Мюнхена, по окраинам города, мне вручили конверт с билетом на пароход и документами. Несомненно, Людвиг спас мне жизнь; однако он уступил давлению и изгнал меня из страны навсегда. Мог бы и вовсе не утруждаться, оставил бы толпе на растерзание. У причала на берегу Констанского озера ожидал моего прибытия пароход, названный в честь короля.

День был серый, бесконечно-унылый, дождливый. Хотя время едва перевалило за полдень, уже темнело. Ступив на сходни, я приостановилась, глядя на ледяные волны, плещущиеся у борта. Двое сопровождавших офицеров вздумали было взять меня под локоть и направить дальше, однако я не позволила себя подталкивать и потребовала, чтобы мне еще раз показали бумаги. Высылают. Меня высылают! Слезы навернулись на глаза. Нет, это не ужасная ошибка: вот, внизу страницы, стоит отчетливая подпись Людвига. А чтобы я ни минуты не сомневалась, он вдобавок вложил письмо, в котором указывал, чтобы я ожидала его в Швейцарии. Я глянула на широкую свинцовую гладь озера. Вдалеке белели снежные вершины Швейцарских Альп. Дождь леденил мне щеки, пронзительный ветер вздувал юбки.

Невзирая на мои мольбы, бедняжка Зампа, платья и драгоценности остались в Мюнхене. Со мной был один только маленький потертый саквояж, с которым я путешествовала с самого детства. В нем лежала единственная смена одежды, дневники — всего три из многих тетрадей, а также драгоценная брошь в виде экзотической бабочки и кольцо с красным поддельным камнем.

Пароход отвалил от причала, где стояла молчаливая кучка зевак. Мужчины сняли шапки, одна из женщин перекрестилась. В каюте я разложила на койке свое скудное имущество, затем скинула свою пропахшую потом, с ошметками налипшей грязи одежду. Осторожно присела на краешек койки — обнаженная, напуганная и одинокая. В душе ныла горькая обида, я ощущала себя всеми покинутой и совершенно беззащитной.

В Швейцарии я поселилась в пришедшем в запустение бывшем дворце императрицы

Жозефины; ютилась я там среди поломанной мебели и пыльных, отсыревших мебельных чехлов. Спустя месяц привезли мою любимицу — маленькую Зампу, а еще через две недели в двух окованных железом сундучках прибыли драгоценности. Запершись в спальне, я проверила содержимое сундучков, а потом надела бриллиантовую диадему, ожерелье и браслет, которые подарил Людвиг. Изучая отражение в зеркале, я размышляла о своем положении. Людвиг по-прежнему мне что-то обещал, однако он не мог выехать из Баварии. Малейший слухок о том, что он намеревается меня навестить, тут же вызывал в стране новые волнения.

Обнаружив в шевелюре седой волосок, я поспешно его выдернула. Итак, мне двадцать восемь лет. Разведена. Уже больше двух лет не выступала на сцене. Все мои сценические костюмы, туфли, кастаньеты, гитара, ноты — все осталось в Мюнхене. Семьи у меня нет, а врагов значительно больше, чем друзей. Особняк на Барерштрассе разграблен и разорен. За пределами Баварии у меня нет дохода, нет сбережений, почти нет имущества. Что случилось с моими бесценными сокровищами — с альбомами, куда я вклеивала газетные вырезки, с испанской шалью, с лакированным веером? Я вспомнила свою прекрасную хрустальную лестницу, свою гардеробную, полную красивых платьев, свою ложу в театре. Может, все это было лишь иллюзией? Или просто мечтой? Я на краткий миг узрела богатство и благополучие — и тут же его лишилась.

Вглядываясь в зеркало, я уже не видела в нем танцовщицу, и любовницы короля там тоже не было. На дне собственных глаз мне виделась маленькая растерянная девчушка. Из зеркала глядела Элиза Гилберт, семи лет от роду, которую услали далеко-далеко от дома, и к воротнику пальто приколот лоскуток с ее именем и фамилией. Я сорвала с шеи бриллиантовое ожерелье. Что проку в славе, положении в обществе, богатстве, если в душе я так и осталась этой несчастной брошенной девчонкой? Отвернувшись от зеркала, я швырнула бриллианты в шкатулку и в сердцах захлопнула крышку.

Вспомнилось, как я готовилась уезжать из Англии: преисполненная надежд, я крепко сжимала билет на пароход в Гамбург. А в ушах прозвучали слова Эллен, моей ушедшей горничной: «Надувайте народ без меня. Хотите — верьте в собственные выдумки; а я боюсь даже думать, что с вами станется».

Глава 35

В Мюнхене, в тихом тупичке, над лавкой торговца скобяными товарами, помещалась кладовка; к ней вела крутая шаткая лестница, а дверь оказалась чуть-чуть приотворена. Комнатка была забита сундуками и ящиками с ржавыми дверными ручками и петлями, всюду висела паутина и лежала пыль. На ступеньке прислоненной к стене стремянки, так, чтобы удобно было смотреться, стояло треснувшее, с отбитым куском, зеркало. Посреди комнаты, на вбитом в потолок крюке, висел изысканно украшенный бисером костюм танцовщицы.

Серебристая ткань переливалась и поблескивала, пышные юбки ниспадали от узенькой талии, словно лепестки огромного цветка. Белый полупрозрачный чехол был завернут наверх, чтобы можно было свободно любоваться лифом и роскошными юбками. На полу стояли серебристые шелковые туфельки, порядком потертые на пятке и носке. Привязанная серебряной лентой, тут же висела белая мантилья, отделанная серебряным кружевом.

В скудном свете, просачивающемся сквозь крошечное оконце, на ткани играли мелкие

искры. Тянувший из двери сквозняк шевелил серебристые юбки, и чудилось, будто лиф расправляется, принимая форму человеческого тела, наполняясь энергией и жизненной силой. В этой унылой, пыльной комнате чудесный костюм таинственным образом ожил, словно в него оделся некто невидимый, словно запечатленные в ткани воспоминания неожиданно возродились в новой, осязаемой форме. Сквозняк принес с собой неувимую человеческим ухом музыку, и костюм принялся под нее танцевать, колыхаться и струиться складками серебристой материи.

На полу лежали кипы подвергнутых цензуре и запрещенных газет. В некоторых из них все упоминания о Лоле Монтес были полностью вымараны, в других ее имя по-прежнему сияло в заголовках.

На улице, возле скобяной лавки, бывшая горничная Лолы Сусанна бросила кругом себя опасливый взгляд, вытащила из кармана ключ и отперла дверь. У ее ног стоял старый потертый чемоданчик. Прежде чем дом Лолы на Барерштрассе был окончательно разграблен, Сусанне удалось кое-что спасти.

Конец второго акта

ИНТЕРЛЮДИЯ

Революция — штука таинственная, почти алхимическая; она удивительным образом куда-то гонит людей, окрыляет либо лишает их разума, вселяет желание уничтожать все, что попадется на пути. Представьте себе смерч или торнадо; революция подобна им. За одну-единственную ночь смиренная кроткая швея может превратиться в грозную воительницу, измученный до полусмерти шахтер вдруг потребует перемен, а у простой служанки неожиданно поселятся в голове идеи, никак не соответствующие скромному ее положению в обществе. Колесо всенепременно поворачивается; убывающая луна опять прибывает. Танцовщица кружится, колышет воздух — колышет его с каждым поворотом тела, с каждым движением рук.

Пьесу «Жизнь Лолы Монтес» впервые играли на сцене Бродвейского театра на Манхэттене. Конечно же, Лола играла саму себя. В конце-то концов, это была ее жизнь. Она лично сочинила и поставила пьесу, сама подбирала костюмы. По ее знаку открывался и закрывался занавес; в одно мгновение она сделалась ведущей актрисой в своем собственном спектакле. Каждый вечер она заново проживала свою прошлую жизнь. Зрительный зал широко простирался, залитый теплым светом свечей в канделябрах, сияющий позолотой и жильчатым мрамором. Из-за кулис на сцену выбегал кордебалет в пышных нарядах; в зале сверкали драгоценностями дамы. На премьеру пришло более трех тысяч человек.

Замерев посреди сцены, Лола чувствовала, как напряженное ожидание в зале растет, как оно превращается в молчаливое, едва сдерживаемое неистовство. Ей не нужно было подогревать зрителей голосом или движением — ей нужно было лишь стоять неподвижно и ждать. В своих пышных юбках и черной мантилье Лола являла зрителям удивительную смесь пылких чувств и сдержанности, первобытных страстей и драматичного напряжения. От нее веяло непокорностью, несогласием, революцией; ощущением порохового дыма и пылающих факелов; восхитительным намеком на то, что прежде невозможное отныне станет возможным.

Лола вскинула над головой кастаньеты. Быстрый деревянный стук раскатился по залу, и зал откликнулся громким вздохом, как будто до сих пор зрители все как один сидели, затаив дыхание.

На американской сцене и вне ее, в театре и на страницах газет Лола была царицей. Ее выступление более не было пикантным дополнением к опере или балету, Лола стала гвоздем программы. Речь больше не шла об одном-двух танцах в антракте: Лола стала актрисой и играла главную роль, и при этом начинала и завершала представление танцем. Все складывалось просто чудесно; в течение одного вечера Лола была и графиней, и танцовщицей.

Через две недели после успешной премьеры она отбросила свой «испанский» акцент и с великой охотой принялась строить собственную жизнь совершенно по-новому. Ей даже начал нравиться собственный, до нелепости странный голос, хотя он по-прежнему неважно звучал со сцены. В Америке, куда съезжались люди из самых разных уголков Европы, не было нужды в истинно испанской «подлинности». В зависимости от настроения Лола объявляла, что в ее жилах течет испанская, ирландская либо шотландская кровь — в различных сочетаниях и пропорциях. Подобно тысячам людей, приехавших в Америку до нее, она ухватилась за возможность начать жизнь с самого начала. Зачем оставаться в неподвижности, если именно движение все меняет? Из хаоса появляется жизнь, застой же приводит к смерти, вызывает медленную томительную скуку. Европа ничего не могла дать сверх того, что дала. Лола же была ненасытна: ей хотелось нового, неизвестного, неоткрытого, ей нужны были новые люди и впечатления. Она жила и видела непрерывный сон о том, какой может быть жизнь — более насыщенной, яркой, сияющей. «Реальность»

оказалась чем-то вроде ненужного наследства, она была похожа на бронзовую вазу, которой давно не касалась хозяйская рука; эта реальность требовала, чтобы ее отмыли и как следует начистили, а еще лучше — оставили как есть и позабыли.

В первые несколько дней Лола всюду слышала ирландскую речь. Уроженцы Слайго, Дублина, Вексфорда, Корка. В порту она как-то раз обернулась, заслышав знакомый ирландский выговор, и увидела супругов, которые торговали каштанами и печеными яблоками. Лола шагнула к ним, желая расспросить, откуда они приехали, как вдруг вспомнила, где уже встречала эту пару. В поместье, принадлежащем отцу Томаса Джеймса, двое несчастных тащились по дороге с тележкой, нагруженной скудными пожитками, а за спиной у них пылал дом, из которого их выселили. Та худая изможденная женщина, босая, с диковатым взглядом, отводила глаза. Эта же стояла, уперев руки в пухлые бока, и глядела Лоле прямо в лицо. Лола виновато улыбнулась и двинулась дальше. По пути в гостиницу она вдруг заметила женщину, невероятно похожую на Брайди. Лола чуть не позвала ее, да вовремя придержала язык. Женщина приблизилась, и Лола хорошенько ее рассмотрела: пухлая улыбчивая дама шагала в коричневых башмаках, опираясь на руку преуспевающего торговца. Казалось, в Нью-Йорке полным-полно приезжих ирландцев. В клетчатых жилетах, в шالях из шотландки и в начищенных новых башмаках, эти новоиспеченные американские ирландцы были горды, шумливы и дерзки.

В Америке все было новым, тут каждый словно рождался заново. На этой земле в первую очередь имели значение слова «здесь» и «сейчас». Из Нью-Йорка Лола двинулась по северо-восточным штатам, по пути оттачивая и улучшая свой спектакль. Американским зрителям требовалось нечто, отражающее их собственный опыт и переживания. Поначалу Лола исполняла тирольский танец, баварский народный танец, венгерский чардаш, испанскую качучу, а затем поняла: национальность и происхождение не значат ровным счетом ничего, здесь требуется некое сочетание всего европейского в целом. Америка желала получить нечто вроде картины, которую можно воспроизводить снова и снова, продавая бесчисленные репродукции. Театральные роли игрались и забывались, а единственный танец мог вдруг превратиться в эмблему, сделаться символическим. Американцы жаждали чего-то нового, свежего — того, что способно было ошеломить новизной, однако при этом имело глубокие корни.

Лола представила им свой собственный «Танец с пауком». Движения она взяла из олеано — ту самую яростную чечетку, от которой мужчин пробирала дрожь тайного мазохистского удовольствия, а женщины вздрагивали от мысли, что другая женщина, оказывается, может не только чувствовать ярость или презрение, но даже способна показать это другим. Древняя, освященная веками тарантелла получила новое имя и сделалась сенсацией.

Смертельно ядовитый паук заползает в одежду молодой невинной девушки. Страшась за собственную жизнь, она отчаянно трясет юбки, пытаясь избавиться от паука. Наконец он падает наземь, и девушка яростно его топчет. Затем, в порыве бесконечного торжества и облегчения, она радуется спасению.

Это был грубый, первобытный, страстный танец, одновременно незамысловатый и полный скрытого смысла. В Бостоне газеты ратовали за бойкот, в Филадельфии заранее

писали, что это зрелище не подходит уважаемым дамам, в Коннектикуте было предъявлено первое обвинение в непристойном поведении, в Пенсильвании несколько джентльменов последовали за своими дамами, которые сочли нужным покинуть зал. Часто Лола танцевала перед аудиторией, состоявшей из одних только мужчин; а в Нью-Орлеане, наоборот, было полно дам, которые засыпали сцену цветами. (Разумеется, женщины этого южного штата, у которых в жилах текла кровь испанцев и креолов, понимали, что такое огонь и страсть, однако речь сейчас не об этом.) Одной из любимых газетных вырезок Лолы была статья, опубликованная в «Альта Калифорния»; ее автор признавал, что непристойен вовсе не «Танец с пауком», а мысли, которые рождаются у зрителя.

«Мадам Монтес вытрясает из юбок паука, не являя взгляду даже лодыжки, не говоря уже о бедре! Вся пикантность зрелища — в догадках о том, что может происходить за закрытыми дверьми. Когда она с таким жаром топчет каблуком упавшего паука, в мыслях моих мелькают самые разные сладострастные и бесстыдные образы. Пусть во Франции арестовывают танцовщиц за исполнение польки! Здесь такого случиться не должно. Если вы забыли, я напомню: мы — американцы, а не европейцы. Следует ли нам запретить выступления мадам Монтес из-за того, что ее танец порождает у нас непристойные мысли, — или же нам следует откровенно признать, что она всего лишь затрагивает мысли и ощущения, которые в нас уже есть? Господа, я предлагаю второе».

Слухи о «Танце с пауком» катились впереди Лолы, газеты писали о ней задолго до ее приезда в тот или иной город. Лола сделалась полной противоположностью, более того — отрицанием женского изящества и утонченности, она стала темной тенью всех кротких и почтенных дам, что тихо склонялись над своим рукоделием. Посмотрев ее выступление, многие мужчины возвращались домой и косо поглядывали на жен: почему у нее так блеснули глаза? Что она хочет сказать этой приподнятой бровью, притаившейся в уголках губ улыбкой? Черт бы все побрал, но порой самая милая любящая супруга кажется слишком уж пылко влюбленной, как будто за ее очаровательной внешностью скрывается куда более сложная, многогранная правда. Бог свидетель: если дело так пойдет и дальше, женщины скоро потребуют себе избирательное право! По всей Америке дамы, с жадностью читавшие газеты, поспешно прятали их за диванные подушки или под рукоделие, услышав за дверью мужские шаги. В будуарах, на кухнях и в подвалах уважаемые хозяйки дома, служанки и белошвейки осторожно приподнимали юбки и пристукивали каблуками, каждая по-своему танцуя бесконечно разнообразный «Танец с пауком».

Лола выступала по всей стране, чуть ли не в каждом городе каждого штата, в больших городских театрах и в дешевых залах над салунами, где полы были посыпаны опилками. В построенном всего три года назад Сан-Франциско, где споры по-прежнему решались оружейной пальбой, ей не раз приходилось пускать в ход свой собственный пистолет и хлыст. В Сакраменто она вызвала публику в зрительном зале на дуэль.

Сакраменто ничем особенно не отличался от других, недавно выстроенных городов на границе продвижения переселенцев, и народ в зале вел себя ненамного шумнее, чем в иных театрах; но когда нескольким так называемым джентльменам хватило наглости поднять на смех «Танец с пауком» и мешать Лоле сосредоточиться, она велела оркестру замолчать и подошла к краю сцены.

— А ну идите сюда! — закричала она, указывая на розовощекого зачинщика;

театральный зал был невелик, и нетрудно было рассмотреть, что главные злодеи сидят на лучших местах. — Отдайте мне свои штаны и заберите себе мои юбки; вас нельзя назвать мужчинами!

Публика пораженно смолкла, затем взорвалась смехом.

— Я буду говорить! — выкрикнула Лола.

К сожалению, зал хохотал не только над невежами, но и над ней самой. Вскоре в нее уже летели гнилые яблоки и тухлые яйца. Лола обвела взглядом море мужских лиц; зал дружно развлекался за ее счет.

— Я презираю вас, трусы! — закричала она, перекрывая шум. — И с радостью буду драться с любым, кто посмеет меня оскорбить! Ну-ка, что предлагаете — быть может, хлыст? Или пистолет?

Дирижер испугался и поднял палочку.

Никто не принял вызов Лолы.

Музыканты снова заиграли, выкрики Лолы уже невозможно было расслышать, и тогда она с неохотой заново начала танцевать. Когда на сцену упал букет брошенных роз, Лола раздавила цветы, наступив ногой. При этом смотрела она в зал, глаза гневно сверкали, и было совершенно ясно, кому она выказывает свое презрение. Зал взорвался бешеным ревом и криками, стал бросаться стульями, и Лола поспешно убежала со сцены. Из-за кулис она слышала свист и аплодисменты — того и другого в равной мере. Когда наконец был восстановлен порядок, она станцевала на бис; в зале было поломано немало скамей, а сквозь выбитые окна свистел ветер.

В тот же вечер под окнами гостиницы собралось несколько сот пьяных мужчин, которые сыграли Лоле «серенаду», стуча крышками кастрюль и сковородками. Высунувшись в окно, она потрясла кулаком; они в ответ орали и насмехались.

— Нам не нужна Лола Монтеc! — голосили они под грохот посуды.

— Вы — не джентльмены!

— Ты — не леди!

— Приходите в театр завтра, — с вызовом крикнула Лола, — и можете оскорблять меня сколько хотите!

Когда наконец все разбрелись по домам, Лола обессиленно рухнула в кресло с бокалом бренди в руке. Бренди должно было придать ей сил.

— Боже мой! — сокрушенно проговорил импресарио. — Это катастрофа.

— Чепуха! — возразила она. — Сегодняшний скандал стоит больше тысячи долларов, вот увидите.

На следующий вечер зал был забит до отказа, в проходах стояли полицейские. А Лола принесла со сцены извинения публике; получилось очень изящно.

— Я всего лишь бедная беззащитная женщина, которую многие преследуют и обманывают. Простите, дорогие мои американцы; ведь вы столь же свято верите в выражение свободы, как и я; простите, если в запальчивости я не сдержала чувств. Разумеется, не следовало допускать, чтобы меня настолько вывела из себя жалкая горстка смутьянов. Когда я растоптала букет, я поступила так, продолжая древнюю традицию: паука нужно растоптать. Воистину, я никоим образом не желала обидеть или подвергнуть сомнению чувства достойных жителей Сакраменто, которые очень мне дороги. Дамы и господа, если вы желаете, чтобы я для вас танцевала, вам нужно всего лишь об этом сказать.

Зал отозвался громом аплодисментов и одобрительными криками, а потом Лолу дважды

вызывали на бис.

До окончания ее выступлений в Сакраменто билеты раскупались все до единого, и больше не случилось никаких неприятностей. Горожанам мужского пола следовало бы испытывать благодарность: ведь на один бесценный вечер Лола освободила их от обязательств рыцарского поведения!

Конечно же, у Лолы бывали минуты задумчивой грусти, когда она размышляла, сомневалась, сожалела. Как любой другой, она порой ощущала себя беспомощной и незащищенной. Выпадали дни, когда она часами сидела без движения в комнате с зашторенными окнами, когда свет резал глаза и даже шепот горничной казался слишком громким и раздражал. Когда не хватало сил покинуть гостиничный номер, улыбнуться шальной улыбкой Лолы Монтес, снова стать Лолой.

В такие дни она бежала от внешнего мира на страницы своих дневников — единственное место, где не требовалось постоянно быть начеку, где она могла искренне, болезненно и последовательно быть сама собой. Последняя тетрадь была в обложке из зеленовато-синей замши; ее Лола приобрела в Лондоне. Предыдущие тетради были украшены тканями от старых любимых платьев: переливчатый синий шелк, золотисто-желтая тафта, оливково-зеленый бархат, ярко-розовый атлас. Этим тетрадям онаверяла тайные мысли и фантазии; в детстве ей это настолько помогало, что у нее не было человека ближе, чем собственное «я». С детства до взрослого состояния, при всех переездах, во всех передрыгах эти дневники служили единственной связующей нитью.

Перед началом своего первого выступления на Бродвее Лола нервничала за кулисами, ожидая, когда настанет пора выйти на сцену. Всюду лежала пыль. Девочки из кордебалета беззаботно щебетали; импресарио грозно орал, его помощник молча вжимал голову в плечи. Рабочие сцены что-то подправляли в декорациях. Прильнув к глазку сбоку от сцены, Лола оглядела зрительный зал. В оркестровой яме музыканты настраивали инструменты; то слышался голос трубы, то переливы ударного треугольника. Дважды дирижер стучал палочкой. В партере какой-то господин вел под руку молодую даму, кивал и улыбался знакомым. С обнаженными покатыми плечами, ниже которых колыхалась кипень кружев, в платье нежнейшего цвета, эта молодая женщина казалась бледной и скромной, будто лебедь. Аккуратно прибранная головка тихонько склонялась в приветствиях, застенчивый взгляд был устремлен в пол, на молочно-белом лице не виднелась, а скорее угадывалась улыбка. Лола заинтересованно наблюдала: сопровождающий сие хрупкое создание господин проявлял в равной мере заботу и презрение. Он вел ее, придерживая под локоть, словно она в любое мгновение могла споткнуться и упасть. С великой заботливостью он наконец подвел свою даму к нужному ряду и усадил в кресло, точно малого ребенка. Лола не сводила с них взгляд. Помнится, когда-то она сама была точно такой же дамой. В другом времени, в жизни, от которой она отказалась.

Глава 37

Если ехать от Сан-Франциско в глубь материка, дорога поднимается все выше и выше в предгорьях Сьерра-Невады, и наконец на высоте двух тысяч футов над уровнем моря взору представится полная сочной зелени долина. Окруженная горами, словно театральными

декорациями, с синеющей вдали беспредельной гладью океана, долина Грасс-Вэлли лежит высоко над остальным суетным миром.

Городок, построенный здесь, появился не только ради таящегося в недрах земли золота; он был пропитан удивительным духом радости и жизнелюбия. Воздух был чист, и простор давал ощущение свободы, которое радовало душу Лолы. Шум дробилок, измельчающих золотоносную руду, не раздражал, а создавал атмосферу целеустремленности и трудолюбия. Городок этот подходил ей целиком и полностью: здесь все было новое, все казалось возможным. Люди обогащались, много работая, или если им улыбалась удача. Шахты и промышленные постройки были разбросаны повсюду, однако, на взгляд Лолы, они не уродовали пейзаж, а, наоборот, казались красивы. Куда ни глянь, в отвалах вспыхивали золотые искры. Прежний мир уносило прочь потоком новой жизни, и с ним вместе уходили прошлые ограничения и запреты. Долину переполняла жизненная сила, она билась в шуме водяных колес и паровых двигателей.

На главной улице стояли два ряда деревянных домишек, салун, ресторан, кегельбан, книжная лавка и бордель; в единственной гостинице селились горные разведчики. В маленьком зале над салуном Лола выступала перед публикой, которая настолько изголодалась по развлечениям, что готова была платить за вход двойную цену. Публика была самая разнородная: простые старатели и работяги-шахтеры; недавно разбогатевшие и разодетые в пух и прах везунчики; управляющие и владельцы шахт — все они сидели и стояли бок о бок. Даже девочки из борделя столпились у двери, сунув головы в зрительный зал.

Перед выступлением Лола вышла на край крошечной сцены и доверительно проговорила:

— Мы все здесь старатели. — Она присела в реверансе. — Все мы — короли и королевы. Взгляните на меня. Перед вами скромно склоняется графиня.

На этой премьере падение короля Людвига было особенно популярно, а «Танец с пауком» вызвал предложения помочь в поимке ядовитого гада. К концу своего выступления Лола уже приняла твердое решение: Грасс-Вэлли станет великолепной площадкой, откуда можно покорять западные штаты. Она хорошо усвоила преподанный Людвигом урок: король способен подарить целое состояние, однако он с легкостью может его и отнять. Дальше в долине находилась самая богатая в Калифорнии шахта, и рядом с ней Лола вознамерилась обосноваться.

Чуть только Лола увидела бревенчатый домик на Милл-стрит, она поняла, что домик построен здесь именно для нее. Он был выкрашен белой краской и с четырех сторон обнесен верандой — точь-в-точь дом ее раннего детства в Индии. А когда Лола поглядела вдаль, на окружающие долину горы, ей показалось, будто из прошлого явились предгорья Гималаев, баварские Альпы вокруг Мюнхена, испанская Сьерра-Невада, придававшая древней Гранаде мерцающий блеск и дух волшебства. Обустривая свой новый дом, Лола внезапно обнаружила, что делает это не для себя, а для маленькой девочки, которой была когда-то. В саду, наряду со здешними кактусами, она посадила бегонию и лилии, чьи цветы напоминали ей Индию и Испанию. На веранде висел гамак, в саду на ветке дерева — качели. Лола купила собаку, лошадь и зеленого попугая по имени Полли. Вскоре у нее образовался целый зверинец: две козы, поросенок, куры, индюки, пара попугайчиков-неразлучников. Не проходило и недели, чтобы ей не принесли какого-нибудь нового зверя или птицу. Сосед

купил для нее дикого кота с искалеченной лапой, а сама Лола выкупила у владельца бродячего цирка бурого медвежонка.

По утрам в субботу она давала уроки танцев трем местным девушкам. «Стойте прямо, старайтесь быть высокими, гордыми», — не уставала она повторять. И больше не старалась убежать от Элизы Гилберт. Если ее обвиняли в том, что она ведет себя как ребенок, Лола не огорчалась. Приезжие из Европы ожидали встретить величественную графиню, а вместо этого видели загорелую женщину в простом ситцевом платье, которая с упоением копалась в саду. Когда Петр Штейнкеллер эмигрировал из Польши, он нарочно разыскал Лолу, желая ее повидать.

— Ну и загорели же вы! — вскричал он, едва ее увидел. — Совсем черная. Я с трудом вас узнал.

Разумеется, в маленьком городке нетрудно нажать себе врагов. Генри Шипли был редактором газеты «Грасс-Вэлли телеграф», и столь большая власть явно не пошла ему на пользу. Хотя Шипли был еще молод, он успел устать от жизни и проникнуться изрядным цинизмом. Каждую неделю он с большим удовольствием поносил на страницах собственной газеты заезжих актеров, а потом у него достало наглости оскорбить Лолу. Вражда между ними к тому времени тлела уже несколько недель, и это оказалось последней каплей. Разъяренная Лола отыскала Шипли в салуне, где он пил виски, хотя было всего лишь десять утра.

— Вы посмели назвать меня лицемеркой! — накинулась Лола на редактора.

— Да это же могущественная Монтес! — с насмешкой отозвался тот.

— Я требую извинений!

Шипли, разумеется, отказался, и тогда Лола обрушилась на него с бранью, подкрепляя свои аргументы ударами хлыста:

— Вот вам за всех актеров, что вы обругали! И за то, что ведете себя недостойно! А это за нахальство, с каким оскорбили меня! Да еще словами, годными для описания лишь вашего презренного нрава! Какая отвратительная наглость!

На третьем ударе Шипли перехватил руку Лолы с хлыстом. Он уже готовился дать ей тычка, но в Лоле разыграл дух ее ирландских предков, и она левой рукой саданула редактора в скулу.

Шипли отшатнулся, затем поклонился:

— Лола Монтес в который раз попадает на первые страницы! Вы чересчур предсказуемы, дорогая; лучше бы постарались внести некое разнообразие.

Между ними вклинилась дородная хозяйка салуна, и на том потасовка закончилась. Это не помешало им обмениваться оскорблениями — и сейчас, и позже, на газетных страницах. Шипли был неисправим, но в маленьком, бедном на развлечения городке мгновенно выросли тиражи его газеты. Да и Лола, как выяснилось в конечном итоге, оказалась в выигрыше. Нравилось им это или нет, они зависели друг от друга: Лола была постоянным источником скандального материала для газеты, а Шипли, в свою очередь, привлекал публику в зрительный зал. Впрочем, реклама — искусство тонкое, и тропка эта очень скользкая, способная к тому же завести вовсе не туда, куда хотелось.

Одной из причин, побудивших Лолу купить домик в Грасс-Вэлли, было желание спокойно завершить свои мемуары. Газеты с удовольствием печатали малейшие обрывки

историй, однако книгоиздателям требовалось нечто более весомое и законченное. Лола безо всяких усилий могла рассылать в газеты письма с пикантными подробностями из собственной жизни, однако требовались время и большая сосредоточенность, чтобы связно изложить на бумаге свои мысли и воспоминания. Публика мечтала узнать о ее подвигах в Европе, однако те пьянящие головокружительные дни уже казались смутными и далекими. Порой Лоле казалось, что она пытается припомнить собственные сны, — как известно, дело нелегкое. Когда она ставила пьесу «Жизнь Лолы Монтес», она обошла всяческие трудности, представив публике драматичную, порой забавную или ироническую полуправду. Теперь же, после шумного успеха пьесы, ряд издательств предлагал щедрые гонорары за полную и правдивую биографию.

Когда Лола села за письменный стол в первый раз, дело пошло очень туго — нужные слова не вспоминались, не ложились на бумагу. Лола пыталась описать свою жизнь, начиная с того дня, когда покинула Лондон, — тщетно. На некоторое время она оставила мемуары, а в следующий раз вернулась глубже в прошлое и извлекла на свет божий Элизу Гилберт. Все-таки от прошлого никуда не денешься, это Лола вынуждена была признать. Как бы она ни торопилась, как бы ни мчалась вперед, прошлое следовало по пятам. И стоило это осознать, как слова полились легко, как будто сами собой. Раз начав, Лола уже не могла остановиться.

Лола Монтес родилась из Элизы Гилберт; в том не было уже никаких сомнений. Элиза была спящей куколкой, Лола Монтес — порхающей бабочкой, воплощением мечтаний своей предшественницы. Оглядываясь на собственную жизнь, Лола видела не одну историю, а целых две, и одна из них разворачивалась в рамках другой. Первая была наполнена стремлением непрерывно двигаться вперед, во второй некто пристально глядел назад, в прошлое. Мать отказалась от Элизы, когда той было всего семь лет, и в результате Элиза пожелала завоевать весь мир. Если она пыталась поставить себя выше любви и одобрения общества, то лишь потому, что нуждалась в них слишком сильно. Она не простила свою мать до конца, однако научилась быть добрее к самой себе. Дописывая свои мемуары, она буквально видела, как Элиза и Лола идут рядом, держась за руки: великолепная Лола в малиновом костюме фламенко и Элиза в ярком индийском платье из оранжевого и синего шелка.

Однажды она сидела на веранде, наблюдая, как вокруг желтых лилий вьется толстый шмель, заползает в цветки. На лапках уже налипли толстые комочки пыльцы, шмелю явно было тяжело, и он будто мялся в нерешительности, прежде чем забраться в очередной гостеприимно раскрытый цветок. Лоле припомнились уроки танцев в цыганской пещере. «Надо найти самую суть, сердцевину, — объясняла ей Кармен. — Все лишнее нужно отбросить. А когда отыщешь то, что внутри, сырое, трепещущее, — тогда сможешь начать».

«А ведь верно, — подумала Лола. — Что еще мне остается, кроме как начинать снова и снова? А потом опять начинать все сначала».

Сцена десятая

Последние впечатления

(дополнение)

Глава 38

Лола прожила в долине Грасс-Вэлли почти два года, и наконец в ее сознание потихоньку стали просачиваться малоприятные новости с других концов света. В Ирландии, Индии, в Вест-Индии люди обретали и теряли целые состояния, а следом шли голод, бунты и мятежи. Пройдет время, и то же самое начнет происходить в Америке: в Калифорнии экономика уже нестабильна. А сейчас, когда найдено золото в Австралии, на сцену выходит целый новый мир. Старатели и всякого рода дельцы так и хлынули на еще не освоенный континент: предприниматели, горнорабочие, актерские труппы, девицы легкого поведения. Пленительные рассказы об этом обширном материке, где красная земля таит неисчислимые сокровища, доходили в домик Лолы на Милл-стрит. Невозможно было устоять, слыша о золотой лихорадке, о владельцах шахт и горнорабочих, которые истосковались по развлечениям, о высоких гонорарах и огромных кассовых сборах. Весной Лола собрала труппу и отправилась в путь.

Европейские поселенцы успешно завоевали часть «красного континента» — некоторые районы Сиднея и Мельбурна внешне мало отличались от фешенебельных районов Лондона, — однако в Австралии оставалось нечто исконное, безжалостно и грозно напоминавшее о себе каждый день и в любом месте. В столовых и гостиных из-за штор или из-под фортепьяно могло выскочить многолапое существо, помчаться в сторону или взбежать вверх по стене. В прачечных и буфетных, в спальнях и уборных таились в засадах пауки — волосатые охотники, либо так называемые белохвостые, либо серые домовые, коричневые дверные, буфетные и великое множество всяких других. Казалось, в Австралии найдутся пауки на любой случай. Тарантулы здесь вырастали с ладонь взрослого мужчины; еще были удивительные пауки с восемью глазами, которые в темноте горели зеленым. Тут водился даже родственник «черной вдовы», и, хотя его яд не был смертелен, укус вызывал у человека судороги и конвульсии.

Рядом с такими коренными обитателями континента привезенный Лолой «Танец с пауком» неожиданно зажил собственной яркой жизнью. Внезапно в театральных залах люди увидели то, чего они боялись больше всего на свете. Они отлично сознавали, какую опасность представляет собой ядовитый паук, и принимали выступление Лолы с особой страстью. В театрах каждый раз был аншлаг, из зала кричали: «Паук, паук!» — и дружно требовали, чтобы ядовитого гада нашли и уничтожили как можно скорее.

Представьте себе молодую, красивую, гибкую женщину, запутавшуюся в паутине. Прочные нити все крепче опутывают лодыжки, пленница приходит все в большее смятение. В воздухе льется сложная, гипнотическая мелодия, которая делается то громче, то тише, звучит то быстрее, то медленнее. Внезапно женщина обнаруживает, что паук забрался ей в юбки. Она пытается его вытряхнуть, затем проверяет одежду, но паук тем временем заползает выше. Женщина мечется, кружится в вихре летящих юбок; как одержимая бесами,

она извивается, скребет пальцами по одежде, по телу. Самозабвенно, пламенно, она танцует и танцует, пока ей не удастся стряхнуть паука на землю. Тогда она яростно топчет его. Наконец дело сделано, страшный враг побежден. Стремительная мелодия внезапно становится медленной и плавной. Лицо женщины расцветает в улыбке; по телу ее растекается любовь к чуду, которое зовется «жизнь», и этой любовью дышат каждый ее шаг и движение тела, рук, головы.

Зрители были буквально зачарованы силой страстей, что пылали на сцене. Захваченные драматическим действием, они прямо-таки воочию видели злосчастного паука, запутавшегося в юбках. И когда он падал наземь, они облегченно вздыхали. А потом, в ужасе замерев, глядели, как его яростно топчет такая изящная женская ножка. Мерзкая тварь была однозначно мертва, а на сцене оставалась прекрасная женщина, вся — воплощенная страсть и радость жизни. Зрители бешено рукоплескали, заваливали цветами сцену.

Чтобы добиться успеха, Лоле не приходилось вести себя вызывающе и создавать вокруг своего имени скандал. Достаточно было явить зрителям паука, избавиться от него и затем сокрушить каблуком. Великолепная драма в трех актах!

Когда-то давным-давно, в Средние века, во времена крестовых походов, странное бедствие поразило сначала северные районы Италии, а затем быстро распространилось на всю страну и Испанию. В полях во время уборки урожая десятки женщин страдали от укусов тарантула. Яд расходился по телу, и женщины начинали биться в судорогах. Единственным известным средством от этой напасти был танец, и на краю полей собирались музыканты — в ожидании, когда потребуются их услуги. Под их музыку бедные женщины кружились день и ночь, пока с потом не выходил яд, и лишь тогда они обессиленно валились на землю.

Оттуда и пошла тарантелла — народный танец, в котором пары кружились, и женщины в развевающихся юбках яростно топали ногами. Историки утверждают, что танец этот коренится в ритуалах, посвященных Дионису, и что с началом крестовых походов выражение плотских желаний стало рассматриваться как болезнь. Разумеется, чаще всего эта «болезнь» поражала людей во время сева и уборки урожая, когда крестьяне исполняли древние «разнузданные» пляски плодородия.

В Америке и в Австралии мужчины толпами валили в театр, хотя многие оставляли дома жен и дочерей. От чего, спрашивается, они оберегали женщин? Уж не от мыслей ли о том, что у женщины могут быть свои собственные желания? Что такое тарантелла без паука, и о чем заставляют вспомнить эти древнейшие создания? В царстве символов паук связан с чем-то таящимся в темных глубинах. Ну-ка, вдумайтесь: что темное, шерстистое крадется под покровом темноты? Что может таиться в ящике, где собрано то, о чем надо молчать? В нашем темном ящике с многочисленными табу? Давайте еще раз подумаем о пауке. Согласно древнегреческому мифу, Арахна сплела платок, изображавший любовные утехы богов Олимпа. Разгневанная Афина покарала Арахну, превратив ее в паука^[53]. Таким образом, с античных времен образ паука и выражение сексуальности связаны между собой.

А что же настоящий живой паук? «Черная вдова» пожирает оплодотворившего ее самца. Для этой самой прожорливой из тварей (и ее австралийской родственницы под названием «красная спина») акт размножения превращается в танец смерти, хотя, впрочем, самец охотно отдает себя на съедение. Вспомните о тех мужчинах, что набиваются в зрительный зал и попеременно сыплют то оскорблениями, то комплиментами, поскольку они разрываются между восторгом и возмущением.

Лола переезжала из одного города в другой, и постепенно «Танец с пауком» изменялся, обретая иные сюжетные повороты. Тварь уже не удавалось благополучно вытрясти из одежды: паук успевал укусить свою жертву. Яд растекался по жилам, и Лола на сцене теряла силы либо кружилась до умопомрачения. В этом новом варианте представления ей приходилось танцевать без остановки, пока яд не вымывался из тела, иначе ей грозила неминуемая смерть. Представление стало еще более захватывающим и напряженным. Зрители с тревогой наблюдали, как Лола танцует до полного изнеможения. Порой казалось, что битва со смертью будет проиграна. Однажды Лола рухнула без сил и осталась лежать на сцене, а музыка продолжала играть. Тянулась минута за минутой, Лола не двигалась. Рабочим сцены пришлось самим поднять ее и увести со сцены. Кроме того, случались и другие неприятности. В труппе вспыхивали ссоры, пропадали деньги, сбегали актеры. В штате Новый Южный Уэльс во время представления в здание театра ударила молния.

Лола только что начала танцевать, как вдруг сверкнула ослепительная вспышка и раздался страшный удар грома. Светящийся шар пролетел сквозь черепичную крышу и пал на сцену, едва не задев Лолу, которая отпрыгнула и упала. Сверкнула еще одна вспышка, пахло как будто порохом. Сцена разломилась надвое, декорации загорелись. Театр наполнился дымом, пронзительно завопили женщины. Забегали рабочие сцены, пытались сбить пламя; импресарио кричал, чтобы тащили ведра с водой.

Среди общей паники Лола подхватила юбки и кинулась к рампе. Занавес упал у нее за спиной, и Лола вскинула руку:

— Не будем бояться! Представьте, что гром и молния — часть представления. Старый порядок рушится, однако поднимется новый, помяните мои слова! А сейчас продолжим!

Занавес снова поднялся, открыв взорам тлеющие остатки декораций; на них то и дело вспыхивали языки огня. В оркестровой яме подала голос одинокая скрипка, и Лола начала танцевать. Колеблясь на краю погубленной сцены, она неотрывно глядела в небеса, молча призывая стихию нанести еще один удар, отчасти даже надеясь, что это случится, что новый удар молнии раз и навсегда положит всему этому конец. Посреди царящей в театре сумятицы она продолжала танцевать. Она бы танцевала даже в гибнущих Помпеях, даже если бы наступил конец света. Зрители уходили из зала. Не в силах оторвать взгляд от посвоему пугающего действия на сцене, они пятились шаг за шагом, пока наконец зал не опустел.

Лола осталась в целом невредимой, если не считать нескольких царапин и синяков, которые она получила, упав на сцене. Однако она искренне сомневалась, стоит ли еще исполнять «Танец с пауком». После, в гостинице, она с удовольствием погрузилась в ванну и прикрыла глаза. В сущности, ее танцевальная карьера подходила к концу, ей не требовался Божий знак, чтобы это понять. У нее ныла каждая косточка, сил совсем не осталось, в ногах пульсировала боль, и словно острые кинжалы пронзали голову. После каждого выступления она теперь чувствовала себя опустошенной и обессиленной; с каждым разом ей приходилось все дольше восстанавливать силы. Если раньше «Танец с пауком» воодушевлял ее и вселял энергию и бодрость, то теперь он лишь выпивал энергию до капли. Печальная правда состояла в том, что тарантелла требовала выносливости молодой женщины, а Лола уже не была молода. В свои тридцать пять лет она с немалым трудом собирала необходимые силы и душевный огонь. Вдали еще погромыхивала ушедшая гроза, вода уже остыла, а Лола все не вылезала из ванны. Да: настало время либо вовсе уйти со сцены, либо найти продолжателя.

Австралия оказалась не только страной, где естественнее всего смотрелся «Танец с пауком»; здесь также совершенно естественно шли в ход хлысты. Когда Лола разъезжала по континенту, ее второе «я» с хлыстом в руке часто появлялось на страницах местных газет. Лола с готовностью хваталась за хлыст как за аргумент в споре, охотно позировала с ним для фотографов, порой даже использовала хлыст на сцене, в пьесах. Однажды в городке Балларат, неподалеку от Мельбурна, она сцепилась с очередным газетчиком. Все та же старая история: когда Генри Сикамп вздумал блюсти нравственность за счет знаменитой танцовщицы, остальное было неизбежно. Лола схватилась с редактором на главной улице городка; сначала в ход были пущены хлысты, затем — кулаки. В неравной схватке между хрупкой танцовщицей и громадным пьяницей (и почему столь многие газетчики так привержены к спиртному?) пострадала в основном репутация Сикампа. Он пал так низко, что вцепился Лоле в волосы и в юбки посреди улицы, у всех на глазах. Когда бойцов наконец развели, свидетели-горнорабочие забросали газетчика гнилыми помидорами, крича:

— Позор, позор!

В том же самом Балларате Лоле случилось познать и горечь поражения. Когда она проявила настойчивость, спрашивая, на какую именно сумму были проданы билеты, супруга директора накинулась на нее с хлыстом. Миссис Кросби была крупная дама, которая, в отличие от мистера Сикампа, не имела рыцарских соображений. Она так отхлестала Лолу, что сломалась рукоять хлыста, после чего миссис Кросби принялась тузить противницу кулаками. Победенная Лола бежала. Отлично усвоив урок, она больше уже никогда не бралась за хлыст, чтобы сделать себе рекламу.

Когда турне по Австралии подошло к концу, «Танец с пауком» обрел новую степень бессмертия: у Лолы появился подражатель. Она сама уже превратила танец в некую стилизацию, а Джордж Коппин лишь сделал следующий шаг, породивший впоследствии множество шуточных и пародийных версий. Говорят, что подражание — самая искренняя форма лести, к тому же Коппин немало потрудился над своим преображением в Лолу. В черном платье с облегающим мощный торс лифом и пышной юбкой, Коппин вышел на сцену своего собственного театра в Мельбурне и встал в характерную для Лолы позу. Как ни странно, часто самые что ни есть мужественные мужчины с удовольствием балуются с женскими «штучками», и Джордж Коппин не был исключением. Уже немолодой — в то время ему было под пятьдесят, — высокий, с широкими плечами и заметным брюшком, с куда большим количеством подбородков, чем полагается одному человеку. На его лысеющей голове красовался пышный иссиня-черный парик с кудряшками, которыми Коппин лихо потрясал. Заиграла музыка, и Коппин эффектной походкой выдвинулся к рампе.

Хотя Австралия уже больше не была местом ссылки уголовников, однако же имела давнюю и весьма почитаемую традицию переодевания; везде, где живут в основном мужчины, они при необходимости переодеваются женщинами. Коппину куда лучше удавалась пантомима, нежели танец, однако плясать он принялся с величайшим усердием. Держался он величаво, позы принимал тоже величественные, хотя из-под тугого черного платья так и выпирало объемистое брюшко.

— Паук, паук! — орали зрители.

Коппин плясал как одержимый. Громко топая по доскам сцены, он вскидывал пышные

юбки, открывая взорам рабочие башмаки и свои волосатые ноги. Когда он вытащил из-под юбок огромного черного тарантула, зал взорвался одобрительными криками и свистом.

— Смерть пауку! Смерть! Топчи его, топчи!

Коппин швырнул паука наземь и принялся прыгать вверх-вниз, топча страшную тварь обеими ногами. Затем, торжествующе поставив башмак на раздавленного в лепешку врага, он удовлетворенно потер руки, после чего рухнул в тяжеловесном неуклюжем реверансе.

— Я всего лишь бедная беззащитная женщина, которую кто ни попадя оскорбляет и обводит вокруг пальца, — запричитал он высоким скрипучим голосом. — Мужчины каких только уловок не измышляют, лишь бы забраться мне под юбки, но я — такое беспомощное существо, что ж я могу поделаться?

За кулисами Лола с трудом удерживалась от смеха. Она самолично предоставила Коппину ноты и научила танцевальным па; и в целом он изобразил ее весьма похоже. Сама Лола уже готовилась покинуть Австралию — а вместе с ней и сцену. Джорджу Коппину выпало представить ее лебединую песню. Его «Танец с пауком», несомненно, запоминался: ибо, при всей пародийности исполнения, Коппин сыграл свою роль от души, вложив в нее немало трудов и пыла. А «Танец с пауком» сделался столь же неотъемлемой частью Австралии, как пробковые шлемы и жестяные походные котелки.

Лола покинула Австралию, увозя с собой множество птиц, в том числе говорящего попугая Полли III и белого лирохвоста, твердо намереваясь заняться новым делом. Теперь она собиралась читать лекции и писать книги. По пути в Америку Лола набросала примерное содержание двух первых лекций: о тонком искусстве рекламы и о древних корнях освященного веками «Танца с пауком».

Глава 39

Новая деятельность оказалась чрезвычайно доходной: Лола получала высокие гонорары за свои выступления, собирая большие аудитории слушателей. Кроме того, это дело принесло ей доселе непредставимый блеск респектабельности. Лола спустилась с театральной сцены и затем поднялась на кафедру лектора с удивительной легкостью; она объездила Америку, Англию и Ирландию с лекциями, посвященными кругу вопросов от политики до красоты и моды. Часто она пользовалась фактами собственной биографии, рассказывая о Лоле Монтес, точно о другом человеке; а в частной жизни все чаще называла себя Элизой. Хотя она перестала танцевать, приступы болей и страшной слабости учащались. Лола готовилась в третью свою поездку, когда и без того слабое здоровье окончательно пошатнулось. Друг за другом последовали обморок, многодневная кома и покотившиеся слухи о смерти знаменитой Лолы Монтес.

* * *

В Нью-Йорке, в фешенебельном районе Гринич-Виллидж, в одной из квартир осторожно приглядывались одна к другой две уже немолодые женщины. Стоял октябрь, в камине был разведен огонь. Хозяйка застыла в кресле у камина, на бледном исхудалом лице горели синие глаза. Одной рукой вцепившись в подлокотник кресла, другой — в мраморную

рукоять толстой трости, она казалась как будто застывшей во времени, которое остановилось в тот самый миг, когда женщина еще не решила — встать ли ей или остаться сидеть. Гостя, которая была старше лет на десять-двенадцать, неуверенно мялась на пороге. В плаще и шляпке, с порозовевшим от осенней прохлады носом, она выглядела так, словно явилась сюда не по доброй воле, а, к примеру, ее принесло сильным ветром. Сквозь открытую дверь в комнату прокрался сквозняк, потянул холодком по ногам. Не похоже было, что две эти женщины рады друг друга видеть.

По-прежнему сидя в кресле, Лола так крепко стиснула рукоять трости, что побелели костяшки пальцев. Лицо дернулось, как будто она тщетно пыталась облечь свои мысли в слова. Наконец она заговорила — чужим, глуховатым голосом:

— Чему я обязана этим удовольствием?

— Я не могла не приехать, — отозвалась миссис Крейги с принужденной улыбкой.

Они довольно холодно и неловко обнялись, потом Лола указала на второе кресло у камина:

— Прошу.

Миссис Крейги вгляделась в ее лицо, кашлянула.

— Ты хорошо выглядишь, — проговорила она, откровенно покривив душой.

Темное шерстяное платье балахоном висело на худом теле Лолы, выпирающие ключицы были обтянуты бледной сухой кожей, щеки ввалились. Наброшенная на плечи роскошная кашемировая шаль лишь подчеркивала хрупкость и болезненность.

У Лолы чуть расширились ноздри.

— Боюсь, что слухи о моей смерти были несколько преждевременны, — сказала она.

Однажды в начале лета, чудесным июньским утром Лола проснулась — и обнаружила, что не может ни говорить, ни двигаться. Спустя три дня она впала в кому. Плывущие в Европу корабли понесли весть о ее смерти. Уже были даже закончены приготовления к похоронам, когда Лола — о чудо! — неожиданно вновь открыла глаза. Впрочем, говорить она по-прежнему не могла и обслуживать себя тоже была не в состоянии. Из рта сочилась слюна, которую Лоле приходилось то и дело вытирать рукавом. С огромным трудом она заново научилась садиться, потом — ходить, и наконец — произносить слова, а затем связывать их в предложения. Со временем Лола научилась умываться и одеваться, ходить, опираясь на трость.

Все лето она с яростной энергией наслаждалась каждым дарованным ей днем, упивалась проблеском синего неба в облаках, распустившимся цветком, песенкой черного дрозда. Три месяца она заставляла себя ходить, пока не смогла передвигаться по спальне уже без помощи трости. Не раз и не два в то трудное время Лолу утешала мысль о женщине, которая сейчас Сидела перед ней у камина.

Миссис Крейги угнездилась в кресле, сняв плащ и шляпку. Миловидная пятидесятипятилетняя женщина, в платье из шелестящей черной тафты. Когда-то она была по-девичьи хрупкой, а ее дочь, наоборот, обладала пышными формами; сейчас же Лола была худой — кожа да кости, а ее мать превратилась в пухлую, довольную жизнью даму — обеспеченную вдову.

— Моя дорогая Элиза, — проговорила она.

— Насколько я понимаю, ты прибыла из Англии.

Миссис Крейги утвердительно кивнула:

— Три месяца на борту корабля.

— Ты приехала, чтобы повидаться со мной?

— В газетах писали: ты умираешь.

— Потому ты и приехала?

Миссис Крейги глянула с обидой.

— Я вовсе не это хотела сказать. Я подумала, что мы с тобой можем помириться. В конце концов, ведь это ты мне писала.

— Да, но то было двенадцать лет назад.

Миссис Крейги опустила глаза.

— Сейчас я здесь.

Лола вгляделась матери в лицо. И решила принять ее слова на веру — пока нет прямых доказательств, что та лжет.

— Прости, — сказала Лола. — Я не ожидала, что ты вдруг появишься, вот и все. Давай выпьем чаю, и ты расскажешь, как прошло путешествие.

Когда Лола оставила сцену и занялась чтением лекций, неожиданно оказалось, что ее с радостью принимают в порядочном обществе. Те самые дамы, которые еще недавно не упустили бы возможность унижить ее и подчеркнуть собственное превосходство, теперь ее обнимали. Даже мать готова была снести ее общество.

За чаем с лимонным пирогом они вежливо беседовали о погоде, о путешествии миссис Крейги через океан, о разнице между лондонским и нью-йоркским обществом.

— Так ты не помышляла о том, чтобы снова выйти замуж? — поинтересовалась Лола.

— Майор Крейги оставил мне вполне приличное состояние. Я всегда буду оплакивать его смерть, — отозвалась миссис Крейги с несколько неуместной напыщенностью.

— Вижу, вижу, — заметила Лола, глянув на ее пышные черные юбки. Прикусила губу, помолчала; затем заговорила снова: — Когда-то я для тебя умерла; что же изменилось?

Миссис Крейги стряхнула с колен невидимые крошки.

— Ты уже не та, что была.

— Возможно, такая, как сейчас, я тебе больше по душе? — У Лолы дрогнул голос.

— Зачем ты передергиваешь мои слова? Я приехала из такой дали, чтобы тебя увидеть! Неужели этого мало?

— Так, значит, ты все-таки получила то мое письмо? — уточнила Лола.

— Вспомни, какую жизнь ты вела. Не могла же ты и впрямь надеяться, что я отвечу.

— Представь себе: да, надеялась. Для некоторых женщин достаточно было бы того, что им пишет собственная дочь.

Миссис Крейги больше не в силах была сдержаться:

— Это после всего позора, что ты на меня навлекла! — Она даже привстала с места. — После всех сплетен, многолетнего скандала! Люди бесконечно шептались! Совершеннейший позор и бесчестье! Мне пришлось уехать в Англию, где никто не знал, что я — твоя мать.

Лола съежилась в кресле, плотнее завернулась в шаль. Грудь свело болью, стало трудно дышать. Воздуха не хватало; Лолу бросило в жар, стены комнаты как будто кренились, готовые рухнуть прямо на нее. Прижав ладонь к груди, Лола пыталась выровнять дыхание. Как только ей в голову могло прийти, что мать однажды ее поймет, простит, полюбит? Экий вздор! Миссис Крейги прямо-таки светилась от сознания собственной правоты. Лоле

вспомнился тот день, более двадцати лет назад, в Калькутте, когда она последний раз видела мать.

Перед мысленным взором встало лицо миссис Крейги, когда она вышла из дома попрощаться с дочерью, — плотно сжатые губы, стеклянные глаза ничего не выражают. Как будто это ее предали — ее, а не Лолу. Карета отъехала, и мать вернулась в дом, даже не взглянув ей вслед. Уже второй раз она отсылала дочь от себя. Лола тогда поклялась, что больше никогда в жизни этого не допустит.

— Я всегда была для тебя недостаточно хороша, — проговорила она негромко.

Миссис Крейги на мгновение растерялась, потом ее глаза вдруг увлажнились.

— Я же приехала к тебе. — Она вынула из сумочки мятый желтый конверт, повертела в руках.

Лола узнала собственный почерк.

— Ты не выбросила его?

— «Мы с тобой — единственные родные друг другу люди», — процитировала миссис Крейги.

Лола в изнеможении откинулась на спинку кресла; сердце билось в груди, точно попавшаяся в сети птица. Ей было больно, Лола не знала, что говорить и что делать. На минуту она прикрыла глаза, и в душе неожиданно затеплилась робкая надежда: а может, и в самом деле еще можно помириться?

Когда она снова взглянула на мать, миссис Крейги внимательно осматривала комнату.

— Я и представить не могла, что ты так живешь.

Гостиная была просторной и вполне респектабельной, хотя и не слишком богатой. Никакой особенной роскоши.

Лола недоуменно потрясла головой:

— А что же ты себе представляла?

— Ну, уж больно скромно живешь. Учитывая все обстоятельства.

— И в самом деле, — согласилась Лола. — Учитывая все обстоятельства. По-моему, я бесконечно тебя разочаровываю. Из раза в раз.

— Почему ты разговариваешь со мной таким тоном? Ведь я приехала к тебе из-за океана!

— А я все задаюсь вопросом: *зачем* же ты так сильно утруждалась?

— Конечно, ты могла бы жить с большими удобствами, — снова вернулась к своей мысли миссис Крейги, глянув на конверт, который так и держала в руках; пальцем она невольно поглаживала штемпель города Мюнхена.

Наконец-то Лола поняла, о чем речь.

— Было время, когда я жила во дворце с лестницей из хрусталя и еще в другом, принадлежавшем императрице Жозефине. А нынче я живу по средствам, и мне хорошо.

— Живешь по средствам? — В голосе миссис Крейги прозвучали визгливые нотки. — Графини так не живут!

— Зато все очень достойно и респектабельно, согласишься. По-моему, ты как раз должна быть довольна. Неправедно нажитое быстро уходит; я была щедра к другим, как другие — ко мне.

— Неужели ты все растратила попусту?

Лола засмеялась.

— Ты обо мне тревожишься или о себе?

— Я — твоя ближайшая родственница, — уверенно заявила миссис Крейги.

— Я уже составила завещание.

— Но я — твоя мать! Я тебя родила! И я этого никогда не забуду, хотя ты, похоже, уже не помнишь. Не понимаю, отчего ты такая скверная. Ты всегда была крайне странным ребенком.

— Знаешь что? — проговорила Лола. — Я тебя прощаю.

— Ты меня прощаешь?! Я сделала для тебя все, что могла, и ты же меня попрекаешь!

— Однажды я просила у тебя прощения, но ты предпочла не ответить на письмо. Давно уже прошло то время, когда мне что-то было от тебя нужно. Извини, если ты из-за меня постоянно испытывала неловкость.

Миссис Крейги мило улыбнулась и сменила тон:

— Тебе нужно отдохнуть, бедняжке. Я приехала в Нью-Йорк на две недели. Когда ты почувствуешь себя лучше, возможно, я еще раз смогу тебя навестить?

Опираясь на трость, Лола с трудом поднялась.

— Кажется, теперь я тебя устраиваю. Но боюсь, что ты не устраиваешь меня. Когда мне нужна была мать, тебя не было. А теперь я в матери не нуждаюсь.

— Ты меня прогоняешь?

— Похоже на то.

Миссис Крейги тщательно оправила юбки.

— Скажутся на тебе твои грехи, вот увидишь, — пробормотала она.

— Ты имеешь в виду, что свое нынешнее состояние я сама на себя навлекла?

Миссис Крейги поджала губы.

— Только ты знаешь, так это или нет.

Прихрамывая, Лола добралась до двери, отворила ее:

— Ты, конечно, найдешь выход.

Еще долго после того, как шаги матери стихли за порогом, Лола стояла в коридоре, одной рукой опираясь на трость, другой ухватившись за дверную ручку. Она прислушивалась к доносящимся с улицы звукам: шаги, стук прокатившегося экипажа, громкий смех ребятишек, постукивание палки в руке ковыляющего мимо старика, хриплое карканье одинокой вороны.

Давайте снова вспомним паука, этот древнейший символ женского темного начала. Укус «черной вдовы», даже если не окажется смертелен, вызовет судороги. При необходимости самка пожирает самца и даже собственное потомство.

Спустя две недели миссис Крейги отправилась назад в Англию, так и не помирившись с дочерью. Она еще несколько раз ей писала, однако Лола ни разу не ответила на письма. Она упрямо продолжала бороться с болезнью, но не прошло и трех месяцев, как заболела воспалением легких и умерла. В конечном итоге ее прежде времени свел в могилу укус насекомого — хоть и не паука, а москита. Малярия, которой Лола заразилась в Индии, непрестанно подтачивала ее здоровье, приступы то и дело повторялись на протяжении многих лет. Говорят, что матери не должны хоронить своих детей. Разумеется, миссис Крейги не приехала на похороны, и в завещании Лолы ее имя упомянуто не было.

Не одна только мать полагала, будто Лола получила по заслугам. Многие газеты напечатали некрологи, в которых ясно звучало, что смерть Лолы — очередной аргумент против эмансипации женщин. Одна из газет прямо заявила: если плясешь с дьяволом, за это

приходится платить. Быть может, Лола и впрямь искушала судьбу слишком часто или же ей просто не суждено было дожить до старости. Много лет назад, в Париже, Александр Дюма объявил, что любовь Лолы несет в себе проклятие смерти. Однако в конце концов оказалось, что смерть приносит не Лола, а ее бессердечная мать.

Конец третьего акта

Лола Монтеc умерла в возрасте сорока одного года; ее похоронили на кладбище Гринвуд в Бруклине. На могиле поставили простое белое надгробие с надписью «Элиза Гилберт». Среди ее бумаг была фотография невысокой хрупкой женщины с темными волосами, правильными чертами лица, твердым подбородком и решительно сжатыми губами. Лицо было миловидным, но в целом ничем не примечательным. Неужто она и есть та знаменитая красавица? Роскошная чаровница, покорительница мужских сердец? Удивительная и необыкновенная муза, вдохновительница поэтов и композиторов? Согласно надписи на обороте, фотография была сделана в Нью-Йорке в 1851 году, когда Лоле было тридцать два. Пламенная испанка, вдохновительница рапсодии, дуэли и революции, на поверку оказалась ирландкой, и в чертах ее лица не было ровным счетом ничего особенного. И только лишь глаза — большие, широко расставленные — говорили о живом порывистом уме.

От ее легендарной коллекции драгоценностей осталось одно старомодное кольцо с большим красным камнем. Кольцо это, упоминаемое в дневниках, очевидно, принадлежало ее матери. По словам миссис Крейги, отец Лолы подарил ей кольцо с рубином; лишь после его смерти она узнала, что оно — из прессованной меди со вставкой красного стекла. Душеприказчики отправили кольцо к ювелиру, потому что так положено делать. Однако ювелир, тщательно осмотрев его, чрезвычайно взволновался. Действительно, оправка была весьма скромная, хоть и не медная, а все же золотая; однако камень в ней оказался редкостный. В конце восемнадцатого века темные аметисты с Малабарского берега по-прежнему продавали под видом рубинов. Их даже называли «восточными рубинами». Поскольку эти камни встречались редко, со временем они приобрели огромную ценность. Ювелир предположил, что менее опытный специалист мог и ошибиться, определяя камень, посчитать его граненым стеклом. Когда в конце концов аметистовое кольцо было выставлено на аукцион, его купила юная начинающая актриса, желавшая приобрести талисман.

Дневники Лолы удивительным образом исчезли без следа.

В театрах и мюзик-холлах чередой объявлялись молодые женщины, каждая из которых утверждала, будто она — дочь Лолы Монтеc. Наиболее убедительными казались аргументы предприимчивой особы из Баварии по имени Сусанна, которая прибыла в Америку через несколько месяцев после смерти Лолы. У нее оказалось несколько вещей, в прошлом несомненно принадлежавших знаменитой танцовщице, в том числе два больших альбома с газетными вырезками и полосатая шляпная коробка, где хранились испанская шаль, две мантильи, лакированный веер и резной перламутровый гребень.

Сусанна занималась тем, что воссоздавала на сцене самые известные танцы Лолы, причем исполняла их в подлинных костюмах — в мерцающем серебристом из Парижа, в черном бархатном из Лондона. С виду Сусанна была невзрачная, похожая на серую мышь, однако в танце она полностью преображалась. Зрители выходили из залов потрясенные и говорили о яркой, живой, чисто женской чувственности, о способности наэлектризовать аудиторию, о жизнеутверждающей стихийной силе.

В последний раз исполнен номер на бис, в последний раз любимцы публики поклонились, отгремел шквал аплодисментов, и наконец занавес окончательно опустился.

* * *

«Последнее откровение состоит в том, что ложь, то есть красивый, но не правдивый рассказ, суть истинная цель Искусства».

Оскар Уайльд

Больше книг на сайте - Knigolub.net

БЛАГОДАРНОСТИ

Я благодарю Брюса Сеймура за написанную им полную биографию моей героини и Макса Орфулса за вдохновляющий фильм; Брайана Кини, Билла Гамильтона, Кевина Граала, Фейт Эванс и Винсента Вудкока за их бесценную помощь в работе над ключевыми сценами; Десмонда Граала за его знание немецкого и испанского языков; Брайана Холдсворта за техническую помощь; Школу испанского танца в Лондоне и Рона Хитченса за их знание истории фламенко в Испании и в Англии; а также «Тирон Гутри Центр» в Монагане за то, что там мне было предоставлено место и время для написания первых черновых набросков.

Особая благодарность — Стиву Макдоноху и Брэндону, без которых не состоялось бы столь великолепное возвращение Лолы, а также самой Лоле, ибо она позволила мне написать об Ирландии и Испании — странах, которые мне очень дороги. И наконец, я хотела бы выразить глубочайшую благодарность моему другу Кевину и сестре Бриджит, которые неизменно меня ободряли и поддерживали.


Гениальная авантюристка, актриса, танцовщица и куртизанка, Лола Монтеc была в центре внимания лучших мужчин своей эпохи — в нее были влюблены и Ференц Лист, и Александр Дюма-отец. Король Баварии Людвиг I был полностью сражен — он пожаловал ей графский титул и приличное содержание.

Понятие Лолы о свободе танца было весьма неоднозначным. На сценах крупнейших театров трех континентов она танцевала практически нагой, и пластика ее была далека от классических канонов.

Благодаря ей весь мир танцевал зажигательные фанданго, болеро и тарантеллу и был покорен ее экзотической красотой, откровенно эротическими выступлениями и скандальными поступками при монарших дворах.

Она снискала себе славу «Распутина в юбке».

До сих пор о независимом характере Лолы Монтеc ходят легенды, а ее имя стало нарицательным.

 АСТРЕЛЬ СПб

ISBN 978-5-17-059213-5



9 785170 592135

Гениальная авантюристка, актриса, танцовщица и куртизанка, Лола Монтеc была в центре внимания лучших мужчин своей эпохи — в нее были влюблены и Ференц Лист, и Александр Дюма-отец. Король Баварии Людвиг I был полностью сражен — он пожаловал её графский титул и приличное содержание.

Понятие Лолы о свободе танца было весьма неоднозначным. На сценах крупнейших театров трех континентов она танцевала практически нагой, и пластика ее была далека от классических канонов.

Благодаря ей весь мир танцевал зажигательные фанданго, болеро тарантеллу и был покорен ее экзотической красотой, откровенно эротическими выступлениями и скандальными поступками при монарших дворах.

Она снискала себе славу «Распутина в юбке». До сих пор о независимом характере Лолы Монтеc ходят легенды, а ее имя стало нарицательным.

notes

Примечания

Тимпан — ударный музыкальный инструмент, род медных тарелок или род небольшой литавры. — *Здесь и далее примеч. перев. и ред.*

Цимбалы (польск. *symbaly*) — многострунный ударный музыкальный инструмент древнего происхождения.

Леер — ограждение (тросовое, из металлических труб и т. п.) вдоль бортов и люков на судне. Кроме того, леер — трос для постановки некоторых парусов.

Каламиновая жидкость — классическое средство для снятия зуда при различных кожных заболеваниях.

Тика — красное пятно, символизирующее красоту.

Кали (санскр. «черная») — темная и яростная аватара Парвати, темная Шакти и разрушительный аспект Шивы. Богиня-мать, символ разрушения. Кали разрушает невежество, поддерживает мировой порядок, благословляет и освобождает тех, кто стремится познать Бога. В Ведах ее имя связано с Агни, богом огня.

Фул — две карты одного достоинства вместе с тремя картами другого достоинства. Например: две дамы и три туза.

Клещевина — род многолетних древовидных растений семейства молочайных, масличная культура.

Мемсахиб — почтительное обращение к замужней европейской женщине в Индии.

Капок — хлопковое дерево (лат. *Ceiba pentandra*) — тропическое дерево семейства мальвовых.

Кармин — красный краситель, получаемый из карминовой кислоты, производимой самками насекомых кошенили. Также цветовой тон, оттенок красно-пурпурного цвета.

Grand cocotte — кокотка (фр.).

Poules de luxe — дорогие проститутки, содержанки (фр., разг.).

Grandes horisonatales — дамы полусвета, дорогие проститутки (*фр., разг.*)

Арчский суд — существующий уже 800 лет церковный апелляционный суд для Кентерберийской епархии.

Фанни Эльслер — австрийская балерина (1810–1884), для которой Жан Коралли в 1836 году поставил балет «Хромой бес».

Качуча — испанский (андалусский) народный танец. В нем широко используются кастаньеты. Для танца характерны энергичное покачивание бёдрами, страстные эксцентричные жесты и позы.

Гавот — старинный французский народный танец.

Тарантелла — итальянский народный танец в сопровождении гитары, тамбурина и кастаньет (в Сицилии).

Фанданго — общее наименование обширной группы испанских парных танцев, восходящих к одному древнему прототипу и бытовавших под различными названиями.

Болеро — испанский народный танец.

Мазурка — польский народный танец.

Менуэт — старинный народный французский грациозный танец.

Aqui — вот сюда (*исп.*).

Es serio? — Это серьёзно? (исп.).

Muy bien — очень хорошо (*исп.*).

Ahora — теперь (*исп.*).

Bueno — хорошо (*исп.*).

Nina — детка (исп.).

Джакаранда — крупное листопадное дерево, вид акации, родом из Южной Америки.

Finca — дом (*исп.*). Очевидно, Долорес хотела сказать: «Это от хозяев дома».

Гуара — красивая *(исп.)*.

Фламенко — стиль музыки и танца цыган Андалусии на юге Испании, сплав народных музыкальных традиций Андалусии и арабов. Мужской танец построен на сильных ритмичных движениях ног, женский — более плавный, с грациозными эротическими движениями рук и тела.

A mensa et thoro (лат., юр.) — «с отлучением от стола и ложа» — судебное разлучение, или решение об установлении статуса раздельного жительства супругов.

Флердоранж — цветок апельсина, белые цветки померанцевого дерева, в ряде стран — принадлежность свадебного убора невесты.

El Oleano — танец, созданный для Лолы Монтес или ею самой; смесь качучи, болеро и тарантеллы.

Сегидилья — испанский народный парный танец.

Мари Тальони (1804–1884) — итальянская танцовщица; первой начала использовать танец на пуантах.

Derriere — тыл (*фр.*).

Companero — товарищ (исп.).

Парвеню (от фр. parvenu) — выскочка.

Ma chere — моя дорогая (*фр.*).

Encantado — Я очарован (исп.).

Hablo espanol? — Вы говорите по-испански? (*исп.*).

Muy bien — Очень хорошо (*исп.*).

Queda en Munchen. Queda con me — Оставайтесь в Мюнхене. Оставайтесь со мной (исп.).

Bien? — Хорошо? (исп.).

Yo te quiero — Я тебя люблю (*исп.*).

Carino — дорогой (*исп.*).

Ach nein — Ах нет! (нем.).

Bitte — пожалуйста (нем.).

Raus mit Lola! — Убирайся, Лола! (нем.).

Автор не совсем верно излагает известный миф: Афина в гневе разорвала сотканный Арахной платок и ударила девушку челноком. Не в силах перенести гнев богини, Арахна повесилась. Однако Афина вынула ее из петли и превратила в паука, который вечно висит на паутине и неустанно ткёт пряжу.